





Книжная серия

*«Будаговская библиотека» — совместный проект
Издательского Дома «СИБИРСКАЯ ГОРНИЦА»
и благотворительного фонда
«Мемориальный комплекс маршала А.И. Покрышкина»*

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

*Воспоминания
сибиряков*



СИБИРСКАЯ ГОРНИЦА
2009

ББК 63.3(2)6
П 15

ПАМЯТЬ СЕРДЦА . *Воспоминания сибиряков.* —
Новосибирск : Издат. Дом «Сибирская горница». —
2009. — 352 с.



Л. Н. Шевченко-Королева

Обские волны...

 авно это было, дорогие мои. Когда-то и у моих родителей, приехавших сюда в конце 1900 года, был свой дом и своя горница, где сходилась наша дружная семья и где от родителей я часто слышала о событиях новониколаевской жизни, о коих и хочу сейчас поведать, как сохранила их моя память.

Отец мой, Никанор Петрович Королев, заведовал в те далекие времена пристанями Западно-Сибирского речного пароходства и занимал с семейством один из четырех деревянных домиков, расположенных вблизи железнодорожного моста, у пристани. В одной из комнат располагалась контора, где среди прочих предметов находился древний телефон, при виде которого мы, детвора, испытывали священный трепет и восторг. Для связи имелась также выездная лошадь, которой предводительствовал кучер, он же дворник, Кузьма. Складов, как таковых, тогда не было, и вся огромная масса разнообразных товаров располагалась на немудреных пло-

щадках из бревен и плах. Сверху эти штабеля накрывались толстыми брезентовыми палатками, углы которых через металлические кольца прикантовывались канатами к бревнам. Ночную охрану нес почтенного возраста сторож Емельян, вооруженный деревянной колотушкой. Пока стучала колотушка, отец, отвечавший за сохранность всего этого добра, спал вполуха, но стоило колотушке замолчать, он тотчас просыпался, выходил на крыльцо и производил из винтовки выстрел в воздух, на который первой отзывалась Емельянова собака, а затем, с некоторым опозданием и как бы оправдываясь, вступала в строй колотушка задремавшего было сторожа. Однако с прибытием на строительство в город множества пришлого народа, среди которого было и много беглых, отчаянных голов, — и сторожу, и отцу спать приходилось все меньше и меньше. Так продолжалось до тех пор, пока на пристани не оборудовали капитальные складские помещения-пакгаузы с надежными запорами. И то сказать, вовремя: поток грузов нарастал с каждой навигацией.

Надо сказать, что для пристанского народа, да и для всех горожан тоже, открытие каждой навигации было событием грандиозным, что-то вроде годового праздника. Едва лед начинал шевелиться, все от мала до велика валили к матушке-Оби. Могучая река несла на своей груди обильную ежегодную дань, собранную в верховьях: то сани-розвальни, то стожок сена, а то и целые крыши домов. Взрослые оживленно комментировали проплывающие трофеи, ребятня взапуски носилась по пристани, а заядлые рыбаки беспрестанно макали в воду свои снасти-наметки.

Перед самым открытием навигации на правом берегу Оби, чуть ниже железнодорожного моста, уста-



Новониколаевцы





Новониколаевцы



навливалась постоянная пристань-дебаркадер, которую каждую весну буксиром приводили из затона, где она зимовала. Еще ниже располагалась товарная пристань для приема леса, сплаваемого огромными плотами. На пристанях устанавливались надежные трапы-сходни с высокими бортами: первыми на берег сходили вечно спешащие пассажиры, а за ними — степенные обские грузчики, длинными металлическими крючьями удерживающие тяжелую кладь на специальных заплечных носилках-«горбушах».

В такие дни в нашем доме было особенно многолюдно. Мама с нянюшкой буквально пропадали на кухне, готовя угощенья. Однако и гости не оставались в долгу, привозя с низовья бесчисленные гостинцы: клюкву, бруснику, морошку, черемуху, кедровые орешки, грибы, икру и благородную рыбу. Помню такую картину: с парохода сошли четверо грузчиков и направились к нашему дому, таща в руках какое-то бревно. Каково же было наше изумление, когда грузчики внесли в дом огромного, еще живого осетра, присланного, как выяснилось, отцу на день рождения знакомым бакенщиком. Его везли на пароходе несколько суток, ухаживая, как за баринком. Он возлежал в трюме парохода на льду и был постоянно обливаем холодной водой, чтобы «не уснул». А росту было в «барине» четыре аршина! Осетр лежал в кухне на двух составленных столах, и тело его все время вздрагивало. Мы, дети, с ужасом смотрели издали на этого обского крокодила. Чтобы он скорее перестал вздрагивать, грузчик несколько раз ударил его молотком по голове. Наконец он «уснул», ему разрезали живот большим ножом и долго вычерпывали черпаком икру в ведерки. Потом тушу распилили на большие коляски и перетаскали в погреб на лед.

С верховьев Оби привозили также на плотах ветками облещиху, дыни, арбузы. Особенно любили встречать такие плоты женщины и мы, дети. Когда на островах созревала ягода, отец снаряжал большую пристанскую лодку: приспособливал к ней парус, бечеву, брал с собой сыновей, меня и — айда к таинственным обским островам за калиной, черемухой, смородиной. Когда парус бездействовал, шли на веслах, а если берег был чистый и ровный, братья впрягались в бечеву и лодка шла бурлацким ходом. Обратный путь давался труднее: под тяжестью ягоды наше судно до середины погружалось в воду. Когда в конце лета охотились за грибами, то брали с собой соль и бочки. У берега на крепких кольях подвешивали брезент: один край выше, другой ниже. Получалась огромная ванна, в которой в течение дня промывалось и вымачивалось неимоверное количество груздей. К ночи, покончив с засолкой, разводили большой костер и после трудов праведных с аппетитом хлебали несравненную обскую ушицу.

В зимние длинные вечера все эти лесные запасы уснащали наш стол, где кроме этого всегда стояли нарядные берестяные корзиночки с кедровыми и арахисовыми орешками, с поджаренными тыквенными семечками, над которыми возвышался солидный семейный самовар, чей авторитет был непререкаем и ничуть не уменьшился, когда в нашей горнице появился громкоголосый, с огромной красивой зеленой трубой граммофон. Зимы в те годы были суровые, градусов по 50, и печь в нашем доме топилась почти без перерыва. Однажды над нашим двором пролетал ворон и с ходу упал на снег без признаков жизни — замерз. Но даже в такие погоды семейство наше не пропускало банные

дни. Для нас это была отрада, все любили попарить косточки, особенно отец.

Пристанская баня была сооружена по-белому: с моечным помещением и предбанником. В первом размещалась огромная дубовая бочка с медным краном и полок в три яруса, стены выложены из соснового бруса.

По первому пару в баню, перекрестившись, ныряли мужчины, долго изнурявшие себя березовыми вениками. Однажды я каталась на санках вблизи бани, вдруг ее двери распахнулись и оттуда, пошатываясь, на белый свет появились двое мужчин, совсем раздетых, в шапках и варежках, и сразу упали в снег. В одном из них я узнала своего папу. Бросив санки, я убежала домой, испугалась за папу. Рассказала маме. Она посмеялась надо мной, потом сказала: «Успокойся, это они болезни выгоняют».

Но я отвлеклась, я же о навигации начала рассказывать... Перед прибытием первых пароходов в воздухе словно воцарялась особая атмосфера ожидания: сотни людей толпились на пристани, вглядываясь из-под руки в речную даль, покуда не раздавался первый призывный крик парохода, далеко разносившийся по речной глади и постепенно утопавший в бархатных, еще не обжитых обских берегах. В те времена пароходы были лопастные, котлы работали на дровах и, хотя плаванье по своевольной матушке-Оби было крайне рискованным, ходили они круглые сутки, в любую погоду, полагаясь на Бога да на местных бакенщиков, которые каждый вечер на утлых лодчонках спешили выставить на бакенах сигнальные фонари. И за складами, и за топливом, и за навигационной техникой нужен был глаз да глаз, поэтому отец дома бывал не часто, так что

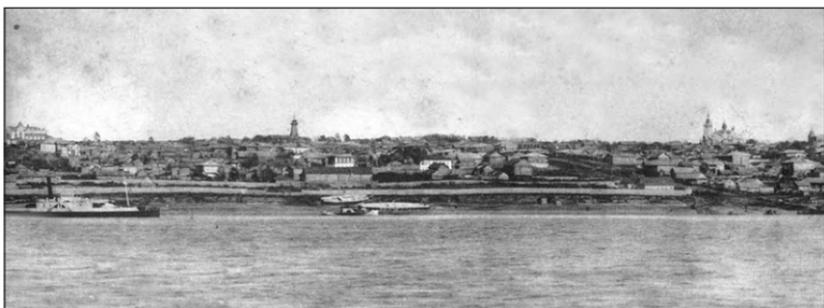
братья мои, еще учась в школе, привыкли к самостоятельности, а мы с сестрами возрастали под присмотром матушки и няни.

Старший брат Николай имел музыкальный дар и был переполнен мелодиями вольной стихии, словно в его душе звучал бесконечный, еще не написанный им вальс «Обские волны».

Второй его страстью были голуби. Помню, как однажды задушенный крысами в клетке красавец голубь был горько оплакан Колей, захоронен в ящичке со стеклянной крышечкой в конце двора, но по несчастью был вырыт и в мгновение ока сожран гулявшим на воле боровом. Расплата была ужасной: в отчаянии Коля так отдубасил борова ломиком, что пожирателя пришлось срочно прирезать. Еще одной, всепобеждающей страстью брата было купанье, которое он начинал еще с ранней весны, с появлением первых пароходов, капитаны которых не раз приходили к отцу с анафемами на Колю, любившего, к ужасу очевидцев, взбираться на капитанский мостик и нырять оттуда вниз головой. Брата тотчас водворяли в баню, лишали всяческой одежды и крепко запирали. Глядь, а он, выставив оконное стекло или сделав подкоп, облаченный в какую-нибудь чудовищно древнюю рубаху, найденную в банной ветоши, уже прокрадывается к неудержимо влекущей его реке. Плавал он замечательно. Был случай, когда он на глазах у всей публики поднырнул под баржу и исчез... Все были в полном отчаянии, пришлось вызывать водолаза, который, облазив все вокруг, обнаружил Колю на широкой плоскости руля баржи, где этот новониколаевский Ихтиандр спокойно нежился на солнышке. Но нет худа без добра: немало земляков спас Николай, когда, повзрослев, стал с дру-



Железнодорожный мост



Панорама города с Оби



*Пароход «Нор-Зайсан» Товарищества Западно-Сибирского пароходства
и торговли*



Перевоз через Обь



Устье Каменки



А это уже — другое время. 30-е годы. На Оби проходят соревнования по плаванию.

зьями-комсомольцами активным членом «Общества спасения на водах».

Пристанская жизнь, да и городская тоже, была размеренной, отличалась простотой в отношениях, добросердечием и гостеприимством. Часто бывали друг у друга, дружили семьями, вместе встречали праздники, особенно Рождество и Масленицу. На Рождество были великие катания на санках-розвальнях и ледяных лотках с общественных горок, а Масленица запомнилась невероятным количеством румяных солнечных блинов, к которым подавались взбитые мороженые сливки, миниатюрные, с ноготок, рыжики, маслята и непременно — осетрина, ветчина, красная и черная икра. Все это стояло в почетном карауле вокруг большого блюда с цельным поросенком с бантом на шее. После того как сей джентльмен, разобранный по частям, исчезал со стола, его почетное место занимал пузатый ведерный самовар с целой свитой разных сладостей и сдоб.

Вечеру запрягались рысаки, облаченные в нарядную сбрую, украшенную медными бляхами и шаркунцами. Как только опускалась темнота, тотчас зажигались праздничные факелы, и горячие лошади вырывались на Николаевский проспект, буквально затопленный экипажами, парами и тройками. В такие ночи керосиновые фонари на столбах проспекта, казалось, блекли...

Вспоминаются, выплывают из глубины лет и другие огни: тревожные, грозящие бедой и неизвестностью. Это был 1919 год. Появились конники, преследующие бегущих людей, начался разгром пристанских складов. Почти все население спряталось в погребах и подпольях, лишь взрослые уходили в затон с оружием охранять

суда пароходства. Отступая, белые взорвали железно-дорожный мост у левого берега Оби. Ночной взрыв был такой силы, что во всех домах выскочили дверные крючки и не осталось ни единого целого стекла, а у самого порога нашего дома ушла в землю принесенная взрывной волной огромная железная полоса в сажень высоту.

Но самое страшное было еще впереди. Белогвардейцы из Камня под дулами пистолетов заставили капитана вести в Ново-Николаевск пароход, который двигался буквально вслед за льдом. Предполагалось, что это судно откроет навигацию, поэтому оно было сильно перегружено пассажирами. Поздно ночью, в крошечную темень, пароход, идя вслепую (световая сигнализация на реке еще не работала), разбился о мостовой бык. Раздался страшный треск, крики тонущих, которые береговая охрана ошибочно приняла за попытку нового разбойного нападения на пристань и встретила ружейным огнем. Спаслись удалось немногим, в том числе капитану, который страшно казнил себя за гибель людей. Он тут же был арестован и все пытался наложить на себя руки. Пароход затонул, но еще долго мы, ребятишки, катались на коньках вокруг пароходной трубы, торчавшей над поверхностью льда, и всем хотелось заглянуть в эту черную безмолвную трубу, чтобы понять, что же случилось со всеми нами, со всей нашей жизнью в ту весеннюю темную ночь...



И. К. Чувашева

Слава Богу за всё!

Воспоминания деревенской учительницы

I



авно это было...

В январе 1898 года назначили меня, шестнадцатилетнюю девочку, с домашним образованием и совершенно неопытную, не имеющую в руках свидетельства об окончании даже начальной школы, учительницей в глухую далекую деревушку на севере Тобольской губернии. Назначили потому, что никто из имеющих свидетельство на звание учительницы не соглашался туда ехать. Дальние расстояния, глушь, семирублевое жалование — все это пугало...

Кроме того, деревня прославилась тем, что очень недружелюбно встречала педагогов: за два года существования школы там успели послужить три учительницы.

И вот прошла уже половина учебного года, а учительницы в Сосновке* все нет.

Я же всегда стремилась стать учительницей, в моей родной деревушке посещала открывшуюся церковно-приходскую школу и даже иногда заменяла, как умела, учителя псаломщика, которого часто от занятий отвлекали требы и церковные дела. Поэтому, благодаря рекомендации нашего приходского батюшки, уездное отделение** предложило мне поехать служить в Сосновку.

Как обрадовало меня это предложение, с каким восторгом я приняла его, прямо-таки счастлива была при мысли, что буду учительницей. Да и материальная сторона, по всей вероятности, играла роль: ведь каждый месяц, зиму и лето, я буду получать 7 рублей! А о том, что я совсем не умею приступить к делу и не знаю, как буду учить детей, я тогда не задумывалась; не боялась того, что совершенно не знакома с делом преподавания и даже сама не умею правильно писать. Все во мне, кажется, пело: «Буду учить! Учить! Учить!»

Я собралась, приехала в свой уездный город и первым делом явилась к отцу наблюдателю. Видела я его в первый раз и помню, что он произвел на меня лучшее впечатление, чем я ожидала. Дал много полезных советов и, между прочим, предупредил, что деревня, в

* Сосновка — речь идет о д. Сайтковой Кошукской волости Туринского уезда. Она располагалась от губернского города в 278 верстах, от уездного — в 189, от волостного правления и ближайшей церкви — в 8 верстах. Судя по официальным данным, это было бедное и «умирающее» селение. В 1893 г. здесь имелись 123 домохозяйства (из них 3 некрестьянских) и 822 жителя, а к 1909 г. остался 101 двор с 519 обитателями. На одно хозяйство приходилось в среднем менее 10 десятин земли, пригодной для пашни и сенокоса. В начале XX века в деревне числились 3 торговые лавки (одна из них — винная), 2 водяные мельницы, кузница, пожарный сарай, а также часовня и школа грамоты.

** Уездное отделение епархиального училищного совета — церковное учреждение, руководившее в уезде работой школ, подведомственных Синоду. Во главе отделения стоял отец наблюдатель, упоминаемый далее в воспоминаниях.

которую я еду, считается весьма плохой в том отношении, что народ очень грубый и мне там будет нелегко. «Но, — прибавил он, — заведующий школой*, отец Димитрий, весьма деятельный, энергичный человек, и вы во всех затруднительных случаях обращайтесь к нему. Школу он очень любит».

Потом о. наблюдатель исходатайствовал мне открытый лист для бесплатного проезда до места назначения, вручил вид, с которым я должна была по приезде явиться к заведующему, и напутствовал меня добрым словом.

Вечером того же дня я выехала из г. Туринска.

Проехала верст пять и встречаю сибирский урман: непрерывной стеной по обе стороны дороги тянется громадный лес. Густой, высокий, черный, он охватил меня со всех сторон. Этим огромным лесом нужно проехать 90 верст, не встречая на своем пути даже крошечной деревушки.

Стемнело. Наступила ночь. Лес однообразно шумит и покачивает вершинами. Колокольчики под дугой гудят, и мне в их позвякивании слышится, будто они твердят: «Впе-ред, вне-ред...» Ямщик то посвистывает, то песни поет заунывные, а я смотрю на звездное небо, узенькой полоской виднеющееся между стенами леса. Лошади между тем все дальше и дальше бегут, больше и больше отделяя меня от прошлого, от родных, приближая к новой жизни, такой таинственной и желанной... А ночь висит над землей морозная, ясная, и лес продолжает монотонно петь свою вечную песню.

* Заведующий школой — священник, настоятель ближайшего православного храма. В его обязанности входило заведование расположенными в приходе церковными училищами, преподавание Закона Божия в школах всех ведомств.

Спрашиваю ямщика: ходят ли тут волки? Узнаю, что волков здесь нет, потому что нет селений. Зато очень много медведей, летом они часто встречаются на дороге, и ездить страшно. И начинает мне ямщик рассказывать разные истории о встречах с «мишей».

Так мы проехали безостановочно 60 верст. Тут «зимовье» — среди леса небольшая избушка, где останавливаются проезжие, греются и кормят лошадей. Лошади, приближаясь к зимовью, побежали быстрее. Потянуло дымом, блеснул среди леса, как одинокий глаз, маленький свет в волоковом оконце.

Мне не хотелось останавливаться, заходить греться, а хотелось ехать безостановочно, но лошади устали, а ямщику нужно было поесть. И не хочется, а нужно выходить из кошевы, покоряясь общей участи всех проезжающих. Дверь в избушку настолько мала, что в нее нужно пролезать, низко-низко согнувшись.

Вошла. Сразу охватило едким дымом дров и махорки. Сквозь дым и табачные клубы с трудом увидев свободное место, я поскорее прошла туда и с любопытством, даже со страхом стала рассматривать окружающее. У входа в углу — большой очаг, дым шел прямо в отверстие на потолке. Пол земляной, кругом нары, на них сидели и лежали мужики, человек десять. Некоторые на очаге варили рыбу. Я совсем оробела: ни одной женщины, а тут еще увидела, что несколько мужиков распивают водку. Посматривают на меня, а я прижалась в своем уголке и молчу. Даже на вопрос хозяина, кривого старика, подвыпившего с гостями: буду ли я пить чай, нужен ли самовар? — лишь отрицательно покачала головой.

Сразу же пришли на ум рассказы, слышанные дома в длинные зимние вечера, как в старину на Туринском

волоке убивали и грабили. Нетерпеливо посматриваю на дверь, ожидая своего ямщика. А подвыпившая компания уже затянула песню.

Ямщик распряг лошадей, вошел в зимовье, принес мой дорожный мешок и сразу заказал старику хозяину самовар. Пьяной компании посоветовал быть посдержанней в выражениях. Я собрала все нужное для чаепития, ободрилась и уже не стала бояться своих случайных дорожных встречных.

Утром мы поехали дальше. Ехали днем, и впечатление от дороги и местности получилось совсем другое. Лес стоял белый, покрытый снегом, закужавел, блестел и искрился на солнце холодной красотой.

Наконец я добралась до Сосновки. Приехала поздно вечером, остановилась у часовенного старосты. Приняли меня очень приветливо, семья хорошая, какая-то патриархальная, особенно милы были дедушка Павел и бабушка Екатерина. Молодость ли моя трогала, или что другое — не знаю, но так они сердечно отнеслись ко мне, что я почувствовала себя, как среди родных.

На другой день я поехала к о. заведующему школой в село, отстоящее от Сосновки в 25 верстах. Увидев меня, заведующий очень удивился: почему отделение послало учительницу в Сосновку, когда дело со школой там не налаживается, детей почти совсем не отдают учиться? На мой вопрос: зачем же открыли школу, раз население враждебно относится к ней? — о. Димитрий рассказал довольно странную историю.

Купец г. Туринска открыл в Сосновке питейный дом (тогда в Сибири еще не введена была казенная винная монополия), заплатил крестьянам некоторую сумму за право торговли в деревне водкой и поставил непереносимое условие: открыть в деревне школу,

которую он будет содержать на свои средства. Так как школы совсем не было, пришлось ее открыть и, как самую доступную, открыли школу грамоты*. За согласие пустить в деревню совместно с «питейным» и школу купец набавил еще ведерочка три водки, и дело сладилось. На бугорке посреди деревни стоял покривившийся дом с вывеской: «Распивочно и на вынос», а напротив, через овраг — другой дом, на котором видна была иная вывеска, написанная славянскими буквами: «Церковная школа грамоты».

Покривившаяся хата всегда имела посетителей в более чем достаточном количестве, а приличный двухэтажный дом с голубой вывеской — пустовал.

Купец, продержав питейное заведение в Сосновке полтора года, почему-то перевел его в другую деревню, а школа осталась — нежеланная обуза для населения. Совместно с питейным крестьяне ее еще терпели, а когда содержание ее пало на них, они стали смотреть на школу уже враждебно, как на лишнюю и совсем не нужную статью расходов.

Свое повествование о столь странном возникновении школы батюшка закончил такими словами: «Не знаю, выдержите ли вы эту борьбу, удастся ли вам сладить с ними... Больно уж упрямый народ. Во всем моем приходе — это самая пьющая деревня. Питейных сколько угодно пустят, всю лесную и рыбную добычу прогуляют, а школа... Нет, они не нуждаются в ней, боятся света...».

* Церковная школа грамоты — тип училищ ведомства Синода с простейшей программой и, как правило, одногодичным обучением. В мемуарах упоминаются также церковноприходские школы — другой тип школ того же ведомства с более обширной программой и длительным сроком обучения, а также министерские школы — училища, подведомственные Министерству народного просвещения (их программа в большей степени была ориентирована на получение основ светской грамоты).

Сжалось мое сердце. Неужели мои мечты, юные, заветные, такие восторженные, должны рушиться и я уеду отсюда? Я чуть не плакала.

Отец Димитрий дал мне бумажку к сельскому старосте, где предлагал нанять квартиру для школы и для меня. Дал нужные советы и предложил в затруднительных случаях писать ему, обещая сделать все возможное.

С невеселыми думами ехала я в Сосновку.

Вечером того же дня был деревенский сход. Я с нетерпением ожидала дедушку Павла, чтобы узнать результаты схода. Поздно вечером дедушка пришел и объявил мне, что квартира нанята у Якова Андреевича. Много было шума и споров из-за школы, но решили пока нанять, во избежание неприятностей с батюшкой. «А учительница, — говорили на сходе, — поживет да уедет, не первая так отправляется». Ребят своих решили в школу не отдавать: «Незачем им учиться. Парни грамоту одолеют — по городам пойдут шататься, а девочки научатся — так женихам письма станут писать».

Как ни жалко мне было милых хозяев, а пришлось расстаться с ними и перебраться на новую квартиру, к Якову Андреевичу. Со слезами рассталась я с доброй семьей, приютившей меня и обласкавшей. А они, провожая, говорили, чтобы я ходила к ним, когда скучно будет.

На следующий день я устроилась на новой квартире: разобрала книги, уложила их в шкаф, развесила картины Священной Истории, карту Палестины и географические карты, перед образами повесила лампаду. Классная мебель — вполне приличная, парты выкрашены, не попорчены, сделаны удобно. Поставила их порядком.

Уютно, чисто стало в моей школе.

II

В воскресенье утром слышу благовест часовенного колокола. Призывают на молитву. Квартира моя была на площади, напротив часовни. Поскорее собралась и пошла. Прихожу. Часовня холодная, но чистая, светлая, много икон. Стены бревенчатые, не крашены, как и пол и потолок. Сама часовня обнесена частоколом, обсажена различными деревьями, кои стояли все зашупенные инеем, как осыпанные серебряною пылью. Наружные стены обиты тесом и выкрашены белой краской.

Первое, что бросилось мне в глаза, когда я вошла в часовню, — стоит перед иконами часовенный староста и раздувает кадило, сылет туда ладан, дым от которого клубами окутывает старосту и разносится по часовне. Прошла я вперед всех и встала в уголке. Один по одному собираются мужички, женщины, стоят и молча молятся, лишь кое-кто из старух вздохнет: «Господи! Прости меня, грешную!»

Староста стоит впереди всех с кадилом в руках, но не машет им, как священник, а только раздувает огонь и время от времени прибавляет ладану. Молились в глубоком молчании с полчаса. Смотрю в ожидании: что будет дальше?

Староста повесил кадило на гвоздик, степенно поворачивается лицом к народу и говорит:

— Молились здорово, старички. С праздником, с воскресеньем Христовым!

— И вас также! — Ответили хором богомольцы и стали расходиться.

Я подошла к старосте, когда он гасил свечи, спросила:

— У вас всегда так молятся?

— А то как же еще?

— А почему никто не читает?

— Да некому читать-то у нас. Сроду так молились, и теперь так молимся. А сколько времени надо молиться — это я по свече примечаю: как соберется народ, зажгу пяташную свечу и знаю, когда кончат моление. Каждый праздник одинаково, а в Пасху и в Рождество молимся дольше — больше свечки сожгу.

Вышла я из часовни и думаю: «Ну, уж нет, больше вы молча молиться не будете!» И приняла твердое решение, что буду каждый праздник читать в часовне часы, акафисты, а там — поживем-увидим! Не поможет ли Бог выучить ребят читать и петь?

Настал желанный понедельник, первый день занятий. Рано я поднялась, с замирающим от волнения сердцем стала ждать учеников. Кто придет? Придут ли?

Пришли так нетерпеливо ожидаемые мною ученики: две девочки, дочери торгующего сельчанина, и два мальчика. Все четверо, к моей радости, оказались грамотными: хоть и плохо, но сливали звуки, знали все буквы. Ждала, ждала — больше никто не пришел. Посмотрела журналы и списки учеников за время существования школы: в первый год посещали школу пять человек, во второй — четверо. Значит, и у меня только эти два мальчика и две девочки будут учиться. Что делать?

А ведь много в деревне ребятшек, — вижу в окно, как они бегают по улицам, играют, катаются в овраге. Как их залучить сюда, в школу? Вышла за ворота и слышу, как они кричат, смеются, ссорятся и даже сквернословят, не сознавая всего ужаса таких выражений. А все потому, что слышат это дома от родителей, на улице от пьяных, и никто им не скажет, как это грешно. И растут они, как и родители, посреди пьянства, в духовной темноте.

Сосновка — действительно «пьяная» деревня, это доказывают и полуразвалившиеся хибарки, неогороженные дворы, гнилые крыши, кое-где посбитые ветром. Это в таком-то месте, где лесу бесчисленное множество. Печальная картина!

На следующий день приехал о. Димитрий служить молебен. Никто не пришел, кроме моих четырех учеников. После молебна батюшка сказал детям о пользе грамоты, убеждал их прилежно посещать школу и приглашать товарищей. Потом начал заниматься с детьми по Закону Божию. Урок этот был первым, который я слышала от настоящего учителя. Проведен он был живо, интересно, и мы все не заметили, как пролетел час. Позже, в разговоре со мной, батюшка сказал, что школа в Сосновке очень желательна — больше, чем где-либо, но уж очень трудно она прививается здесь. Когда я высказала мысль об устройстве народных чтений, о. Димитрий горячо одобрил ее и обещал снабдить книгами, выписать наглядные пособия, лишь бы привлечь народ к школе.

И начала я заниматься, как умела, с четырьмя своими учениками. Училась и сама — благо, свободного времени было много, учебники под руками. Учить почти некого, так хоть сама поучусь! Прошла первая неделя занятий. В эту неделю научились мы петь «Достойно есть». А в воскресенье пошли в часовню. Я прочитала часы, акафист Спасителю, по окончании которого мы спели «Достойно есть». Впервые, наверное, часовня огласилась детским пением. Народу было много, и волновалась я не меньше учеников. Потом объявила собравшимся, что буду в школе делать и чтения в воскресные и праздничные дни. Кто желает послушать, пусть пожалует по звону часовенного колокола.

И к этому делу я приступила не без волнения. Ведь нужно было выбрать подходящий материал, суметь его передать. Уж больно темны и неразвиты были мои слушатели. На первое мое воскресное чтение, помню, пришло человек двадцать. Не помню, что именно я им читала, знаю только, что «божественное», — по выражению крестьян. Расставаясь со слушателями, попросила их почаще посещать часовню и чтения, на что они охотно согласились.

Так и пошли мои занятия. Заниматься мне было не очень трудно, так как дети были способные и прилежные, охотно учились. К весне читали и писали сносно, считали порядочно, только вот задачи решали плохо: я им из-за своей неопытности объяснить не умела. Мы всё теснее и теснее сближались. Главное внимание я обратила на постановку воскресных чтений и наших молений в часовне. На чтения теперь уже собиралось по 50–60 человек всех возрастов — и старые, и молодые, и подростки. Чем охотнее они посещали чтения, тем с большей любовью старалась я им отдавать свои досуги. Народ после чтений расходился не сразу: сидят, разговаривают со мной о прочитанном или просто так беседуют. Я отдыхала душой среди них, не чувствовала себя одинокой и оторванной от родных, будто нашла вторую родину.

К концу года мы составили с моими учениками дружную и тесную семью. Девочки даже спали у меня, а мальчики вечерами обязательно приходили к нам посидеть. Затопим печь, смотрим на огонь, разговариваем, сказки сказываем, иногда картошку печем, а то затеем игру в жмурки или прятки — такую возню подыдем, что беда. Я была немногим старше учеников и потому их удовольствия, радости и огорчения вполне чувствовала, резвилась с ними в играх и даже после занятий на

«катушке» каталась. С помощью Якова Андреевича мы такую ледяную горку устроили в огороде, что прелесть! Обставили ее по бокам елками, чтобы не заносило снегом и было красиво.

К этой тихой жизни я скоро привыкла, только одного не могла преодолеть в себе — панического ужаса перед пьяными. Кабак был недалеко от школьной квартиры, он никогда не пустовал. Вечером это был «клуб» сосновских обывателей, а около него — крики на улицах, ссоры и драки. Часто во время прогулок с ребятами, лишь слышу шум, увижу пьяного — убегаю скорее домой, а если до дома далеко — бегу до ближайшей избы, чтобы укрыться. Ребята иногда смеются: «Что это вы боитесь? Ведь идет пьяный Николай Семенович, а с ним Марья Николаевна, тоже пьяная, а вы побежали». Но на меня эти уговоры не действовали, и панический страх долго жил во мне.

Однажды я получила письмо от мамы. Так грустно стало, легла в комнате на кровать и плачу, слезы душат меня. Пробрался ко мне мой ученик Митя (такой ласковый был мальчик!), видит, что я плачу, и спрашивает, спрашивает — о чем я? Не допытался, и давай за компанию со мной проливать горючие. Так рыдает, словно какая беда с ним случилась, — насилу я его успокоила. И все это близко моей душе, дорого. Вспоминаю теперь, через много лет, — какие славные были переживания!

III

Незаметно зима близилась к концу. Приближалась Пасха. Мы усердно готовились встретить великий праздник в своей часовенке. Последнюю неделю только и дела было, что усердно спевались и спешили наделать

как можно больше цветов из цветной бумаги для украшения часовни и школы.

В Великую субботу мы красиво, празднично прибрали свою любимую часовню, окна и стены украсили гирляндами из пихты и цветов, надели венки на иконы. Вечером ученики пришли ко мне ночевать — ждать двенадцати часов, чтобы идти в часовню на благовест. Пришли и взрослые, уселись кто на парте, кто прямо на полу, приготовились слушать. Лампада тихо теплилась перед иконами. Я начала читать из Евангелия — последние дни земной жизни Иисуса Христа, прощание Его с учениками, великую Его заповедь о любви, страдание, смерть, погребение. Тишина была полная, слушали очень внимательно эти святые слова, это повествование. Читала я до половины двенадцатого.

Дедушка Павел, часовенный староста, весь вечер сидел с нами, а незадолго до 12 часов, до начала благовеста, вызывает он меня от народа в мою комнатку и говорит:

— Всё у нас будет по-хорошему, и петь даже будете, а ведь нужно с народом христосоваться. Как батюшка в церкви попоет, попоет, да и говорит: «Христос воскрес!» И мне тоже надо это народу сказать.

— Так и скажи.

— Когда же я скажу?

— Пропоем «Христос воскрес», ты и скажи.

— Нет, я не сдогадаюсь, поди, тогда... А вот что, когда надо будет говорить, ты кашляни да и взгляни на меня, я и скажу народу: «Христос воскрес!»

— Да что ты, дедушка, на меня приступ кашля во всякое время может найти, ты и не поймешь ничего.

— Как же быть-то? — задумчиво говорит он, поглаживая седую бороду. — По-хорошему бы нам все

сделать, без запинки, не смешаться... А, вот что я вздумал! Стану я на клиросе подле тебя; как придет время говорить народу, ты меня за сермягу-то и дерни, а я в ту пору и скажу. Ладно так?

Я и это отклонила. В конце концов решили: когда пропоем первые три раза «Христос воскресе», дедушка и похристосуется...

Ровно в 12 часов ночи начался благовест. В темноте пасхальной ночи ярко выделялась наша часовенка, обставленная кругом горящими плошками. На колокольне горели фонари, разливая тихий свет. Лился он и из окон часовни, пробиваясь сквозь деревья, лился и в открытые двери.

Мы вошли и стали на клиросе, готовясь встретить светлый праздник. Народу — полно! Прочитала я полунощницу, канон, ирмосы. Затем не без волнения мы запели «Воскресение Твое, Христе Спасе!», а после — великое и радостное, с чем в мире ничто сравниться не может — «Христос воскресе из мертвых!» У всех молящихся в руках были зажженные свечи, часовня сияла. Пахло хвоей и ладаном, и мы радостно пели торжественные песни победы жизни над смертью, так сердечно, восторженно отвечали дедушке Павлу:

— Воистину воскресе!

Прошло много лет с той Пасхи. Никогда — ни до, ни после — я не встречала с таким восторгом этот Великий праздник, как встретила его в убогой часовне с некрашеными стенами, среди народа, грубого на вид, но младенца душой. Когда мы пели радостные слова пасхальных песнопений, я видела слезы умиления и выражение душевной радости на лицах молящихся, я поняла, что души наши слились воедино и что мы все, тут стоящие, составляем одну семью.

Я волнуюсь, иногда петь не могу, а ребята поют смело и уверенно. Чудный дискант Тимоши так и разливается.

— Приидите вси вернии! — поднимает он.

«Пришли мы и поклоняемся святому Воскресению Твоему», — думаю я и чуть не рыдаю от восторга. Окончили... Первыми похристосовалась с учениками, сошла с клироса, и тут все, без разбора, наперебой целуют меня: «Христос воскрес!» Едва успеваю радостно отвечать: «Воистину воскрес!» А душа у меня — ликует, ликует...

Этим и окончился мой первый учебный год.

IV

Летом того же года, на мое великое счастье, меня вызвали на педагогические курсы. До них я понятия не имела о том, как нужно правильно вести уроки. Курсы были поставлены превосходно их руководителем, епархиальным наблюдателем Григорием Яковлевичем Маляревским. Сколько любви к делу, знания, опытности было вложено в них! Прямо-таки новую жизнь вдохнули они, научили не только как учить детей, но и как воспитывать. Теперь, по прошествии многих лет, вспоминаю эти курсы и их организатора с глубокой благодарностью. Они принесли мне пользу на всю жизнь.

Прямо с курсов я приехала в Сосновку. Теперь уже не боялась неграмотных учеников, а думы и заботы были лишь об одном — как бы побольше их набрать.

Отец Димитрий еще до моего приезда подготовил почву для нашей совместной работы. 18 августа в Сосновке — ежегодный местный праздник. Всегда бывает молебен в часовне, а потом батюшка с псаломщиком заходят в каждый дом с крестом и святой водой.

В этот раз после молебна батюшка обратился к народу с убедительной речью о пользе грамоты, чтобы они не боялись отдавать детей в школу, не считали вредными знания. Заходя с крестом в дома, он указывал на каждого малыша и говорил: «Этот нынче у нас в школу пойдет, учиться будет. Не держите его дома».

Батюшка в приходе пользовался большим авторитетом и любовью своих прихожан. Они уважали его и боялись не за страх, а за совесть. Со всякими нуждами шли к нему, как к отцу. Или выяснить что, или разрешить семейные неурядицы, — всегда обращались к нему с полным доверием, и никто не уходил от него неудовлетворенным.

Крестьяне в этот раз отнеслись ко мне уже не враждебно, как в первый мой приезд. В прошлую зиму я со многими сошлась, воскресные чтения нас сблизили. А хозяйева моей квартиры — милые, славные старички — те встретили меня, как родную дочь. Очень уж они меня полюбили. Часто вечерами я им читала вслух, «как колокольчик», по выражению Якова Андреевича, хозяина квартиры, и готова была звенеть без устали... Бабушка Аксинья, бывало, прядет, Яков Андреевич сети вяжет, я сижу рядом с книгой, еще кто-нибудь из учеников придет. Уютно, хорошо, отраднo так было...

В начале сентября о. Димитрий опять приехал в Сосновку и собрал сельский сход специально для обсуждения с мужиками вопроса о школе. Тут же при его содействии наняли у Якова Андреевича квартиру для школы и для меня. На 15 сентября батюшка назначил молебен, на который предложил прийти и родителям учеников.

С замирающим сердцем ждала я четырнадцатого сентября — день, назначенный для приема учеников. Очень боялась, что по примеру прошлых лет придет

человек пять. Но как же велика была моя радость, когда набралось их небывалое еще количество за все время существования школы — 25 человек. И между ними — восемь девочек, коим я особенно обрадовалась.

Пятнадцатого сентября, в день молебна, народу набралось — полная школа. Кроме родителей учеников, принять участие в нашей молитве пришли и посторонние. Прошлогодние мои четыре «пионера» пели с псаломщиком. Они теперь учились в средней группе, а двадцать пять новичков — в младшей.

Смело и уверенно начала я занятия. Просмотрела свои курсовые записки, вспомнила, как велся тот или другой образцовый урок. Знала, как приступить к делу, а там уж кое-что и свое вкладывала, сообразуясь с обстоятельствами.

По-прежнему пошли у нас и воскресные чтения. Народу наберется полным-полно, сидят за партами, прямо на полу, запоздалые на ногах стоят, терпеливо слушают до конца, не уходят. А тут дело со чтениями еще продвинулось вперед: о. заведующий на свои личные средства приобрел небольшой волшебный фонарь с туманными картинками*. Картины были преимущественно из Ветхого и Нового Завета — все выдающиеся события от сотворения мира и человека, кончая Воздвижением Креста Господня. Несмотря на дальность расстояния, недостаток времени, о. Димитрий нередко принимал личное участие в чтениях, вместе с матушкой, которая, получив образование в епархиальном училище, выделялась особенно выразительностью чтения, и слушатели всегда получали наслаждение от ее чтения.

* Волшебный фонарь с туманными картинками — проекционный аппарат для демонстрации иллюстраций во время школьных уроков, а также вечерних, воскресных и праздничных духовно-просветительных чтений для населения.

С приобретением фонаря чтения приняли форму воскресной школы. Только, к сожалению, не преподавалось здесь ни чтения, ни письма, лишь наглядно изучали Священную Историю, о которой до этого крестьяне и понятия не имели, не говоря уже о Ветхом Завете, но даже и о Новом. Знали, что есть Бог, Пресвятая Богородица, что в праздники работать грех. А напиться до потери сознания, даже напоить пьяными своих детей — это ничего, можно и даже должно. Значит, всё, с чем приходилось мне знакомить слушателей, было для них совершенно ново, не слыхано никогда.

Еще задолго до сумерек взрослые и даже старики являлись в школу или толпились около нее, с нетерпением ожидая наступления темноты и начала чтений. Когда чтения были с фонарем, классную мебель выносили, освобождая место слушателям, которые стояли тесной толпой, едва помещаясь. Приходилось иногда делать два чтения подряд: первые пришедшие наполняют класс (человек 150 могло присутствовать), а другие, которые пришли позднее, сидят внизу и ждут. Выйдет первая смена, освежу воздух (лампа в фонаре начинала гаснуть от недостатка кислорода) — входят вторые, и я начинаю повторять. К книге я никогда не прибегала, в руки ее не брала, а выведу на экран нужное изображение и начинаю рассказывать о событии самым понятным, простым языком. Если событие из Нового Завета — иногда споём тропарь соответствующего праздника или подходящее песнопение. Слушали всегда с глубочайшим вниманием, несмотря на присутствие больше сотни человек. Полная тишина, только мой голос раздаётся.

Однажды, в праздник Сретения Господня, народу набралось больше, чем мог вместить класс, давка была

сильная. Наперли на печь и уронили почти половину. На счастье, удержали кирпичи и не дали им упасть на головы. Пришлось раньше времени окончить чтения. Несколько человек остались, сняли осторожно отвалившиеся кирпичи, сложили их на пол кучками и... ушли все! Я и осталась одна среди такого разрушения; на полу — глина, обломки... Села перед этой грудой и чуть не плачу: как быть? Топить нужно — завтра занятия, а печь сломана. Кто же поправлять будет? Яков Андреевич рассердится, что у него в доме печь сломали, а нанять печника у меня положительно не на что, — горе настоящее. Сижу, горюю, к Якову Андреевичу идти вниз и говорить о своей беде — боюсь.

Ему, должно быть, уже сказали, и вижу, что идет ко мне вместе с Аксиньей, смеется: что голову-то повесила? Я вижу, что он не сердится, и обрадовалась.

— Поди, Аксинья, в подполье, накопиай там глины да замочи ее. Я завтра сам исправлю, лучше старого будет. А ты, — обращается Яков Андреевич ко мне, — иди вниз ночевать, утром подольше спи, заниматься-то нельзя будет, а я печничать буду, ребят домой отправлю.

От этих простых, но задушевных слов всю мою заботу как рукой сняло, и я весело побежала с Аксиньей вниз, полезла вместе с ней в подполье глину копать. А вечером, перед сном, мы еще долго разговаривали и смеялись над тем, что печь «раздавили».

Вскоре после этого случая мою школу посетил г. епархиальный наблюдатель Г. Я. Маляревский. Со страхом и трепетом рассказала я ему этот случай. Думаю: «Беда, виновата я, печь в школе уронили, я из-за этого два дня не занималась, уроки пропустила». Но епархиальный наблюдатель отнесся к этому иначе и ответы моих учеников ему понравились. Вообще, его посеще-

ние внесло в нашу школьную жизнь свет и тепло. И в тот раз, и в другие приезды Маляревского я сравнивала его с солнцем: приедет — осветит и согреет, рассеет мрак сомнения. Легче на душе после него, энергия удвоится, силы как будто придут. И занятия идут увереннее, чувствуются внутри какой-то огонь и любовь к делу.

V

Легко и радостно было мне работать в дорогой Сосновской школе, потому что я была не одна. Всегда чувствовала заботу о. Димитрия. Школу он посещал не менее одного раза в неделю. Если приедет рано, то присутствовал на утренней молитве, после нее прочитывал сам житие дневного святого (двенадцать ежемесячных книг для школы были выписаны им же), заставляя учеников кратко рассказать содержание прочитанного. Иногда приезжал днем во время занятия, всегда первым делом спрашивал ребят, чью память сегодня совершаем и кто может об этом рассказать. Занимался не по одному лишь Закону Божию, а основательно проверял знания учеников по всем предметам, следил за их духовным развитием и, как тонкий психолог, всегда метко определял индивидуальные особенности каждого ученика. Всех их знал по имени. В своем приходе он знал всех от мала до велика, и если какого ученика начинали отвлекать от занятий домашними работами, то призывал родителей и разъяснял им, какой вред они приносят ребенку.

Уроки батюшка вел занимательно, живо, объяснял всё большею частью наглядно. Ребятенки слушали его, затаив дыхание, глаз с него не сводили. На моих занятиях иногда сядет в сторону, следит за ходом урока, по окончании всегда укажет на недостатки. Указывал и на

другие слабые стороны преподавания, замеченные им при проверке знаний учеников. Требовал от меня, чтобы я вносила в урок больше живости, не давала школьникам скучать и зевать и всегда помнила, что передо мною дети и они, как голодные птенцы, ждут духовной пищи.

Несмотря на то, что на вид он казался серьезным, строгим, ученики его очень любили. Как только покажется из-за часовни его буланая лошадка, все повскакивают с мест:

— Батюшка едет! Батюшка едет!

Захлопают от радости в ладоши, запрыгают на месте, выражая свой бурный восторг. Насилу успокоятся к тому моменту, когда он войдет к нам в класс своей быстрой, энергичной, но вместе с тем величавой походкой и начнет заниматься, или, вернее, беседовать с ними...

Многие ученики ни разу не видели храма, а понятие о нем имели лишь по картинкам. И батюшка предложил нам всем приехать 21 ноября к богослужению в село*. Крестьяне охотно дали нам лошадей, и мы поехали. День на наше счастье был солнечный, теплый. Длинной вереницей тянулись по узкой зимней дороге в лесу наши сани, розвальни, кошевки... Ехали очень весело. Мальчики часто выскакивали, бегали от кошевы к кошеве, менялись местами. Дорога прошла для всех быстро и незаметно.

Учеников средней группы батюшка пригласил к себе ночевать, потому что они готовились читать в церкви и он вечером хотел их лично прослушать. Для остальных учеников вместе со мной батюшка приготовил квартиру в доме одного крестьянина.

* К богослужению в село ездили потому, что именно села являлись центрами церковных приходов, там располагались православные храмы, где служили литургию. А в деревнях имелись, в лучшем случае, только часовни.

Надышавшись днем свежим, бодрящим воздухом, крепко спали мои ученики. Ночью, при слабом свете лампы, я всматривалась в их безмятежные, спокойные лица: никакой тревоги не выражалось на них. Счастливая пора! И сны, вероятно, видели свои, детские, радостные...

Рано утром поднялись мои ребята, умылись, причесались, нетерпеливо ждали благовеста. Пришли к утрени — а ученики среднего отделения уже стоят с батюшкой на клиросе. С любопытством и вместе с тем со страхом осматриваются мои детки в храме. Никогда они не видели такого здания, такого украшения, множества лампад и свеч. Часовня наша бедная, школа помещается в крестьянском доме, а тут все сияет огнями, горит позолотой, иконы, дым кадильный, блестящее одеяние на батюшке и на диаконе... Усердно молятся они в доме Божиим...

Девочка средней группы читала посреди храма шестопсалмие, другая — первый час, затем часы читали мальчишки. Все читали на середине церкви, недалеко от нас, где стояли рядами остальные ученики. После службы батюшка показал им храм, объяснил некоторые изображения на святых иконах, всем подарил по образку, а чтецам — по небольшой, исполненной на металле иконке их тезоименитого святого.

Сколько радости и восторга вызвало все это у них!

В зиму мы посещали храм еще несколько раз, выбирая теплую погоду. На второй неделе Святого Великого поста ездили говеть.

VI

В январе месяце, в сумерках после уроков, приходят ко мне в школу молодой парень и девушка, на мой воп-

рос — по какому делу? — заявили, что пришли учить молитвы.

— Что вы так вздумали учиться?

— Да мы венчаться на этой неделе собрались, поехали к батюшке благословляться свадьбу заводить, а он спросил нас, знаем ли мы хотя бы одну молитву, а я и Акулина ни одной оба не знаем. Он и говорит: «Так как же вы будете своих детей воспитывать, когда сами ни одной молитвы не знаете? Поучитесь молитвам в школе, тогда и повенчаю». Да вот он тебе расписку послал.

И парень начал искать в карманах «расписку»; не найдя, обращается к невесте:

— Акулина, где расписка-то?

— Да ты ее за голенище прятал.

Нашел, подает смятую бумажку, на ней рукою батюшки составлен список, какие нужно выучить молитвы.

— Хорошо, — говорю, — садитесь, буду вас учить.

Сели мои великовозрастные ученики за парту, начали заниматься. Жених уткнул лицо в папку, невеста стыдливо опустила глаза.

— Ты что же, Елезар, папкой-то закрылся, ведь ты ничего не поймешь, — замечаю ему.

— Да мне штыдно!

— Все-таки откройся и повторяй за мной молитву.

Учили с объяснением. Так целую неделю ходили они. Как только ребята из школы, начнет смеркаться, Елезар и Акулина идут ко мне в школу, садятся за парты, начинают учить молитвы. Акулина понимала лучше, чем Елезар, а с ним приходилось биться. Потому ли, что ему «штыдно» было, или уж способности такие, не знаю. Через неделю батюшка, отзанимавшись в школе,

послал за ними проверить их знания. Вместе с женихом и невестой пришли в школу и их родители. Проверив все выученное, батюшка предлагает всё указанное им окончить, тогда обещает и повенчать.

Отец жениха начинает просить:

— Батюшка, не май ты их, брось, пусть они не учатся больше, ведь им штыд чистый ходить в школу, как ребятам маленьким.

— Так зачем ты его не учил маленького?

— А не знал, что надо учить.

— Ну вот, он теперь узнает, что учиться непременно нужно, и уж не задержит от школы своих детей.

— Ей-богу, батюшка, сколько будет, всех отдам в школу! — пообещал стыдливый жених.

Дня через три батюшка пообещал приехать, а эти дни предложил еще поучиться. К приезду мои «ученики» отличились, выучили молитвы, некоторые рассказы из Священной Истории.

VII

Третий год моего учительства ознаменовался в истории школы важным событием: проездом по епархии посетил наше село епископ Антоний, ревнитель и насаждитель церковных школ. Все ученики нашей школы поехали в село встретить архипастыря и получить благословение. Владыка приехал днем. При встрече в церкви пели ученики всех школ в приходе, коих было, кроме Сосновской, еще три — две министерские и одна церковная. Каждая учащая стояла со своими питомцами. После молебствия учащиеся подходили к благословению архипастыря. Отец Димитрий называл, какой школы ученики, а епископ задавал вопросы по Закону

Божию. Дошла очередь и до моей школы. Мы стояли сзади и подошли после всех.

Владыка ласково обратился к Тане Барбашиной, умненькой девочке, и спросил ее тропарь праздника Введения во храм Пресвятой Девы. Таня прочитала его громко и отчетливо.

— Кого подразумеваем мы в словах: «Радуйся, смотра- рения Зиждителява исполнение?» — раздается тихий, внятный голос епископа.

— Божию Матерь, — отчетливо отвечает Таня.

— Здесь, в храме, есть изображение Введения во храм Пресвятой Девы? — спросил владыка следующего ученика.

Тот показал, где оно стоит. Многих еще спрашивал епископ, проверяя знание молитв, событий из Священной Истории. Одного старшего ученика спросил 9-й член «Символа веры», с объяснением. После всех учеников подошла я. Владыка мне сказал что-то такое хорошее, светлое, что я забыла все свои тревожения, заботы, мелочи жизни, сознавая в душе лишь важность того великого дела, участницей коего я имею счастье быть.

После отъезда преосвященного о. Димитрий в память этого события подарил всем ученикам по книге, оделил гостинцами и поблагодарил за хорошие ответы.

Все эти воспоминания моих первых лет учительства настолько мне дороги, что ни годы, ни жизненные бури не могут затмить их, как никогда не изгладится и память о двух светлых личностях, усердных церковно-школьных деятелях — епископе Антонии и о. Димитрии.

В нашем приходском храме, когда настоятелем его был о. Димитрий, сделали прекрасный новый иконостас. На иконе левого клироса изображены были Антоний

Великий и Димитрий Прилуцкий — святые, в честь коих носили имена настоятель храма и епископ. Всегда при взгляде на эту икону вспоминается мне картина: на амвоне стоит, наклонившись к приблизившимся к нему детям, кроткий епископ, некоторым из них положив на голову руки, задает вопросы; детки уверенно отвечают ему, доверчиво смотрят в глаза. А сбоку, возле амвона, ближе к своей пастве, стоит наш любимый батюшка, о. Димитрий, выражение лица его радостное, уверенное. Он сделал все, что мог, он любит воспитываемое им новое поколение, он знает, какие семена сеет в девственную благодарную почву...

И вот — они оба ушли от мира сего, оставив другим продолжать то великое, святое дело, которому отдавали свою душу и любовь. Ушли, но живы в тех плодах, кои посеяли, живы в сердцах, к которым прикасались своим живым словом, в кои заронили искру Божию...

VIII

Год за годом пошли мои дела в дорогой Сосновке. На третий год были произведены первые экзамены, к которым я приготовила первых четырех учеников. Год за годом выпускала из школы своих любимых птенцов, набирала новых. Ребята были славные, милые, их нельзя было не любить. На лето я не выезжала из Сосновки. Не на что было, жалованья едва хватало на содержание — на семь рублей в месяц не много поживешь. Да и, кроме того, я очень полюбила деревню.

И что за прелесть эта Сосновка с ее окрестностями! Какая красота и разнообразие природы! В лес ли меня потянет — в нескольких саженьях непроходимый пихтовый лес, кое-где лужайки, посреди них, как нарочно,

посажены купы крупных темно-зеленых пихт. К реке ли хочется — стоит только спуститься под гору, и течет в своих берегах красавица Тавда, отражая в воде деревья, густой стеной окаймляющие ее. В даль ли потянет, на простор полей — с другой стороны деревни поля, кое-где темнеют среди них липовые, березовые или осиновые колки. Даль, просторы, ширь... Сильного ощущения нужно — стоит только пойти на обрыв бабушки Пулихи: высокая-высокая круча сбегает обрывом к самой Тавде. Особенно хорошо там сидеть в бурю, прислушиваться к рокоту волн. В глушь захочется — так, чтобы чувствовать себя далеко от людей, от окружающей жизни, можно забраться в ущелья между горами — там теснота, лога, тишина. Иногда птица пролетит, прошумев крыльями, да лес гудит однообразно своими вершинами, как успокаивающая нервы эолова арфа.

Прелесть эта родная Сосновка! С каким наслаждением и любовью ходила я летом по ее окрестностям! Девочки часто сопровождали меня, иногда с нами бегали и мальчики — порыбачить.

Собралась вся наша юная компания, взяли котелки, картошек, хлеба и чаю и с закатом солнца — к нашему любимому озеру Тавлеву. Тропинка, ведущая к нему, идет возле высокой горы — узенькая, мягкая, лесная. Озеро открывается сразу, а вокруг него — громадный лес. Настал вечер, ребята разожгли большой костер, приставили к огню котелки — один с картошками, а второй для чая. Некоторые лежали ничком, подперев головы ручонками, смотрели, как пламя торопливо пробегало по сухой хвое и вспыхивало так ярко, что в лесу, в глубине его, казалось еще темнее, еще таинственнее...

Напились чаю, бросили в костер еще больше соснового хвороста, он вспыхнул ярким пламенем, освещая

всех присутствующих и красиво отражаясь в озере, где огонь колебался, двигался, расстился столбом. Искры так и летели в вышину, а в озере они казались падающими звездами.

Мальчики возились, играли, бегали около огня, бросали в озеро камушки, прислушиваясь к плеску воды, а наигравшись, сели около меня. Некоторые стали просить, чтобы я рассказала сказку. Другие запротестовали:

— Нет, сказку страшно в лесу слушать, испугаться можно, лучше житие какого-нибудь пустытника.

— Пустытника! Верно, пустытника! Вы ведь про кого-нибудь из них и без книги знаете! — А сами озираются кругом, всматриваются в черную жуть леса и теснятся ко мне поближе. А самый маленький, Павлик, положил ко мне голову на колени и почти заснул.

Озеро чуть светит в темноте ночи... Вдруг закричал коростель, все вздрогнули от неожиданности, а он закричал еще и еще...

— Ребята, да ведь он здороваётся с нами! — весело прервала удручающую тишину бойкая Таня.

— Верно, верно! — закричали дети.

Тишина и жуть слетели с нас, все заговорили, засмеялись. Догадливый Сапа убежал в избушку, там на очаге развел огонь, приготовил место на нарах. Вернулся к нам и доложил, что лесной дворец готов. В самом деле, спать уже было пора. Мы вошли в избушку, и утомленные ребята скоро заснули.

А мне не спится. Я встала и вышла. Отошла несколько сажен от избушки, села на сваленное бурей дерево и прислушалась к самой себе. В груди росло такое чистое, великое чувство, что я готова была плакать от его избытка. Лес как будто говорит с ночью, шепчет своими листьями, переговариваясь с миром Божиим.

Так тихо, тихо... Чувствуешь себя так близко, близко к Богу, хочется молиться Ему, как Отцу. Ведь это Его дом, Им созданный, а не руками человека, вложен тут не слабый разум человеческий, а необъятная, необъяснимая мудрость Божества...

Начинало светать. Короткая июньская ночь пролетела скоро. В озере плеснула рыба, другая. Пролетела стая уток, прошумела своими крыльями. Природа просыпалась, будто пела. И сердце сливалось с природой, хвалило вместе с птицами Создателя. Нет, такие ночи и переживания никогда не забываются.

Стоило проснуться одному, как тут же поднялись все мои ребята. Побежали умываться к озеру, начали готовить удочки.

— Не будем сегодня удить, ребята, — заметила я.

— Почему?

— Видите, как всё хорошо здесь. Всё живет, радуется. Вон трава, и та старается выглянуть на свет Божий, а мы будем рыбу обманывать, на крючок имать... Нет, не будем.

— Ну, что же, не удить — и так сойдет. Может быть, неводом когда поудим, а теперь где будем чай пить — здесь или в деревню пойдём?

— Здесь, ребята.

Живо всё приготовили, напились чаю, прибрали посуду и собрались домой.

— Бегите, ребятки, я одна за вами приду.

И у ребят лишь пятки замелькали, да слышались еще недолго голоса, ауканье и громкие возгласы... А я шла одна и чувствовала, как всё живет около меня — трава, вода, великаны-деревья и птицы. Хотелось громко крикнуть, что жизнь прекрасна и я люблю ее и радуюсь ей. Сердце не вместит всю любовь к Божьему миру, и руки

его не обхватят... Я чувствовала в себе так много внутренней силы и мощи, что на подвиг была способна.

IX

Пройдет лето — осенью за учење снова принимаемся. Зимой вечерами сидим в классе: или читаю ребятам что-нибудь, или стихотворения распеваем. Или пойдем гулять, любуемся бездонным небом. Начну рассказывать им о движении планет, величине видимых звезд, их расстоянии от земли, о Млечном Пути. Вместе поражаемся величию природы, мудрости Творца, все так устроившего. Теперь, по прошествии многих лет, я вспоминаю милые лица своих друзей учеников и радуюсь, что шли они ко мне с открытой душой, поверяя все свои «секреты».

Однажды Ваня с Алешей пришли утром на уроки, переглядываются между собой, на меня глянут — как будто что сказать хотят и не смеют. Класс начинает наполняться. Говор, гул, смех кругом — детский, серебристый. Я сидела у стола, когда Ваня подошел ко мне, обнял за шею и шепчет в самое ухо:

— Я вам скажу, только вы никому не говорите. Шли мы вчера с Алексеем из школы, а у Кузьмы в бане в окне стеклышко так и светится, я и говорю Алексею: давай бросим глызкой — попадем или нет? Так нам стало охота стеклышко это сломать. Алексей взял глызку, бросил и попал в самое стеклышко, оно сломалось, а мы испугались и убежали. Только вы, ради Христа, никому не говорите!

Вот в чем состоял их секрет, которым они поделились со мной. Что же я должна была сделать? Если серьезно рассудить, то ведь в них уже начали проявляться хулиганские наклонности. Я должна была настоять, чтобы они шли к Кузьме, сознались и заплатили за

разбитое стекло. Этим они были бы наказаны, почувствовали всю нелепость своего поступка, и я бы не стала их сообщницей в столь некрасивом деле. Но я так не сделала. Пусть меня осуждают, но я не могла так сделать и не хотела, даже мысли в голову не допустила, чтобы выдать их. Если бы я поступила так «рассудительно», тогда прощай откровенность. Они тогда еще хуже что-нибудь сделают, но уже не придут ко мне, не обнимут за шею, не шепнут на ушко о своих проделках. И какой же я им товарищ буду, если выдам их?

В тот же день после занятий я пошла с ними гулять. Во время прогулки они во всех подробностях рассказали о происшествии, показали разбитое стекло. Я обещала, что никому не скажу, и убеждала их не делать так больше, не бросать глыбы, палки и камни куда попало.

Несмотря на мое «укрывательство», из них не вышло хулиганов. Оба они в настоящее время отбывают воинскую повинность и пишут мне славные письма. Мне не пришлось краснеть за своих питомцев, хотя никаких наказаний у меня не полагалось. Не могу я наказывать; если уж кто сильно провинится, то я лишала такого виновника очереди вечеровать со мной в классе. Это для них было чувствительно, так как нашими вечерами, проведенными вместе, они очень дорожили.

Встречались и такие, с которыми много приходилось бороться, и трудно было их исправить. Особенно помню двоих — Мишу и Леву. Первый был очень способный, но и упрямый. Если не захочет что делать, то его никакими мерами не принудить. Все пишут, а он положит ручку и сидит. Стану настаивать, а он ляжет на парту и лежит. Тогда я сделаю вид, что не обращаю на него внимания, а сама украдкой наблюдаю. Он полежит-полежит, поковыряет, поглядывая на меня, возьмется за ручку и начнет

работать. Особенно на уроках арифметики он так делал. Знаю, ему не стоило большого труда заниматься, но — не желал. Душа его для меня, при всем старании, осталась тайником. Бывало, сидит в школе с нами вечером, ребята спрашивают наперебой о том, о другом, рассказывают шумно, откровенно, а он смотрит на нас пытливо темносиними глазами, словно изучает, и очень редко примет участие в разговоре. И как же я бывала рада, когда он присоединился к общему разговору!

Свое упрямство Миша оставил лишь во вторую половину последнего учебного года, когда стал действительно готовиться к выпускному экзамену. Он был очень самолюбив, я задела у него эту струнку, и он, не желая сдать экзамен хуже других, бросил свое упрямство, закончив учебу одним из лучших*. Но по окончании школы он отошел от меня, не был так близок, как другие. Ведь обычно из нашей «семьи» выпускники не выходили. На уроки, разумеется, ходили редко, но воскресные чтения посещали исправно, принимали участие в пении и чтении в часовне, нередко приходили вечерами в школу. Словом, не отдалялись от школы и от меня, лишь отношения наши немного изменялись: они чувствовали себя свободнее, чем раньше.

А Лева сердечный был мальчик, смысленый, но его неудержимо тянуло на драку. Чуть кто обидит его — никакого ответа нет, кроме драки. Вспыльчивым был в высшей степени. Уж я убеждала его, внушала, что он делает плохо, — соглашается, но в то же время заявляет:

— Рад бы я не драться, да никак терпения не хватает. Как кто обидит, кулаки сами сжимаются.

* Миша пал на поле брани смертью героя, убит 4 августа, получив Георгиевский крест и чин унтер-офицера.

Сколько он, бедняга, пережил унижений из-за этого! Иногда при всех учениках заставляю просить прощения у побитого — он опять соглашается. Даже заплачет, прося прощения, а случится, кто обидит его — опять кулаки в ход пошли. Сколько я с ним ни билась, а не скажу, что исправила. Теперь я его потеряла из вида, он уехал жить в город, и я не знаю, какой из него вышел человек, хотя знаю обо всех своих бывших учениках.

У нас как-то так устроилось, что ребята писали мне письма. Я была очень довольна этим, потому что в письмах они свободнее излагали свои мысли. Я же поощряла их к такой откровенности и никогда не высказывала неудовольствия, даже если что и неприятное мне напишут. Проверишь себя, разберешься, и, если ребята в чем-то ошибаются, объяснишь им, а если они правы, тоже этого от них не скроешь.

Некоторые из писем сохранились у меня до сих пор, очень жалею, что не все. Привожу дословно их записки, исправив лишь ошибки.

Письмо Степы.

«Здравствуйте, дорогая моя учительница И. К. Я вам посылаю поклон. Вы не ездите летом домой, будем гулять, как вы здесь будете, а если уедете домой, то нам скучно будет страсть. Пожалуйста, не ездите! Будем мы плакать. Научился бы я хорошо задачи решать — поставил бы пятишную свечку, Бога поблагодарил, а то я не умею решать. Я молюсь каждый вечер, все прошу Бога научить меня; может, и научусь. Вот еще что я сказал бы вам, — поди, не поглянется это: домой-то я пришел да Демку (младшего братишку) хотел бить. Он за мной побежал, книгу просит, я не даю, он меня царапать начал по губе. Я заплакал, осердился, побежал бить его. Бабушка не дает, потом я его все-таки треснул, он залез за печку

*и ревет. Мне купили сапоги, давали 4 рубля. До свидания!
Я вам еще стишочек спешу тут же, вот он:*

Учительнице

Из пышного дома, от знатной родни
Ты вышла на скорбную ниву,
Решив невозвратные юности дни
Отдать неземному порыву.
В селении бедном, в далекой глуши
Крестьянских детей ты учила,
Всю силу великую бодрой души
Ты в дело свое положила.
Ты светом науки, души теплотой
Крестьян просвещала и грела,
Любила ты всех их любовью святой,
За долю их сердцем болела».

К стыду своему должна сознаться, что не знаю, чье это стихотворение, откуда он его взял, но оно тронуло меня. Значит, милый мальчик думал обо мне, хотел сделать мне приятное, выбрав и написав это стихотворение. Только ко мне оно мало применимо: не «из пышного дома» и не «от знатной родни» вышла я на дорогу учительства, а из такой же крестьянской семьи, из того же народа. И вышла я не на «скорбную ниву» — нет, скорбной она для меня не была, эта нива, пока я жила в Сосновке. И не трудно мне было там дорогое мое учительство, все было дорого, все любимо.

Письмо Ионы по окончании им курса.

«Здравствуйте, милая моя И. К.! Посылаю я вам свое почтение и с любовью низкий поклон. Благодарю вас за вашу карточку и уведомляю: тятя что-то захворал, присягу в волости еще не принял. Я собирался в воскресенье

идти в часовню часы читать, никак не мог, — по солому ездил, воды привез, коней напоил, всё один. Может, вы гулять пойдете и попроведаете тятю? Остаюсь жив и здоров, того и вам желаю. Ваш ученик, любящий вас Иона Коркин. Извините, я карандашом написал, чернил нет».

Писали дети мне и коллективные письма, если им нужно было сообща высказать что-нибудь важное. Вот одно из них, которое я храню и даже временами перечитываю.

Напишу маленькую подробность относительно этого письма. Обычно записки, если они были, дети отдавали мне утром, до уроков. А с этим письмом дело обстояло иначе. Замечаю: Алексей, Киприан и Иона весь день волнуются. Но не выспрашиваю, жду, когда сами скажут, — так я поступала всегда. Вот и большая перемена прошла, а я так ничего и не узнала. Только когда пошли из школы, Киприан сунул мне в руку мелко сложенный лист бумаги и бросился бежать, за ним поспешили и Алексей с Ионой. Я отпустила всех учеников, стала читать и чувствую, что краснею, что сердце сильнее бьется, и думаю: «Господи, вот где беда-то! Как же я завтра взгляну на них?!»

Вот оно, памятное письмо.

Письмо от Алексея Барбашина, Киприана Бадина, Ионы Коркина.

«Здравствуйте, дорогая наша учительница И. К.! Не гневайтесь вы на нас за наше письмо, а большие мы терпеть не можем, тяжело нашему сердцу. Завелся в деревне у нас неприятель, этот барин Е. И. Мы его страсть не*

* «Этот барин Е. И.» — речь идет о дружбе учительницы с молодым медицинским работником, прибывшим в деревню для борьбы с эпидемией брюшного тифа, по-видимому, из г. Туринска. Е. И. — инициалы его имени и отчества.

любим за то, что он к вам ходит, вечером сидит, и вы нас уже вторую неделю не звали к себе вечеровать. А тут еще гулять ходили с ним, — мы вас сами видели, своими глазами, третьего дня вы вечером с ним ходили. Я уже спать хотел ложиться, ко мне прибежали вечером Алексей и Иона, говорят, что сами видели, как вы с ним рядышком прошли. Я скорее обулся, без шапки побежал, все мы трое стали за угол, а вы уж больше не пошли с ним, он один от школы к старосте прошел. Мы хотели глазами в него пустить хорошенько, живо бы отвадился к вам ходить, да вас побоялись. Его Бог накажет за это, вот сам-то и захворает: к больным ходит. Мы уж молимся Богу, чтобы горячка из деревни ушла, он уж тогда уехал бы, либо сам хоть захворал, не ходил бы все-таки к вам. Вы перестали звать нас вечеровать, и все из-за него, грех ему будет за это. Мы думали, что вы нас любите, а вы уже не любите больше нас, а барина любите. Ради Христа, не ходите вы с ним гулять, в школу нашу тоже его не пускайте. Мы писали это письмо и все трое плакали, нам жалко вас, вы нас не любите уже. Мы ведь видим, любили когда нас, так вечером-то с нами были, ни с кем не гуляли. Ребята младшие ничего не знают, что они и понимают! Задачи мы решили, а стих потому и не выучили, что сговорились вам письмо писать. Вы, поди, шибко на нас осердитесь, — боимся страсть как. Писал Киприан дома в горнице, и Алексей с Ионой тут же были. Письмо это вам от всех троих».

Разумеется, я не «прогневалась» на них, но письмо это в высшей степени поразило меня. Какие они чуткие, и как осторожно нужно жить, внимательно относиться к себе и своим поступкам. Тут же я пришла к решению, которое написала на полях их письма себе

для памяти: «Вы правы... Кроме вас, дети, я никого не должна любить!.. Так оно и будет!»

Х

Я почти забыла, что я «неправоспособная» учительница — не имею никакого документа об образовании. Но один случай заставил меня всерьез подумать о своих правах. Вблизи города освободилось место учительницы в церковно-приходской школе, учеников там было человек 60. Отец наблюдатель предложил членам отделения назначить меня на это место. На заседании отделения некоторые его члены были согласны с этим предложением, но один батюшка бурно запротестовал. По его мнению, правоспособную учительницу без диплома назначать в церковно-приходскую школу, да еще вблизи города, невозможно. Отец Димитрий, узнав все это от наблюдателя, передал мне со словами:

— Вот, сколько я говорил вам, чтобы держали экзамен, а вы и внимания не обращаете на это. Видите, как плохо не иметь почвы под ногами. Хоть того лучше вы в школе занимайтесь, а «вывеска» все-таки нужна.

Я тогда решила: «Хорошо, батюшка, раз без прав я вам не нужна, во что бы то ни стало, осенью я буду правоспособной! Но, — прибавила я мысленно, — из Сосновки все-таки никуда не поеду!» Я не хотела получить место получше, будь оно хоть в столице, а не около нашего городка с двухтысячным населением, но вот что беспокоило: Сосновскую школу грамоты могут преобразовать в церковно-приходскую и тогда попросят меня освободить место. На то, что мы и теперь проходим курс церковно-приходской школы, и испытания проводим по полной программе, что мы теперь только числимся

«школой грамоты», не обратят ведь внимания. Вот для того, чтобы укрепить за собой место в Сосновке, я и решила добиться диплома.

По окончании учебного года поехала в Туринск, приобрела программы и учебники, нужные пособия и начала готовиться. Большое содействие мне оказала матушка игуменья Мария. Как бывшая воспитанница ее монастыря, я обратилась к ней с просьбой о помещении. Она с сердечной готовностью дала мне стол и приют. Для занятий определила меня в свободную в то время от службы церковь, на хоры. Тут я устроилась, как в классе: разложила учебники, развесила по стенам географические карты и целые дни проводила за книгами.

Громадную помощь в занятиях оказала мне бывшая воспитательница Туринского епархиального училища, а потом учительница второклассной школы Зоя Дмитриевна Лепехина. Несмотря на слабое здоровье, подточенное учительством, она тратила дорогое ей время на уроки со мной, в особенности по славянской грамматике и русскому языку. Услугу эту она оказала мне совсем безвозмездно. Кроме того, доставала мне необходимые учебники, давала много полезных советов. Я сдала экзамен именно благодаря ее помощи, за что осталась ей признательной на всю жизнь.

«Не без добрых душ на свете». Не встретить я матушку игуменью Марию и Зою Дмитриевну — едва ли я имела возможность так радоваться, получив диплом, почувствовать почву под ногами и крылья за спиной. Сдав экзамен, я стала учительницей не только на деле, но и «на бумаге», а это очень важно.

С легким сердцем начала я в тот год школьные занятия, вернувшись из Туринска. Была уверена, что из Сосновки не уволят, не лишат учительского места: в

отделении хранится мое свидетельство на звание учительницы. Не чувствовала я, что надвигается на меня большое горе, как туча черная и неожиданная.

В декабре приехал отец наблюдатель с ревизией и сообщил, что меня, как правоспособную, назначили учительницей в церковно-приходскую школу в деревню Кантышка, которая находилась в том же приходе в 20 верстах от Сосновки, дальше на север. Жалованья я буду получать больше, а именно — 12 рублей 50 копеек в месяц. Нечего и говорить, как тяжело подействовало на меня это назначение! В мыслях я не имела покинуть эти красивые горы, обрывы, леса и озера, эту дивную местность. Расстаться с Яковом Андреевичем, с Аксиной, бабушкой Еленой, со всеми моими друзьями, что ходили ко мне на воскресные чтения, а их так много?! Как будто в родной семье я жила среди них.

А ребята? Как же я с ними буду прощаться? Всех их до одного жаль, ведь родные они мне...

Вот Коля, он всех слабее учится. Мне казалось, что я его люблю меньше других, — нет, я ошиблась. Недавно его сосед по парте потерял карандаш и спрашивает у Коли: не брал ли он? А Коля, мой малыш, первокодник, удивленно так вскинул на него свои карие глазки и убежденно говорит:

— Что ты, Ваня! Стану я карандаш брать! Разве можно чужое брать? Бог за это накажет, да и грех ведь.

Я стояла неподалеку, все слышала и подумала: «Так вот ты, Коля, какой у меня! Как рассуждаешь, а я и не думала, что ты такой». И Коля стал мне мил. А карандаш нашелся в книге у Вани.

Или этот Алеша, тоже младший. Как начал учиться, случился с ним грех: понравилась ему коробочка Семы, в которой тот держал перья, и взял ее. Когда Сеня вече-

ром заявил мне, что пропала коробочка, я сразу предположила, что взял ее Алепа. Во-первых, потому, что в большую перемену он сидел на Сенином месте и искал что-то в парте, во-вторых, очень уж поспешно убежал из школы. Назавтра я позвала его одного и спрашиваю:

— Алепа, брал у Сени коробочку?

— Взял, — говорит мне шепотом и густо краснеет.

— Где она?

— Дома, в ящичке лежит...

— Почему ты ее взял?

— Она светленькая.

— Нужно отдать ее Сене.

— Я сбегая, отнесу ему, только вы меня простите, больше ничего не возьму.

Потом подходят радостные такие оба с Семеном. Один мне сообщает, что ему Сеня эту коробочку подарил, а другой — что ему коробочку не жаль отдать: Алепа сам сознался, принес, — пусть возьмет себе.

И этот Семен — такой он добрый, такой отзывчивый, что часто последний свой кусок отдает товарищу. Если удастся ему купить на случайные гроши какое-нибудь лакомство, то обязательно принесет в школу и поделится, особенно с самыми бедными.

Да все, каждый по-своему мне мил, и вот нужно с ними расстаться. Говорят, утопающий за соломинку хватается, так и я: поехала к о. заведующему со слабой надеждой — не поможет ли он чем? Но он, разумеется, был бессилён оставить меня в Сосновке и посоветовал спокойно отнестись к перемещению. Говорил, что дела в Кантышке будут побольше, ведь я одна буду заниматься. И хотя он состоит заведующим, ездить туда часто не сможет за дальностью расстояния, и все уроки мне придется вести самостоятельно, без его помощи.

Попросил работать так же, как в Сосновке. Утешил, нечего сказать, еще прибавил горя, ведь в чужой для меня деревне я буду заниматься в полном одиночестве, без указания, направления и поддержки. Прошли незаметно святки...

Седьмого января, ровно изо дня в день через шесть лет, как приехала, я покинула любимую, родную мне Сосновку. Накануне в последний раз сходилa в часовню со своими ребятами. Слушала, как они пели, читали, а помогать им не могла. Слезы душили меня, светлые воспоминания всплывали в моей памяти: как мы встречали тут первую Пасху, какое всегда отрадное настроение давала мне совместная молитва с учениками и с народом, именно здесь, в этих убогих стенах...

Повез меня Яков Андреевич. Оба с Аксиньей они оплакивали меня, как дочь. А сколько слез было пролито мной и учениками... Той боли, которую я чувствовала, расставаясь с учениками, никакими словами не передать.

За рекой я села в кошеву, оглянулась и вижу: Кириан упал на дорогу и плачет навзрыд, ребята шапками машут, прощаются... Я легла на дно кошевы и так со слезами приехала в Кантышку.

XI

Деревня с первого взгляда произвела на меня удручающее впечатление: стоит на левом низком берегу Тавды, леса близко нет, окружена болотами.

Как только въехали в деревню, увидели бегущего по улице мальчика и остановились. Я спрашиваю у него — где школьная квартира? Он бойко заскочил сзади кошевы и радостно говорит:

— Вы учительница будете?

— Да...

— Вот слава Богу! Мы уж давно ждем вас!

— Ты разве учишься?

— Учусь в среднем отделении. Когда к вам придти — сегодня или завтра?

— Идите сегодня, если хотите.

— О, я мигом всех ребят соберу, ведь с осени не учились, сбегутся все сейчас же!

И верно, как сказал Петя, так и сделал. Не успела я осмотреться, нагрянули ко мне будущие ученики. Кстати замечу, что эта встреча с Петей, его радостное приветствие немного облегчили мою тоску. Учеников набралось сразу человек сорок. Ребята бойкие, не забитые, в первую же встречу они так шумно и смело рассуждали со мной, что я начала сомневаться: смогу ли установить нужную дисциплину? Но все устроилось. Ученики были славные, хорошо подготовленные, так как одна из моих предшественниц (их за три с половиной года существования школы сменилось две), г-жа Хлестова, была первым педагогом и воспитательницей во всем нашем уезде. Очень редко, как необычное явление, встречаются на школьной ниве такие работники, как она. Ее жизнь — это школа и ученики. Личного — ничего нет. И дело в Кантышке было поставлено как следует.

Но я все равно скучала по Сосновке, вспоминала своих учеников. Вела с ними переписку. Помещаю здесь некоторые письма, написанные мне сосновскими ребятками.

«Здравствуйте, И. К.! Кланяюсь вам поклон, спасибо вам, И. К., за память обо мне, за любовь вашу. Письмо я от вас получил, благодарю вас за это письмо. Послали

вы записку бабушке Парасковье, я ходил к ней и прочитал эту записку. Она говорит, рада бы поехать я к ней погостить, да дома некого оставить: если оставить Василья (сына), он всю картошку пропьет, если оставить Алешу — до колена грязи будет. Плачет она об вас. Остаюсь любящий вас К. Бадин».

«1905-го года, января 21-го дня.

Здравствуйте, дорогая и многоуважаемая наставница моя И. К.! Желая от Господа Бога доброго здоровья, в делах и учении — успехов. Еще благодарю я вас, что вы выучили меня. Я сроду вас не забуду. Приезжайте к нам, я тоже к вам приеду или, быть может, пешком приду. Живу я, никуда не хожу. Ездили мы на речку по воду, лошадь шибко разбежалась, я упал, расшиб колено. Два дня не выходил из избы, а теперь, слава Богу, жив и здоров. Охота мне у вас побывать, пошлите письмо с кем-нибудь, и я приду к вам. В. К.»

«Здравствуйте, И. К.! Сильно я стосковался об вас. Благодарю за то, что вы не оставили меня безграмотным, а выучили, спасибо вам, моя мамонька и как родная мать. Скучаю я об вас шибко, отпишите, ради Христа, письмо, карточку проводите. Приезжайте, ради Бога, повидаться со мной. Всё я про вас думаю, день и ночь всё на уме. А вы, поди, забыли меня. Отпишите мне, когда мы повидаемся, я так и знать буду. Тятя пировал три дня, а я все сидел дома и плакал об вас.

Алексей Барбашин».

«1905-го года, апреля 26-го дня.

Здравствуйте, И. К.! Кланяюсь я вам, большой и низкий поклон, желаю от Господа Бога доброго здоровья. Еще вам поклон от Феоны, Савватия, Ивана Балдина,

Кирилла, Тимофея , Якова Грубцова** , Андрея, Алексея, — все вам кланяются по низкому поклону. Тоскую я шибко. Мы свою коровушку «ученую» продали Сане Котину за 14 рублей, купили хлеба и на рубашки. Яшу отдали бабушке в работники, вырядили коровку маленькую, и она дойная. Курочки нам к Пасхе наклали 56 яиц. Благодарю я вас за то, что послали мне отрывной календарь. Сильно тоскую о вас, все держу на уме, плачу часто. Отпишите мне письма чаще, мне хоть веселее будет. Видел я вас недавно во сне. Писал один и плакал. Киприан Бадин».*

Не могу удержаться, чтобы не поместить здесь еще одно письмо Киприана Бадина, писанное им мне через десять лет, с театра военных действий.

«1915-го года, сентября 27-го дня.

Здравствуйте, многоуважаемая и дорогая моя учительница И. К.! Уведомляю Вас, что по милости Всевышнего я жив и здоров, того и Вам желаю от Господа Бога. Шлю я Вам от души сердечный привет, уведомляю, что получил от Вас письмо, конверты и бумагу.

За все это я Вас благодарю, благодарю тысячу раз, ведь я с родины не получал письма 4 месяца. Заботился, печалился, ждал письмо и Вашему обрадовался, как ангелу небесному. Благодарю Вас несколько раз. Ведь на войне это первая радость и счастье — получить письмо.

Пришлось и мне сражаться за веру, Царя и отечество. Бог хранит меня до сих пор, хотя сколько раз приходилось быть в бою, ходить в атаку.

Когда я пошел на службу, Вы мне подарили свою карточку, я ее теперь храню, всегда она со мной в памятной

* Тимофей убит в феврале 1915 г. на германском фронте.

** Яков убит 22 октября. Имел два Георгиевских креста, был три раза ранен в сражениях и умер героем.

книжке. Будет когда скучно, достану Вашу карточку, смотрю и говорю сам себе: “Карточка ты, карточка, что ты видишь, какие бои, какой огонь; как сильный гром, рвутся снаряды, взрывы, жужжание пуль, — всему ты свидетель”. И вот вчера получил Ваше письмо уже в сумерках, прочитал с радостью, а писать темно, и насилу скоротал длинную ночь до разговора с Вами. А пули всю ночь свищут, как у нас в жар пауты около коней, и думаю я: “Вот если меня Господь сохранит, велит выйти домой, приду, все расскажу Вам, чему мы с карточкой были свидетели”. Пули вовсе не страшны, почему-то их не боюсь, а если сидишь в окопе, снаряд прилетит, недалеко от окопа разорвется, так оглушает — с полчаса ничего не слышишь, а земля кверху на несколько сажен поднимается. Но я предаюсь на волю Божию, одно думаю: помог бы Господь проклятого врага победить, прогнать его с нашей русской земли; все этого желают. Быть может, Господь и сохранит меня, Его воля.

Был у меня задушевный товарищ Степа, жили, как родные братья, да в ночь с 17 на 18 сентября моего друга Степу убило сразу двумя пулями — в голову и сердце, сразу отдал Богу душу. В ту же ночь мы взяли в плен 114 нижних чинов, 2 офицеров, добыли более 200 винтовок, 3 телефона, 2 ящика патронов. Скажу Вам в конце письма свою радость: представили меня к награде — Георгиевскому кресту. Скоро получу и обязательно тогда сообщу Вам. Будьте так добры, сообщите мне, где мои братья — Миша, Яша и Гриша (у него три брата на войне, один убит) — ни писем я от них не получал, ни адреса не знаю. Маме и Ване скажите от меня привет, да я им отдельно пишу.

Прошу Вас, не забывайте меня, пишите, я Вас до гроба не забуду. Если Господь даст здоровья — вернусь домой,

а если велит Он здесь положить мне свою жизнь — буду умирать и тоже вспомню Вас.

Остаюсь жив и здоров, слава Господу Богу, бывший Ваш ученик, преданный Вам К. Бадин».

ХII

В первую весну после моего приезда в Кантышку здешние крестьяне перемеривали пашню и попросили меня рассчитать, у кого сколько земли — ближней, средней и дальней в отдельности. Я с удовольствием согласилась и целую неделю сидела с ними на сходе, высчитывая квадратные сажени. Мерили-то они сами, а я ходила по полю, записывая длину и ширину. У некоторых на три души в семье было 15 десятин земли, а у иных на три же души — десятин пять, пять с половиной. Всё это крестьяне уравнили, снова землю переделали, как следует.

Во время этой работы я немного сблизилась с крестьянами, узнала их поближе. Меня поразили типы настоящих кулаков, каких в Сосновке совсем нет. Недаром многие из кантышских жителей и дома имеют хорошие, и пристройку крепкую, у некоторых дворы обнесены такими заплотами, такими крепкими воротами, что не скоро попадешь к ним — не так, как в Сосновке, у тех всё развалилось. Хотя пьют вино кантышовские не меньше...

Квартира для школы и учительницы здесь была наемная. Батюшка возбудил ходатайство о бесплатном отпуске леса на постройку школы, но лесное ведомство разрешило взять лес из дачи, находящейся в 60 верстах, и к тому же еловый, когда верстах в 4–5 от деревни находился прекрасный строевой сосновый лес. Опять написали куда следует, и переписка эта об отпуске леса

растянулась на годы, как это ни странно в местности, столь богатой лесами. Пришлось все это время жить в наемном помещении.

Дом ветхий, мрачный, с небольшими оконцами. Классная комната еще сносная была: четыре окна и не так холодно, так как расположена над жилым помещением. Но высота комнаты — всего три аршина. От неисправной трубы угар и чад проходили к нам в класс, каждое утро мы буквально задыхались от дыма. Сразу открою настежь дверь и форточку, очистим воздух и тогда начнем занятия. До обеда еще ничего, а с обеда уже обязательно начинает болеть голова — успеем к тому времени угореть. Все запахи кухни, помещавшейся под классом, были у нас вверху, особенно тяжел был запах свиных щей и ржаного хлеба. По запаху мы каждый день знали, что пекут или варят хозяева.

Пол в квартире одинарный, внизу слышно, когда ребята пойдут на перемену и шумят. Детишки сознавали всю зависимость своего положения и старались ходить тихо, не стучать ногами, не кричать громко, но ведь их было больше сорока человек, так что не было физической возможности соблюдать абсолютную тишину, не беспокоить хозяев.

Переменить эту квартиру не предоставлялось возможности: богатые в свои дома не пускают: нет у них нужды отдавать лучшие комнаты для ребят, а беднота сама ютилась в плохих и тесных избенках. У школьников были и другие неприятности. Например, был такой случай. По соседству с квартирой в огороде стоял большой зарод сена, ребята в перемену взобрались на него и ну кувыркаться, кататься с него кубарем, вновь взбираться... Я залобовалась, глядя на их веселье: радуются жизни и солнцу (дело было весной); я ведь не знала, что сено пор-

тится, если его мять, а то бы запретила эту игру. А хозяин сена, как увидел ребят на стогу, не говоря ни слова, взял ременный бич, прибежал и кое-кого успел ударить порядком. Я возмутилась страшно, наговорила мужику много неприятных вещей... Однако после этого дети уже не кувыркались на сене, а играли на площади у реки.

Да, ведь я начала описывать школьную квартиру, но отклонилась от темы.

Что касается моей комнаты в квартире, то приходится лишь удивляться, как я могла там жить. Помещение мое было над нежилой комнатой, пол не двойной, и снизу свободно проникал холод. Три оконца все обращены были на север. Внутренних рам совсем не имелось, даже летние рамы были полусгнившими. Несколько стекол было разбито, а отверстия заклеили тряпками и бумагой. С осени до весны я буквально не видела света Божия: все окна снизу доверху покрывал толстый слой льда — не тоньше вершка. Когда случится оттепель и польются у меня потоки воды с окон, вверху можно было оттаять маленькую «гляделку» на улицу, но потом ее опять затягивало льдом.

В углах всегда намерзало немало льда и снега. Бывало, я ночи не могла спать от холода. Жутко было, когда зверем завоет сибирская вьюга: кажется, вот-вот она ворвется через окна ко мне в комнату, разрушив ветхие рамы и разорвав в клочья тряпки и бумагу.

Выдержала я в такой квартире четыре года благодаря тому, что Бог наделил меня от природы крепким здоровьем. Я отделалась одним лишь воспалением легких.

Помню, однажды заехал в школу доктор, сел в моей комнате пить чай, и вдруг говорит:

— У вас тут откуда-то дует, позвольте пересесть вот на тот конец стола.

— Это из окна: видите, бумажка отстала.

Пересел он на другое место — опять на него дует, из другого окна. Он садится на третье место. В конце концов отказывается от чая, говоря, что недавно болел он плевритом, поэтому боится получить осложнение. Пришлось перейти со стаканом в класс, там уж никаких осложнений не предвиделось.

Вспоминаю всю эту обстановку и удивляюсь: она меня не угнетала, как будто иначе и быть не могло. Такие случаи, как опасения доктора за свое здоровье, меня даже забавляли, как излишние нежности. Ведь живу же я, ничего мне не делается. Ну, днем поболит голова от угара, а к вечеру же пройдет...

XIII

Привыкла я понемногу и к Кантышке. Дети — везде дети. И здесь они были ласковы ко мне. Класс был у нас теплый, особенно в углу за печкой. Там было большое помещение, где днем дети складывали свою верхнюю одежду. Вечером же мы ставили туда стол, скамью, стул. Придут мои милые девочки, иногда и мальчики, — сядем туда и поем, читаем, рассуждаем...

Если придет к нам ученик Дема, тогда у нас сколько угодно шума, возни и веселья. Такой был он живой, подвижный и остроумный мальчик — просто прелесть. Чуть не до слез доведет иногда девочек, особенно кроткую, умненькую Маню, — и тут же рассмешит: «Не плакай, душа любезна!» (Он услышал эту фразу от инородцев*).

* Инородцы — официальное наименование сословия, в которое, в частности, входили представители малых коренных народов Сибири. Они состояли не в крестьянских обществах, а в особых «инородческих» управах. В данном случае это манси, их устаревшее название — вогулы — упоминается в воспоминаниях далее.

Девочки были развитые, милые, писали отлично сочинения на разные темы, на пословицы. А Маня и Лиза — те даже стихи сочиняли. У меня сохранилось их стихотворное переложение рассказа Григоровича «Прохожий». По развитию они были обе одинаковы, обе любили много читать, понимали прочитанное и очень любили поэзию. Только часто они спорили: Лизе больше нравился Пушкин, а Маня зачитывалась Лермонтовым, многое хорошо наизусть декламировала, часто приводила к подходящему случаю поэтические строфы — всегда с чувством, с душой.

Поскольку я вспомнила о наших зимних вечерах, встает в моем воображении детское личико Саши, хозяйского ребенка, — он был неразлучен с нами. Я его застала крошечным, всего двух лет, когда перебралась в Кантышку. Рос и развивался он при мне и все детские болезни перенес на моих руках. Каждый вечер, бывало, сидит с нами, складывает домики из кубиков и слушает или поет. Когда ему исполнилось пять лет, он играючи выучился у Мани хорошо читать. Любил слушать рассказы об Иисусе Христе, в особенности о Его страдании, смерти и воскресении. Пристанет к девочкам и просит:

— Говорите мне про Бога, как Иисус Христос на земле жил.

Девочки начнут рассказывать, а он все уже знает наизусть, часто поправляет их или останавливает, когда они что-то пропустят.

Сидит он раз праздничным днем с Маней у окна и напевает:

— Ах, идет снежок-снежок,
Попрыгивает, поскакивает,
На птичку поглядывает.
Птички полетывают,
Птички попискивают
На нашем дому.

На мой вопрос: кто тебя этому научил? — отвечает: — Ты разве не видишь? Посмотри в окно, я все это вижу и пою.

Я сразу же записала эту его фантазию, потому что меня очень удивила такая наблюдательность пятилетнего ребенка, да еще крестьянского.

XIV

Беда всегда приходит, когда ее меньше всего ждешь. Восемнадцатого мая я поехала в Сосновку на несколько дней. 19-го там был крестный ход по полям, и мне очень хотелось принять в нем участие. Отец Димитрий отслужил на полях восемь молебнов, некоторые с акафистами. Крестный ход закончился уже к вечеру.

Батюшка вернулся домой усталый, прилег на постель в ожидании чая и — больше уже не встал с нее. Тут и скончался от кровоизлияния в мозг.

Смерть его поразила всех не только своей неожиданностью, но и потому, что все его любили. Он был настоящим пастырем и душу свою полагал за людей. Отдал им свои молодые силы. Поступил он в этот захолустный приход прямо с семинарской скамьи, а курс окончил вторым учеником, имел все возможности поступить в академию, но поехал трудиться в глухой уголок. И позже, по своим качествам и заслугам, мог устроиться где-нибудь получше. Преосвященный Антоний, хорошо его знавший и искренне любивший, неоднократно предлагал ему место в нашем губернском городе, но о. Димитрий отклонял это предложение. Ему не хотелось расставаться с тем народом, которому отдал свои молодые годы и силы. Свыкся со всеми, всех хорошо знал. В приходе он открыл пять школ, три церковные

и две министерские. Всегда посещал их по мере сил и возможности. И школьное дело всегда оставалось для него делом любимым.

И вот — сразу, неожиданно подкралась смерть, скосила его, еще молодого, полного сил и энергии. И умер он прямо с трудов своих. Последний молебен в Сосновке он служил уже почти вечером, в часовне, всех принял к кресту, как будто прощался с ними. Благословил свою любимую паству в последний раз. После этого он не жил даже и двух часов. На похороны его собрались все прихожане, храм наполнился плачем и рыданиями. Все чувствовали тяжелую, незаменимую утрату, это было общее горе.

Мне казалось, что вместе с о. Димитрием улетела душа школ, особенно Сосновской, в которой он принимал такое деятельное участие. Осиротели наши бедные школы. Я не могла представить себе, как пойдет дело, когда ушел из жизни наш вдохновитель. Вечная ему память.

XV

В июле приехал в приход новый священник. При встрече со мной первые его слова были о школе. И как же меня обрадовали именно эти его слова! Отец Иоанн все внимательно расспросил у меня и сразу высказал намерение устранить главное неудобство — наемную квартиру, приобрести свое здание. Такое его отношение подняло мой дух, убитый смертью о. Димитрия. Я увидела, что и новый батюшка будет опорой школы. Это мое предположение потом вполне оправдалось на деле.

В Кантышке была винная лавка. Я сторала от зависти, не могла равнодушно пройти мимо нее: такое красивенькое, светлое, уютное здание с большими

окнами. Ходила мимо и думала: «Вот школа бы у меня такая была! Вот бы класс был! Красота! Вдоволь было бы света, тепла, чистого воздуха». Но мечты эти казались мне совсем несбыточными. Дело дошло до того, что в лунную ночь нарочно пойду с девочками гулять, остановимся напротив лавки, любуемся, мечтаем вслух. Стоит лавка на берегу Тавды, удобно было бы поблизости устроить ребятам ледяную гору. Никто уж тогда не препятствовал бы бегать, играть сколько угодно, не было бы неудовольствия ни с хозяевами, ни с соседями. А она, эта лавка, облитая лунным светом, как будто подзадоривала нас, сверкая стеклами окон. Болезненно хотелось прочесть на вывеске: «Церковно-приходская школа» вместо слов: «Казенная винная лавка № 109-й».

И мечта осуществилась. Закрыли винную лавку в Кантышке. Батюшка немедленно приехал и предложил крестьянам приобрести это здание для школы. Крестьяне охотно согласились, и бывшая лавка стала школьным зданием. И радость же была у нас в этот день! Ведь почти никогда в жизни не сбываются заветные мечты, всегда разлетаются в прах воздушные замки. А тут — самая заветная, самая лелеянная моя мечта исполнилась!

Пятого августа крестьяне ожидали приезда начальника губернии*, поэтому на работы не ходили, сидели у земской квартиры. Здание для школы уже было приобретено, но внутри все еще стояло, как было в лавке. И вот крестьяне решили, пока было свободное время, убрать полки, решетки, перегородки. Только треск стоял! Очищали, готовили место грядущему, хоть и маленькому, но — свету.

* Начальник губернии — губернатор, назначенный императором глава администрации Тобольской губернии.

Я стояла тут же, и переживания мои не передать словами. Ребята скачут, радуются: какая у них хорошая школа будет — с просторным двором, с будущим садом. Они сами хозяевами будут, их эта школа... К осени помещение было отремонтировано, освящено, и мы переехали на новоселье в свою школу, где мне пришлось прожить целых пять лет.

В первую же весну после покупки здания по инициативе о. Иоанна устроили праздник древонасаждения. Батюшка отслужил молебен, окропил сад святой водой, своими руками посадил несколько деревьев. В новой школе я уже не испытывала тех неудобств, какие были раньше. Только жить бы да радоваться! Класс просторный, полный света и воздуха. Отец заведующий приобрел новую классную мебель — парты, доску; купил наглядные пособия, волшебный фонарь с картинками, куда лучше сосновского. Словом, обставил школу, как следует.

Я работала, вела занятия, но родную Сосновку все равно не могла забыть.

А там после моего перевода школа просуществовала еще пять лет, и, к глубокому моему огорчению, ее перевели в другую деревню.

Как это было больно мне! Да ко всему еще мне самой пришлось принимать участие в уничтожении школы. Отец Иоанн предложил мне поехать в Сосновку и составить опись имущества, книг — всего, что можно было уложить в ящики для отправки в ту деревню, куда перевели школу. Своими руками укладывала я школьное имущество, разрушая то, в создании чего принимала горячее участие.

Вспомнилось пережитое, вспомнился о. Димитрий, его труды, уроки, его любовь к детям и наши поездки в храм... Стою на коленях перед ящиком, укладываю

книги, а слезы душат меня, словно хороню дорогое и близкое мне существо. И так... школы в Сосновке не стало, совсем не стало!

Приближалась Пасха. Мы готовились в Кантышке встретить святой праздник. А душа моя болит о Сосновке. Как там встретят? Где и с кем проведут мои бывшие ученики эту ночь? Кто там споет Пасхальный канон? Не помолятся ли молча, как прежде они молились? Учительницы в деревне нет, руководить некому.

В Пасхальную неделю приехал в Кантышку знакомый сосновский крестьянин. Первым делом спрашиваю: как встретили праздник?

— Да хорошо-то как! — отвечает он. — Пели в часовне. Так мы были радехоньки, сердце веселилось!

И рассказал мне, что все это устроила моя первая еще ученица Саня, теперь уже взрослая девушка. Собрала бывших моих учеников, тоже взрослых, они спелись, и «по старой памяти» встретили праздник, как и со мной встречали в часовне. И все это устроила моя дорогая, славная Саня, в числе первых пришедшая ко мне учиться...

А давно ли, кажется, она была маленькая, никак не могла запомнить, сколько в году недель. И записывала она, и спрашивала я ее часто — все равно забывала. Наконец, я изобрела такой прием: взяла серебряный полтинник и две копейки, показала ей: видишь, сколько тут?

— Полтинник да две копейки, — наивно говорит Саня.

— Иначе как скажем?

— Пятьдесят две.

С той поры она уже не забывала, сколько недель в году. Школу окончила, большая выросла и часто вспоминала этот случай.

— Ведь, — говорит, — как это просто. Если забуду, то в памяти они и встанут: серебряный полтинник и две копейки.

XVI

Придется вернуться к весьма тяжелым воспоминаниям. Но раз начала писать все, то напишу и это, пережитое мною в Кантышке. Разумеется, во всех своих несчастьях человек сам виноват. Виновата и я. Много горьких, тяжелых минут пришлось мне пережить, пережить. Пришлось пережить много борьбы из-за учеников, из-за школы.

Хотя бы вот такой случай. В школе у меня учились и русские, и инородцы. Последних было немного, и они каким-то образом не участвовали в расходе на школу, который был, кстати сказать, очень незначительным. Однажды в разгар урока входит в класс сельский староста со знаком на груди — мужик грубый, упрямый, противник школы. Часто он поговаривал на сходе, что зря участвует в расходе на школу, ведь у него в семье никто не учится. Вошел он с серьезным видом, помолился на иконы и, не говоря доброго слова, грубо заявляет:

— Книжки у ребят пришел отнимать!

— Какие книжки? — спрашиваю я и жду, что дальше будет, а сердце стучит сильнее, начинаю волноваться. Ученики сжались в кучу, испуганно, вопросительно смотрят на меня, как будто спрашивают: что будет дальше?

— Ребят из школы выгонять хочу! — продолжает староста.

— Каких ребят?

— Вот этих — Серьгу, Демку, Пашку, Ваньку, Коську. Они не наши, а макары. Да что тут толковать! Эй, вы, пос-

трелы, вылезайте из-за партей-то, давайте сюда книжки и живо айда домой! — Свирепо, свирепо крикнул он им: — Наша школа, мы хозяева, хрестьяне, и чужих не пустим. Отправляйтесь, нечего тут проклажаться.

Я обратилась к ученикам, чтобы они спокойно сидели на местах. Вижу — «изгнанники» побелели все, губенки дрожат, глаза полны слез, и я тоже чувствовала себя неважно. Попросила старосту не шуметь, не распряжаться в школе, доказывала, что он не имеет права отказывать ученикам в учении, гнать их вон. Школа существует для всех желающих учиться, а не для одних избранных. Но куда тут! Он и слушать не хотел, поставил ультиматум: принесете к воскресенью по 3 рубля с человека — учитесь, не принесете — не ходите в школу. Эта цена, назначенная старостой с вогулов, не только полностью покрывала все расходы общества для школы, но давала еще избыток. Я попросила принять инородцев в общую раскладку расхода по школе — что-то около 5 копеек в год с платежной души, — ни за что! Три рубля с человека — и тогда учитесь...

Наконец, хотя и поздно, я догадалась попросить его удалиться из школы, не мешать занятию, что следовало бы сделать с самого начала. Когда он ушел, об окончании урока не могло быть и речи. Ученики столпились около меня, «изгнанники» со слезами кинулись:

— Неужели меня выгонят? У тяти денег нет платить, а учиться охота, ох как охота!

— У моего тяти тоже денег нет, — вот подать, побор надо платить, в кассе занял, где уж за меня заплатить?

— У нас за хлеб еще не отданы деньги, силой хожу, — тятя хотел в работники отдать, да я выпросился в школу. Теперь, если деньги за меня запросят — вовсе не отдаст меня.

Они со всех сторон облепили меня, и не одна горячая детская слеза упала мне на руки. Я собрала все свое мужество, чтобы не подать им вида, что не меньше их волнуясь, успокоила их, дала им слово, что из школы их не выгонят, я ручаюсь за это.

Какое тяжелое впечатление произвело все это на меня! «Вот они, — думала я, — настоящие-то тернии учительства. Ворвется грубый человек, своим вмешательством коснется души так больно, так безжалостно. Разве я могу допустить, чтобы моих ребят выбросили отсюда? Ведь они для меня всё: и друзья, и товарищи, и цель жизни. Я всю себя, свою молодость, силы, душу им отдаю, живу ими, и вот хотят оторвать от меня часть моей души и сердца. Где же оно, это всеобщее обучение*? Когда придет оно, так желанное, давно ожидаемое, — тогда зависимость от крестьян не будет тяготеть над головой учащихся. Не придет староста, не скажет: “Ты, Васька, учись, а ты, Колька, убирайся вон!”».

Тут же для себя я решила: чего бы мне ни стоило, не выпущу ребят из школы. Так и сделала. В ближайшую же субботу поехала к о. заведующему, доложила об этом случае и попросила его указаний.

Выслушав все внимательно, о. Иоанн посоветовал мне прежде всего успокоиться, не волноваться так по этому поводу. Напомнил, что везде, во всех учебных заведениях учащиеся вносят плату за обучение. И в данном случае придется примириться с мнением обще-

* Всеобщее обучение — одна из задач российской общественности и государства в начале XX века. В 1908 г. царем был утвержден закон, по которому все дети в возрасте 8–11 лет должны были получать обязательное четырехлетнее образование. Закон предполагалось распространить на всю страну до 1922 г. В Сибири из-за отсутствия земств, слабости материальной и кадровой базы школьной системы обеспечить всеобщее начальное обучение в столь короткий срок было вряд ли возможно

ства, настоять, чтобы деньги были внесены. Но я-то знала, что внесут плату лишь более состоятельные, а беднота возьмет ребят обратно. В голову мне пришла такая мысль: расходы на школу от общества ничтожны, школе много помогает церковь, вот и пусть эти ученики будут стипендиатами уездного отделения училищного совета.

Против этого заведующий ничего не имел, лишь заметил, что, если мы и оставим ребят на таком основании, все-таки пререкания и неприятности с обществом будут продолжаться, крестьян не убедить. В результате моей поездки батюшка разрешил мне действовать самостоятельно, как найду лучшим. Я же действовала по своему твердому решению, что не выпущу ребят; какую угодно борьбу вынесу, в крайнем случае свои деньги за них отдам, но будут они учиться.

Вот еще один случай. Учился у меня в школе мальчик Гриша, любимец дедушки Егора. Два года Гриша посещал школу, и дедушка был очень доволен. Гриша ему читал жития святых, записывал, что было нужно. Перешел Гриша в старшее отделение, учится хорошо. Но однажды в большую перемену входит ко мне дедушка Егор — суровый, мрачный на вид. Ученики ушли обедать, некоторые играют во дворе, я была в комнате. Обращается он ко мне с такими словами:

— Неладно ты Гришутку учишь, ох неладно!

— Как неладно?

— Да так. Спрашиваю вечер у него: что, мол, тебе задано? А он мне читает задачу — всё сотни да тыщи, большие тыщи! К чему это нам, хресьянам? Нам этих тыщей-то и во сне не видать никогда, не то что наяву. А тут он их считает да записывает. Вот, ономеднись он учил «Живый в помощи» — это дело, без этой молитвы

в лес не пойдешь, а тыщи — не надо. Ты учить, так учи ладом, что нам надо, а что ни к чему — это оставь.

Долго я говорила с ним, убеждала, что «тыщи» оставить не могу, должна им обучить, как должна учить и стихотворения, против коих он тоже восставал. С дедушкой-то Егором я могла столкнуться; хоть и не совсем, но убедила его, что в жизни и «тыщи» знать не мешает.

Если посмотреть издали на этот случай, он покажется пустяковым: говорит ничего не понимающий старик, вмешивается не в свое дело, указать ему на дверь — и только. Но по моей душе такие случаи не скользили бесследно, а оставляли глубокий след, больно ударяли по сердцу. Такие случаи вносили смятение в мою душу. Приношу ли я действительно какую-нибудь пользу окружающим? Не толчение ли воды в ступе — все мои старания? Не переливание ли «из пустого в порожнее»? Где настоящая польза? То ли я делаю, что нужно? Сомнения стали мучить меня.

Иногда целые ночи до утра не могла спать, все думаю, думаю... Начала анализировать, критиковать свою деятельность, и в результате появилось недовольство собой, своей работой. Энергия стала ослабевать, веру — эту горячую веру, с которой всегда шла на учительское дело, я стала терять.

Бывало, на уроке увлекусь, занимаюсь хорошо, горячо так объясняю что-нибудь, и вдруг — как холодный душ, мысль в голову: «К чему это? Какая здесь цель? Я им объяснила действие деления, или глагол, или другое что; в жизни это, в их крестьянском обиходе — пригодится ли?» И придет мне на ум дедушка Егор со своими рассуждениями.

И, как нарочно, мелкие факты жизни влияли на ослабление веры в дело. Приходит солдатка, просит

написать письмо мужу. Пишу. Словоохотливая баба сообщает:

— Ходила к Степану (окончивший курс ученик), просила его написать, да он пятак просит, а у меня едва на марку нашлось.

Как мне это больно стало! Пятак! Да разве он не слышал в школе, что не за пятаки нужно делать добро, разве я его так учила, чтобы развить в нем кулаческие наклонности? Разве я не боролась всеми силами именно с этим злом, потому что в Кантышке оно выражено больше, чем где-либо в этой местности? Кулачество — это самое больное мое место, — и вот, кто он еще — ребенок, а уже хочет идти по следам своих родичей.

Как раз в этот тяжелый период в местных «Епархиальных ведомостях» появилась короткая заметка одного батюшки, бывшего учителя, известного знатока школьного дела. Он высказал ту мысль, что, прослужив учителем десять лет и больше, педагог уже становится не так деятелен, его нервы портятся, теряется терпение и выдержка. В общем, проработав несколько лет учителем, становишься инвалидом. Какое сильное впечатление произвела эта заметка на меня! Я сразу подумала: это верно и метко написано, и вполне применимо ко мне. Прав батюшка; вот он меня не знает, а как будто про меня написал, я ведь больше десяти лет служу.

Отец заведующий во время своих посещений (он приезжал за год раз 5–6, а то и больше) успокаивал меня, говорил, что все хорошо, и советовал не обращать внимания на мелочи. Но в душе у меня будто что-то убили, оскорбили. Разрушили то, чему я верила, чем жила, чем молилась. А без веры в свое дело не бывает и успехов.

Даже школьники стали казаться мне не такими, как раньше. Я их не любила уже той настоящей любовью,

как раньше. Они чувствовали это и тоже смотрели на меня по-другому, я стала им чужой. Их личная жизнь, огорчения и радости теперь мало занимали меня. Ребята казались какими-то вялыми, апатичными: ничем не интересуются, задают мало вопросов, неразвиты, нет в них огонька любознательности, недружно живут между собой. Но кто же виноват в их тупости и вялости? «Я, и только я, больше никто и ничто», — сразу же приходил в голову ответ, наносящий мне нестерпимую душевную боль.

В конце концов мое состояние сказалось на результатах работы. Приехал о. наблюдатель, проверил мою школу и написал в ревизионном журнале: «Успехи нашел удовлетворительными». А ведь раньше, во все годы моей службы, наблюдатель отмечал: «Успехи по всем предметам очень хорошие». Мне казалось, что словом «удовлетворительные» он мне еще снисхождение сделал, пожалел меня. Быть может, у меня «слабые» успехи. Ведь я в глубине души сознаю, что не то у меня в школе, что было раньше: не та я, другие и ученики.

Я созналась о. наблюдателю, что мне тяжело живется, но о своих переживаниях не сказала. Объяснила плохое свое состояние усталостью, переутомлением. Заявила, что если это не пройдет, то уйду из школы совсем, так как не имею права занимать место учительницы, сделавшись инвалидом. Он тут же предложил мне переменить место, указал на две школы, кои могут поднять мой упавший дух. Речь шла об образцовой школе при второклассном училище и соборной школе в городе Туринске. Нужно немедленно подать прошение, пока места там были свободными — занимались в этих школах временные заместительницы.

Я поблагодарила за предложение, но в душе решила, что не гожусь ни в одну из этих школ. В соборной школе

нужно иметь дело с городской детворой, а с ней я совершенно не знакома: в городе никогда не жила, к деревне же привыкла и люблю ее. В образцовую при второклассной перевестись рискованно: смогу ли я сама-то быть образцовой? Вот раньше, пожалуй, смогла бы хорошо вести там дело, а теперь — нет.

В ответ на настояния о. наблюдателя я обещала «подумать» и потом решить.

Где набраться сил? Раньше эту внутреннюю силу помогали обрести курсы, которые устраивал епархиальный наблюдатель Г. Я. Маляревский. Они были всегда так хорошо организованы, что, несмотря на усиленные занятия, усталости не чувствовалось, происходило духовное обновление. Но теперь Г. Я. ушел от нас, после него и курсов-то нет уже который год.

XVII

Некоторую поддержку моему упавшему духу давали занятия медициной. Когда я еще жила в Сосновке, мне удалось немножко познакомиться с подачей первой помощи в несчастных случаях, с некоторыми болезнями, уходом за больными и лечением.

Поводом послужило следующее. 8 ноября в Сосновке местный праздник, напились мужички как следует, подрались, одного так побили, что еле живого домой принесли, истекал кровью, четыре раны на голове, руки, ноги — все растерзано. В деревне был случайно становой пристав, бывший фельдшер. Пошел составлять протокол, пригласил меня помочь ему и перевязку сделать. Я боялась вида крови, но пересилила себя, помогла ему, насколько сумела. Пристав сдал больного на мое попечение и уехал.

На следующий день я пришла одна делать свою первую перевязку. Волосы на голове больного от крови слиплись, пришлось их снять, что я и сделала. Раны промыла раствором борной, присыпала йодоформом (все это мне оставил пристав), и так делала каждый день. Раны хорошо залечились, загноения совсем не было. Мужик скоро поправился.

Тут я увидела, что действительно оказала хотя бы небольшую помощь. Мне захотелось посерьезнее заняться медициной, чтобы иметь возможность помогать другим.

В тот же год с весны началась сильная эпидемия брюшного тифа. В Сосновку прибыл для борьбы с тифом медицинский персонал. Я попросила разрешения помогать им в уходе за больными, что мне и было позволено. Кроме ухода за тифозными, в Сосновке был открыт временный амбулаторный прием с различными болезнями. На приеме я старалась быть как можно чаще, чтобы познакомиться с подачей первой помощи и лечением несложных болезней. Время было свободное — весна и лето, ничто меня не стесняло, свободно могла отдавать свой досуг уходу за больными.

В октябре эпидемия стихла. Медики уехали, снабдив меня аптечкой. Я начала принимать больных после занятий, в будничные дни, а в праздники — во всякое время дня. Врачебный пункт отстоит в 90 верстах, врачу не всегда бывает возможность приехать по вызову. Если какой-нибудь несчастный случай — помощь необходима немедленно, а врач или фельдшер в это время уехали в противоположную сторону верст за сто. Ведь наша матушка Сибирь так богата расстояниями. Такие случаи были: семилетний братишка в игре своей маленькой сестренке долотом отсек указательный палец, даже

отрезанную часть потеряли. Сделать перевязку, остановив кровотечение, было делом нетрудным. У одного парня молотильной машиной оторвало три пальца на руке, сорвало мускулы с ладони; ничего, без осложнений прошло, лишь никому я не позволяла, кроме себя, делать перевязку, чтобы не загрязнили рану.

Мне кажется, что каждому учащему, живущему в глуши, необходимо иметь хотя бы небольшие познания по медицине и домашнюю аптечку. Какой-нибудь пустяк без немедленной медицинской помощи дает иногда серьезное осложнение. Например, заведется в школе чесотка, — если не уследить, не вывести ее сразу, то все могут заразиться; сделать же серную мазь против нее нетрудно.

Если не изучавшая специально медицину учительница сделает перевязку раненому, остановит кровотечение, наложит, где нужно, согревающий компресс, окажет помощь при ожоге, даст слабительное, жаропонижающее, успокоительное, то этим вреда не принесет. Будет гораздо хуже, если крестьяне будут лечиться своими наговорами, знахарством, средствами вроде порошка из сушеных воробьев, медвежьей желчью от чахотки, пить медные опилки при ушибах и кое-что еще похуже.

Приучая народ пользоваться медицинскими средствами, можно подорвать вредные суеверия.

В серьезных случаях, не зная как поступить, всегда можно написать участковому врачу, вызвать его; когда он осмотрит больного, поставит диагноз, назначит лечение, может сдать этого больного на попечение учащего. Уж не так трудно после занятий сходить к больному, смерить температуру, подать лекарство, следить за ходом болезни. Когда «выходишь» трудно больного, особенно ребенка, то с этой радостью ничто не сравнится.

Но вот и темные стороны занятий медицинской, — не темные, а вернее, печальные недоразумения, огорчения.

В одну осень — в конце сентября — появилась эпидемия, чего — я не могла понять. Температура высокая, симптомы у всех почти одинаковы, похожи на брюшной тиф, который я еще в Сосновке изучала, но проходит быстрее. Даю жаропонижающее, слабительное, делаю компрессы, обертыванья, а болезнь определить не могу. Произошло уже два-три смертных случая — значит, что-то серьезное. Доктора вызвать нельзя, 90 верст расстояния — это еще не беда, но дело в том, что бездорожица, погода непостоянная: река то застынет — нельзя ходить и ездить, то совсем распухнет. Кое-как к 12 ноября установилась санная дорога.

А болезнь тем временем развивалась все сильнее.

Приехал доктор, пригласил старосту и просит его указать ему, где больные.

— Нет больных, ваше благородие!

— Как нет?

— А очень просто: все здоровы, нет у нас никакой болести в деревне.

Так доктор ничего и не добился от старосты. Приходит ко мне и сообщает результат своей беседы со старостой. Всех больных я знала наперечет, потому что к каждому вновь заболевшему всегда меня приглашали. Оделась, пригласила доктора пойти со мной в те дома, где есть больные.

Больных мы нашли 18 человек, и доктор определил сыпной тиф, который уже принял форму эпидемии, так как изоляции никакой не было.

Во время нашего обхода не обошлось без курьезов. Подходим к дому, где жила больная девушка лет

семнадцати, ее мать выбегает на крыльцо и поспешно спрашивает меня:

— С кем это ты идешь?

— С доктором.

— Так сама-то ты иди, а ты, барин, уж подожди на улице, тебя я в избу не пушу, потому что Палагея у меня потеть начала, неровно ты ее изурочишь!

Как мы ни уговаривали бабу, чтобы пустила нас в избу — ни за что! Одну меня приглашает, а с доктором — на порог не пускает. Старались доказать ей, что если Палагея начала потеть, значит, кризис наступил, и помощь доктора нужна в это время, — нет, не пустила, и кончено. И в других домах на посещение доктора косо посматривали, как будто говорили: «Что ему нужно? Зачем он пришел? Еще уморит, пожалуй!». На вопросы его о времени заболевания, о ходе болезни ответы давали весьма неохотно.

После обхода больных доктор призвал старосту, сказал, что болезнь заразительная, больных нужно отделить, найти квартиру для временной больницы. Приедут эпидемический врач, сестра милосердия, за больными будет правильный уход. Но когда этот вопрос обсуждался на сходе, то крестьяне единогласно постановили: квартиру не нанимать, медицинский персонал не принимать, а уж если Бог спустил горячку — Его воля, доктора тут ни при чем.

Доктор уехал, не добившись ничего. Между тем эпидемия усиливалась, в некоторых домах лежала уже вся семья поголовно; здоровые из соседних домов ходили к больным иногда без всякой надобности, просто «попроветать», заражались и переносили болезнь в свои дома. Меня приглашали к вновь заболевшим, но что я могла сделать с широко развившейся эпидемией? Кроме

советов об уходе — ничего. Но от посещения больных все-таки ни разу не отказалась, хотя мучило сомнение, ведь сыпной тиф — не брюшной, передается и через воздух, не занесу ли я его в школу? И, как на грех, у меня два ученика заболели тифом.

Через некоторое время приехал доктор, но не один, вместе с ним приехали полицейский пристав и исправник. Они решили настоять на изолировании больных и этим прекратить дальнейшее развитие эпидемии.

На сходе поднялся настоящий бунт:

— Ни за что, никого нам не надо! Больных не дадим: всех уморят доктора. «Христову горячку» не остановишь, уж если кому Бог велит умереть — докторам не помочь.

Бунтовали и шумели так сильно, что пришлось исправнику некоторых главарей посадить под арест. Несмотря ни на какие меры — ни на увещания, ни на строгость, ни на разъяснения, как опасна зараза, — полиции и доктору не удалось убедить их в пользе правильного лечения и изоляции. Так они и уехали, не добившись ничего, кроме озлобления крестьян против... меня.

Выпущенные из-под ареста мужики очень были обижены своим наказанием, ведь им пришлось за «мир» посидеть. Обсуждая свое заключение на сходе, они решили, что во всем этом я виновата.

— Ребята, учительнице не хочется самой ходить к больным, так она и вызывает докторов и фершалов, чтобы самой дома сидеть.

— А ведь и правда, ребята, если б не она — начальство никогда не узнало бы, что у нас горячка, не наехало бы. Похворали, похворали бы, кому Бог привел — выздоровели или умерли, Его воля. Она, она виновата.

Много неприятных вещей наговорили обо мне по поводу моего участия в эпидемии. Пришли к тому заключению, что мне «самой лень ходить», так и выпи-сываю докторов. Такой отзыв не порадовал меня, тем более что я всегда охотно шла к больным, посещение их меня не тяготило нисколько. И вот они это мое добровольное участие приняли уже как бы за обязанность. Если приедет доктор, приступит к исполнению своих прямых обязанностей — значит, он меня заменяет...

Больно было это очень. «Ну, — думаю, — за что они вооружились против меня? Вот, первую мысль о моей виновности подал И. С., а давно ли я сидела почти целую ночь у постели его сына, следя за кризисом и делая все, что нужно, чтобы поддержать его слабеющее сердце? Сын его уже поправляется, а он так «отблагодарил» меня, что мне никогда не забыть. К каждому больному из его семейства я всегда охотно шла, и они ко мне обращались даже чаще других. Тогда зачем же они идут ко мне?»

А эпидемия из Кантышки перешла уже в другие деревни, приняла угрожающие размеры. Временно при-слали на всю волость ротного фельдшера, он ездил по деревням и лишь регистрировал вновь заболевших, доносил о них врачу. Врач же приезжал всего два раза в месяц, потому что бороться на месте с эпидемией без изоляции невозможно.

Только к весне эпидемия понемногу стала спадать. Боль, нанесенная по поводу ее, у меня не проходила. Даже явилась мысль — окончательно уничтожить аптечку, прекратить прием больных, коих приходилось принимать не очень большое количество — человек 70 в месяц, не более. Но это решение не пришлось исполнить: не могла отказать, когда обращались ко мне или просили навестить их.

Особенно много пришлось ходить в эпидемию скарлатины, через год после тифа: тут болели дети, многие из моих учеников, их братья, сестренки.

Одним из первых пригласил меня И. С., который на сходе поднимал бунт против меня. У него сразу заболело трое детей, я каждый день ходила к ним, делала смазывание, ванны. К детям я относилась внимательно, любовно, но с хозяином дома не могла говорить. Сделаю что нужно, дам указания матери, а его упорно не замечаю, хотя он всегда стоял у кровати своих детей, смотрел, что я делаю, а при уходе благодарил меня и говорил:

— Не брось, завтра приди еще, дай тебе Бог здоровья!

XVIII

Год от года увядали мои силы и здоровье. Непосильная борьба с обстоятельствами мало-помалу подтачивала меня. В «хорошей» школе много было больных вопросов, решить которые не было сил. Например, «дровяной» вопрос, — в сущности, пустяковый, но он один сколько волнений приносил!

Здание у школы большое, при наших сибирских морозах нужно топить хорошо, но часто мы сидели без единого полена дров. Сожжем утром последние дрова, назавтра нет нисколько. После занятий ребята берут салазки, идут к «добрым людям» просить на истопку. Где дадут, где прогонят, но в результате все-таки дня на два дров притащат.

В воскресные дни я не раз ездила с ребятами за валежником. Соберем, что по силам, привезем, тут же ребята распилят, наколют — иногда таким образом

целую сажень дров наготовим. Но ездить за валежником можно только осенью, когда снег еще не укрыл землю.

Пойду к попечителю* — часто его дома не застанешь, а когда и дома, он помочь не в силах. Дрова для школы должны привезти Иван или Степан, но у них самих бабы изгороди возле дома рубят, а Иван со Степаном пьянствуют. Бьемся, бьемся, топим экономно, мы со сторожихой кладем в печь поленья по счету, а в результате — в холодные дни ученики сидят в классе в шубенках, чернила замерзают, и в перемену дети, как тараканы, около печи греются.

Кто этого не испытал, тот не поймет, какое большое лишение — сидеть без дров. Это тот же голод. Ничему я так не завидовала, как дровам. Иду мимо какого-нибудь хозяйственного мужика, у его двора — поленница дров, и думаю: «Вот бы у моей школы столько дров было!»

Дровяную нашу нужду батюшка отлично знал, при каждом посещении школы говорил попечителю, что нужно школу основательно обеспечить. Попечитель подобострастно отвечал:

— Да надо, батюшка, знаю, что надо, я вот ужю на сходке поговорю, нельзя же без дров сидеть. Похлопочу, батюшка, будь покоен, не заботься, улажу всё.

Батюшка скажет и уедет, а попечитель займется своими делами, благо — он первый богач в деревне. То у него лесные подряды, то дровяные, то ездит покупает пушнину. Он и на сход-то редко являлся...

Я поеду в село к о. заведующему, упомяну между прочим, что дров опять нет, а батюшка скажет, что

* Попечитель (школьный) — выборный представитель крестьянского общества, который совместно с сельским старостой обязан был организовать необходимую местной школе и учителю помощь, в том числе по найму учебного помещения, его отоплению, охране и ремонту.

нужно требовать у попечителя школы. Я в конце концов стала совсем замалчивать этот вопрос, который стал «сказкой про белого бычка». Ведь все равно: я буду жаловаться батюшке, батюшка говорить или писать попечителю, но от этого дело не улучшится. Попечитель скажет очередному мужику, тот привезет воз с дровами, мы его сожжем, — и опять начинай сначала.

К довершению всего, я была очень одинока. Глушь, дальность расстояний, неудобства дороги... Казалось, живешь заброшенная, всеми забытая. Товарищей ближе тридцати верст нет, каждая поездка к ним обходится рубля в два, бывает сопряжена с массой неудобств, да и времени свободного не находится. Так и жила одиноко. Изредка ездила к о. заведующему — раз, иногда два раза в месяц, когда удобная дорога, а временами и два месяца никуда не выглядываю. В семье батюшки я все-таки немного отдыхала душой: поведаю свои горести, а если есть, то и радости, наберу книг из их сравнительно богатой библиотеки. Они никогда в книгах мне не отказывали, за что им сердечное спасибо. Вовсе плохо было бы, если бы лишена была этой духовной пицци.

Мои обязанности стали меня утомлять, в некоторые воскресные дни прямо-таки не было силы (не физической, конечно) проводить чтения. Сажу одиноко в своей квартире, зябну и думаю безотрадную думу:

«К чему все это? Много ли пользы я принесла своими занятиями и чтениями? Проводила противоалкогольные чтения, туманные картины показывала о том, как портит алкоголь внутренние органы... Вот и лавку винную в деревне прикрыли, а разве пьянство в деревне уменьшилось? Не больше ли вреда приносит шинкарство? — только вино вздорожало. Недавно в пьянстве мужика убили. Нет, это только в книгах хорошо пишут:

борьба с пьянством, школа отучит вино пить... Как же! Вот я боролась, как умела, а в результате сама сделалась инвалидом, все потеряла. А мужики сходят в часовню, придут на чтения, послушают меня внимательно, потом вернутся домой, соберутся человека два-три — и пошло! Бутылка, другая... При каждом удобном случае пьют, рукавицами без вина не сменяются. Нет, бессильна я бороться с окружающим злом! Не мои слабые силы тут нужны, а железная, несокрушимая воля, на которую не произведут никакого действия удары судьбы, которая не преклонится и не сломится. А я что? Первые же слабые бури пригнули меня к земле, и опустила я руки в борьбе».

Раньше с детьми я занималась очень спокойно, дисциплина устанавливалась сама собой, без всяких усилий с моей стороны. Если я когда и волновалась, то при учениках сдерживалась, а теперь стала раздражительной. Дисциплина вследствие моего раздражения стала падать, а при плохой дисциплине невозможны хорошие успехи. Занятия мои из захватывающего, радостного, яркого дела превратились в какую-то обезжизненную механическую «учебу». Я все это понимала, чувствовала, но никак не могла исправить дело, от этого еще сильнее раздражалась и все портила.

Вот мрачная страничка из моего дневника того времени:

«Кончена жизнь. Это я ясно вижу и сознаю. Где прежняя энергия, сила воли, дорогие мечты о полезной деятельности? Во мне ли жизнь не была ключом? А теперь — все погибло, умерло. Прожила лучшие свои годы, не достигнув ни одной мечты, сбилась с пути и растеряла свои идеалы. Я, как живой мертвец, стою над своей собственной могилой, где похоронена

радость бытия. Не спастись мне от этого медленного умирания, не вырваться из когтей апатии, захватившей меня. Сознание духовной смерти мучит меня. Легче бы было, если бы за мною, как призрак, не стояла я прежняя, какую была совсем недавно. Даже оплакивать это дорогое прошлое нет сил, только вспышки, проблески, во время которых я рву и мечу в бесплодном усилии подняться».

Наконец я пришла к выводу, что, как это ни больно, но я должна оставить школу и службу, уйти, уступить место более сильным и энергичным. Школа — не богадельня и не приют. Прослужила 14 лет, сделалась инвалидом...

Дорогу молодым, свежим силам!

XIX

Казалось, все во мне пропало в неравной борьбе, умерло, погибло. Но меня воскресили, вызвали к жизни.

В самое трудное время вдруг получаю из Сосновки приговор сельского общества: на сходе единогласно постановили ходатайствовать об открытии в деревне церковно-приходской школы и просят, чтобы я убедила начальство назначить меня к ним учительницей. Под приговором подписалось много моих бывших учеников — теперь уже взрослых, самостоятельных хозяев. К приговору они приложили свое частное письмо, где настойчиво просили приехать к ним и «быть наставницей наших детей».

Ни с чем не сравнима была моя радость, когда я получила эти послания. В тот же вечер поехала я в Сосновку, пришла на сход. Встретили меня, как родную:

— Уж вы к нам переезжайте, ждем вас. Школу-то мы хотим непременно церковную. Нам предлагали министерскую открыть, денег много обещали, да нам надо церковную — хотя бы небольшую, но чтобы в праздник было куда выйти, чтение послушать, да в часовню чтобы наши ребята ходили.

Меня чрезвычайно обрадовали такие слова. Несмотря на все те гонения, упреки, что сыплются на церковную школу, наш народ любит ее больше других типов школ. Ближе она ему, роднее, дороже. Это факт, спорить против которого бесполезно. Ведь бедны наши мужики, и пособие, отпускаемое на министерскую школу, было бы им нелишним, но вот — хоть бедную, убогую, да подай им именно церковную школу! Значит, ближе она их уму и сердцу.

Такое отношение обрадовало не одну меня, порадовался и о. Иоанн. Переговорив с крестьянами, батюшка усердно взялся за хлопоты об открытии школы в Сосновке. Для этого он явился лично в местное уездное отделение, представил приговор крестьян и мое прошение, в особом докладе сообщил об усиленном желании крестьян открыть именно церковную школу.

Пока шла переписка (очень недолгая) об открытии школы, я жила надеждою перебраться в мою любимую Сосновку, к дорогим ученикам. Пятого сентября получила бумагу о назначении меня туда учительницей, а на следующий день уже перебралась на старое, столь дорогое место. И сразу же ожила, встрепенулась, обновилась духом. Прежняя апатия, неудовлетворенность своей работой слетели с меня, как какая-то болезнь с души, и самочувствие стало совсем иным.

Наняли квартиру у дедушки Спиридона — Яков Андреевич свой дом продал. Но и это были славные,

добрые старики. С какой радостью и любовью я прибирала школу! Прежние мои ученики не выходили от меня, помогая устраиваться. В первое же воскресенье пошла в часовню. Как изменилось все за эти годы! Сад так разросся, что часовня едва виднелась из-за деревьев. Крышу сделали железную, куполом, окрасили зеленой краской, стены снаружи тоже выкрасили заново. И внутри: потолок, стены, пол — все выкрашено.

Днем сделала чтение. Больно уж хотелось мне скорее встретиться со старыми приятелями и приятельницами, посещавшими раньше мои чтения. Но многих я не встретила и не встречу больше.

Нет моей дорогой бабушки Елены, друга моей юности. Пока я раньше жила в Сосновке, она почти каждый вечер приходила ко мне, терпеливо выслушивала мои рассказы из жизни «дома», многое сама мне поведала из своей вдовьей жизни, полной горести, нужды и печали с малыми ребятами. Приедет ли наблюдатель в школу, сойдет ли хорошо ревизия, я скорее бегу через овраг к бабушке Елене и, задыхаясь, спешу ей об этом сообщить. Крестится старушка, радуется со мной:

— Бог это тебе помогает, милая, за сиротство твое; да ведь ты и стараешься с ребятами.

Когда бывали экзамены в школе, еще с вечера сбегаю к ней:

— Бабушка, ты приди на экзамены, послушай, как ребята мои отвечать станут.

— Приду, приду, ко двери в комнате сяду — все услышу, охота ведь и самой послушать.

Заболею я — бабушка Елена первая около меня. И вот — нет ее, умерла она, как умер и дедушка Павел. Он первый встретил меня, когда я приехала в Сосновку, — давно, в первый раз. С ним мы встречали и первую

Пасху в часовне. Да, много моих близких ушло в другой мир, и поднялось на ноги уже другое поколение.

XX

Двадцатое сентября я назначила днем приема учеников. Гадала: сколько их придет ко мне? В первый мой приезд сюда пришло четыре человека. Не наберется ли в этот раз человек тридцать? Ведь это счастье! Но в школу ко мне постушило не тридцать, а 56 человек! Детей же школьного возраста в деревне — 63 человека. Значит, не пришло всего семь человек девочек, коих оставили нянчиться с малыми ребятами, а мальчики все пришли! Невольно приходят на ум знаменитые слова: «А все-таки она движется!» В этой же деревне не так уж давно на школу смотрели враждебно, недоверчиво. Сколько труда нужно было положить, чтобы заманить детей в школу, а теперь — полно. Все идут учиться, все стремятся к свету.

Сколько знакомых лиц встретила я среди своих новых учеников! Вот пришла записываться шустрая черноглазая девочка, бойко заявляет:

— Запиши меня, мне непременно надо выучиться, крестному Василью письма буду писать. Он теперь в солдатах служит, а мне учиться велел.

Безо всяких объяснений я вспомнила «крестного Василья» — черноглазого, умньего. Он у меня учился и окончил курс. Почему-то врезалась в память одна сцена: Вася в перемену стоит перед картиной Семенова «Зима», показывает мне, как там надрубленное дерево тянут к земле: «Смотрите, что здесь нарисовано: “Старую сосну сперва надрубали, после арканом ее нагибали”, — вот ее нагибают арканом».

Входит мальчик — вылитый Киприан. Сразу узнала, что это его брат, только имя забыла, чуть «Кипрюшей» не назвала.

— Ты Бадин?

— Да.

— Как звать?

— Иваном.

Вспомнила я и Ваню этого, — его крошечным приводил с собой в школу Киприан.

Приходили и незнакомые, те, которые родились без меня. Вошел очень застенчивый мальчик с узенькими черными глазенками, все прячется за спины товарищей, а сам поглядывает на меня. Позвала его к себе, спрашиваю:

— Учиться пришел?

— Учиться, — отвечает он, краснея, и опускает голову.

— Как тебя звать?

— Авраам.

— Ты чей?

— Тетки Акулины сын буду.

— А отца как звать?

— Елеазар.

«Подожди, — думаю я. — Ты же в некотором роде мне «внуком» приходишься! Ведь ты сын тех Акулины и Елеазара, которые учились у меня по настоянию о. Димитрия перед своей свадьбой. Обещал тогда Елеазар отдать будущих детей в школу и не обманул, послал сынишку, а ведь у них во всей родне нет никого грамотных, и школу не любили. Значит, урок воздействовал!»

Письменные принадлежности и другие учебные пособия еще не были высланы, и меня снабдила всем

необходимым для начала занятий учительница соседней министерской школы. Парт было всего шесть, четырехместных. Пришлось садить на них человек по семь-восемь. А остальные устраивались прямо на полу, на ящиках из-под табака, на скамейках. Стены класса убрали вензелями, гирляндами из хвои, цветами из бумаги.

Молебен был назначен на 27 сентября, а занятия пришлось начать гораздо раньше молебна. В первое утро, когда собрались мои ученики, выяснилось, что никто из них не знает ни одной молитвы. После беседы о том, что каждое дело нужно начинать молитвою Творцу, ученики хором прочитали за мной молитву Святому Духу. С глубоким чувством беспредельной радости приступила я к любимому делу в столь желанной для меня школе. Апатии и уныния как не бывало.

Утром следующего дня один из учеников, Егор, принес в класс скамейку — хорошенькую, новенькую. Торжественно поставил ее к стене, сам веселый такой, и сообщает:

— Сам вчера сделал, не на полу же сидеть! Можно Семену со мной рядом?

— Конечно, можно!

— Слава Богу, что у нас школе и плотник-то свой есть! — лукаво замечает бойкий Ваня.

А крошка Никанор устроился еще удобнее: в углу лежало много пихты (она осталась от уборки школы), и он преспокойно уселся на грудку темно-зеленой хвои, — как живой цветок в своей розовой рубашке, с желтенькими волосами и чудными синими глазами. Сидит и самым серьезным образом слушает урок.

Настал торжественный день молебна, к которому пришли попечитель школы, староста, некоторые из родителей учеников. Дети были настроены торжест-

венно и радостно, все нарядные, чистенькие, гладко причесанные. Они то и дело смотрели в окно, нетерпеливо ожидая приезда батюшки.

Дождались.

Перед началом молебна батюшка сказал следующую речь:

— Слава Богу за всё! Слава Богу, школа в Сосновке открыта, и вы, дорогие дети, имеете возможность учиться, имеете возможность образовать свой ум и сердце, направить волю на дела добрые и хорошие. Слава Богу, чаяния ваших родителей и ваши, дети, исполнились, и вы можете в душе своей возжечь свет учения и с большей уверенностью, большим пониманием относиться к окружающим явлениям. А это ныне крайне необходимо, когда настало время лукавое, поражающее разнообразием явлений и фактов таких, каких не знали в старину. И, чтобы разобраться в них, чтобы узнать, что есть добро, а что зло, нужен хотя бы маленький светоч, каковой вам и даст школа.

Для вас, дети, обучение в школе необходимо еще и потому, что недалеко отсюда пройдет железная дорога, которая привезет на своих паровозах не только красоту и пользу, но и много такого, что с виду хорошо для жизни и для глаз, что «красно есть» (таким показался прародительнице нашей Еве плод яблока с запрещенного дерева), но что таит в себе погибель нашей душе, нашему телу, уму и сердцу. Помните, что внешне благовидное яблоко погубило первых людей, Адама и Еву, и лишило их райского блаженства.

Но благодарю Бога, направляющего все к лучшему и давшему вам возможность учиться. Будем, дети, посещать школу как можно исправнее; пусть езда по сено, рубка дров и тому подобные хозяйственные занятия не

отвлекают вас от занятий в школе. Исправное посещение школьных уроков крайне необходимо, весьма важно для вашей же пользы. Только при соблюдении этого условия вы будете иметь возможность основательно изучить те предметы, знание которых необходимо вам в жизни. Пред вами открывается свет, дорожите им, любите его, идите к нему, учитесь охотно и прилежно. При всяких затруднениях обращайтесь к своим наставникам, они охотно помогут вам.

Прежде всего и чаще всего обращайтесь за помощью к Господу нашему Иисусу Христу. Как бы мы ни старались, сколько бы мы ни трудились, успехи в наших делах зависят главным образом от помощи Божией. Вознесем же горячие, усердные молитвы к Господу, чтобы Он, Милосердный, дал вам — премудрости к уразумению преподаваемого вам учения, наставникам вашим — здравие и терпение, а всем тем, кто будет заботиться о процветании школы вашей и содействовать ее успехам — многие лета. Аминь.

Никакими словами не передать то душевное состояние, какое переживала я во время молебна. Чистая, святая радость, ничем не омраченная, охватывала меня, когда я смотрела на своих учеников и учениц. Их так много, так они усердно молятся вместе со своими родителями о ниспослании нам света и истины!

XXI

Отглядываясь на прошлое, когда все пережито и я в тихой пристани, ясно сознаю, что именно было причиной упадка во мне веры и энергии.

Причиной, самой главной и основной, была не борьба с нуждами, не лишения, не «дровяной» воп-

рос, не холод в школе, не одиночество и глушь, — это все второстепенное. Я и раньше такое переживала, но переносила все легко и даже незаметно. Причина была в ином — я не смогла простить зло, сделанное мне, не смогла покрыть его любовью. Ходила я к больным, и за это меня больно оскорбили, а я озлобилась на крестьян, отравила себе жизнь этой злобой. Не поняла того, что они потому так поступили, что их понятия таковы, веками окружавшая их темнота сделала их таковыми, и моя прямая обязанность была не озлобляться, а стараться дать моим обидчикам свет.

Не сумела простить старосте его грубого вымогательства и вмешательства в школьную жизнь. Но ведь и его вмешательство объясняется лишь темнотой, непониманием и взглядом на вещи с его точки зрения, а не с моей. Будь он просвещенным человеком — все было бы не так. А мне-то непростительно, стыдно было так считаться с ним. Ведь я едва удержалась, чтобы не заявить куда следует для составления протокола на старосту за нарушение в классе порядка во время занятий. Хороша бы я была — учительница, на словах внушающая ученикам великую заповедь всепрощения, а на деле составляющая протокол за оскорбление. А если бы старосту увезли в город под арест (а это обязательно было бы), да еще в страдную пору, а он единственный работник в семье, у него дети малые, жена с ними...

Да, многого я не смогла понять и простить, и любовь ослабла.

А на деле оказалось, что кантышовцы гораздо лучше относились ко мне, чем я к ним. Я убедилась в этом, когда уезжала. Они пришли провожать меня и так искренне жалели, особенно ребята, — многие плакали.

А маленький Саша, болезненный мальчик, мой ученик и пациент почти с колыбели, так разревелся, провожая меня, что успокоился лишь тогда, когда я взяла его с собой в Сосновку, где он прожил у меня больше месяца. Но и после этого он долго еще скучал, и мать еще не раз привозила его ко мне в гости.

Увидела такое отношение ко мне кантыповцев, и мне стало стыдно за то, что я в последнее время так мало любила их, так мало делала для них, а они все-таки привязались ко мне. Следовательно, они сердцем и душой несравненно лучше меня, а я не понимала этого, придя от мелочей в отчаяние.

Никогда не бывает плохих последствий от сделанного кому-нибудь добра. Даже против зла нужно стараться делать добро. Всегда добро, всем добро, а озлобление совсем искоренить из сердца. И легка тогда будет жизнь, и радостна. А как допустишь в сердце зло — заберется оно туда, разрастется, как крапивное семя, совсем одолеет, и жизнь будет отравлена.

Всегда нужно помнить, что ты кому-нибудь нужен и недаром живешь на свете; помня это, нужно пользоваться каждым случаем, где можешь принести хотя бы маленькую пользу. Никогда не пропадет доброе семя, посеянное в народе, но плодов рук наших мы не увидим, потому что культурное дело скачками не делается. Пройдет целый век, пока семя взойдет, принесет плод. Может быть, несколько поколений сменится, когда явится результат нашей общей работы, нужно лишь с верой делать свое маленькое дело, думать, что я лишь ниву расчищаю от сора и терний, а другие будут сеять, плоды собирать... Я не безучастный зритель в этой великой работе, и довольна тем, что на мою долю досталось самое трудное. Те, кто придут на мою ниву

после меня, уже не столкнутся с тем, что я пережила, и их свежих сил при лучших условиях хватит на более долгий срок.

После всего пережитого я пришла к заключению, что нужно делать свое дело, идти к однажды намеченной цели, не анализируя все детали, а крепко, даже скажу — слепо, верить, и результат когда-нибудь да скажется. Нет, не нужно терять веру в дело учительства, веру в школу. Как бы мало мы ни делали — это все-таки не бесполезно. Помяловский справедливо сказал, что, если выучишь грамоте одного человека, то выучишь целое поколение: грамотный отец не допустит, чтобы у него был неграмотный сын. Почва перед нами, лишь бы только Бог помог нам снять семена добрые и здоровые. Молодые души быстро воспринимают посеянное, и дай Бог, чтобы выросли они добрыми плодами на пользу себе и родной стране...

XXII

Вот уже третий год, как школа в Сосновке вновь открыта, она полна детей. Во второй год ее существования было 67 учеников, в третий — 63. Я немного боялась, что с тремя группами при таком количестве учеников мне трудно будет справиться, но опасения эти оказались напрасными. Сжилась с детьми, они приносят мне много светлых минут.

В заключение привожу сочинение одного ученика, Георгия Корякина, написанное им еще в первый год обучения, на самостоятельных работах в марте. Мне хотелось узнать впечатление учеников от школы, и я дала им такую тему. Вот целиком написанное им, с исправлением лишь ошибок.

«Наше учение.

Мы пришли перво-наперво в школу — не знали ничего и сильно боялись И. К-ны. Начали учиться — не было бумаги, ручек, ничего. Потом стали учиться и учиться, узнали про Иисуса Христа, молитвы, праздники, буквы. Потом нам привезли бумагу, книжки. Мы стали затаскивать классную доску, И. К. нам помогала. Стали писать: на доске напишут, потом мы. Дали нам тетрадки, и усядемся, как путные писаря: кто на пол, кто к окошку, я на свою скамеечку к ящичку, а ручек-то у нас и не хватает. Побежим в ограду искать прутиков, найдем какие-нибудь, привяжем перышки нитками — станем писать, а перышко-то в чернильницу и упадет. Теперь мы пишем и читаем, пишем расписки и письма, мало-мало все-таки стараемся. Начинали мы учиться с радостью, всю зиму с радостью ходили. Теперь у нас в школе весело, научились читать; что надо, то и прочитаем. Я люблю читать книжки больше всего про жаркие страны, а наш Илья — тот все бы жития святых читал. А Семен часто плачет: начнет что просить, если ему не станут давать — он за слезы, его пожалеют и дадут. Однако нежный он будет. Георгий Корякин».

Воспоминания мои окончены. Пред духовными очами прошла вереница лиц, бывших моих учеников. Дорогие, бесконечно дорогие лица! Как много их, моих птенцов, находится в настоящее время на поле брани, защищают свою Родину. Многих уже нет в живых, погибли в боях. Оставшиеся в живых шлют мне такие славные письма, благодарят меня. Говорят, что лишь теперь они вполне поняли и оценили, что ученье — свет...

В памяти рисуется одна, давно виденная мною картина: зимней темной ночью, в непогоду, я ехала по длинной улице села. В конце улицы стоит школа. Везде темным-темно, все спит, метель бушует кругом, а в окнах школы, как маяк среди мрака, светится слабый огонек и приветливо манит к себе.

Тускло огонек горел, но он — «во тьме светил». Идет время, и близко уже, когда наши слабые, едва просвечивающие в темноте народной, огоньки разгорятся в яркие костры, которые согреют окружающих, разгонят непроглядную тьму нашей глухой деревни... А этих маленьких огоньков кругом вспыхивает все больше и больше; постепенно, но упорно завоевывают они себе право на существование, начинают «во тьме светить».

Вспоминаю я огонек в моем школьном окне и говорю:

— Слава Богу за всё!

1915 год, ноябрь



С.В. Чернышев

В те времена...

 неизвестных мне времен родословная семейства Чернышевых происходит из крестьян Вятской губернии, Елабужского уезда, Козыльской волости, деревни Яковлево.

Уже на моей памяти главой нашей семьи был дед Денис. В самотканых штанах и лаптях ходил он за деревянной сохой, ковырял небольшой клочок своей земли, которая давала скудные урожаи, поэтому, чтобы прожить, нужно было искать побочный промысел. Как только наступала зима, дед Денис на паре лошадей отправлялся в путь. Он занимался извозом и перевозил грузы из купеческого города Елабуги. Но и этого едва хватало, чтобы прокормить до весны семью и двух лошадей.

Дед Денис был выше среднего роста, немного сутулый, имел чуть горбатый нос, смолоду носил усы и большую русую бороду. Темно-русые волосы стриг «под горшок». Выражение лица у него всегда было веселым и привлекательным. Как хорошего и трудолюбивого чело-

века, его все уважали, не только в семье, но и в деревне. Говорили, что в молодости в деда Дениса была влюблена какая-то купеческая дочка, но свадьба не сладилась из-за того, что родители были против. А женили его в ранней молодости на нелюбимой девушке — Аксинье Егоровне. После бабушка Аксинья не раз рассказывала, как холодно относился к ней дед Денис в первый год совместной жизни. В постели он постоянно отворачивался от нее и вздыхал, тогда бабушка Аксинья перелезала через него — он опять отворачивался, а она опять перелезала. И так по нескольку раз за ночь. В конце концов дед Денис сдался, полюбил свою Аксинью, и они в большой дружбе прожили всю свою жизнь.

Бабушка Аксинья была маленькая, смугленькая, ростом по плечо деду Денису, во всем ласковая и симпатичная старушка. Как и деда Дениса, ее в семье все любили. Она была сообразительная и хорошая хозяйка, большая мастерица прясть и ткать холсты. Мастерски умела рассказывать сказки, которые мы все любили слушать. Моя мать, Евдокия Федоровна, во всем уступала мастерству бабушки и в семье играла второстепенную роль, хотя тоже была неплохой хозяйкой.

Узнав о том, что в Сибири живут вольно и зажиточно, дед Денис и его сын, мой отец Вавил, решили искать счастья на новом месте. Летом 1890 года, когда в Вятской губернии случился голод, семейство деда Дениса погрузилось на телеги и отправилось в дальний путь. Одновременно с ними тронулись в путь еще двенадцать семей, односельчан из деревни Яковлево. Около двух тысяч верст ехали они на лошадях, и наконец глубокой осенью семья деда Дениса прибыла на жительство в город Кольвань. Состояла в то время наша семья из десяти человек: дед Денис с бабушкой, пять их дочерей,

мой отец и мать, мой брат Иван, который был привезен в Колывань в годовалом возрасте. А я родился в первый год нашего приезда в Сибирь.

изнь на новом месте начиналась нелегко. Почти все, что было запасено, проели за дорогу, а работы в Колывани было мало. Мой отец сразу же уехал на побочные заработки в Ново-Николаевск, где пло строительство железной дороги и моста через Обь. Там он устроился на работу. Взрослые тетки и моя мать занимались перелопачивать и сушить хлеб на ссыпных пунктах купцов Жернакова и Пастухова. Дед Денис продал одну лошаденку и купил веялку. И вот с этой веялкой на оставшейся лошади он ездил по деревням веять хлеб у крестьян. За работу брал зерном.

Вскоре дед Денис завел хороших друзей из крестьян деревень Катково и Крохалево, в особенности он дружил с братьями Кобзевыми. На их землях стал сеять по две-три десятины пшеницы.

Около двух лет семья наша жила на разных квартирах в Колывани, а потом купили свой домик по улице, которая называлась Слободкой.

И так десять лет проживала наша семья в Колывани, а отец Вавил работал на стороне, оторванный от жены и детишек.

Старшие тетки мои, обе Марьи, вскоре после приезда в Колывань были выданы замуж. Старшая Марья (ее в семье называли Марьей-большой) была выдана за Ивана Кузьмича Евсева, человека зажиточного, имевшего мясную торговлю. Иван Кузьмич был человек хороший, но хилый и ходил с костылем, так как его левая нога не разгибалась в коленке. Недолго прожила тетка Марья с Иваном, но успела нарожать пятерых

детей — сына и четырех дочерей. И, можно сказать, с молодых лет овдовела.

Марью-маленькую, очень похожую на свою мать Аксинью, выдали за колыванца Ивана Григорьевича Санникова. Он в то время служил приказчиком у купца Лапина и занимался преимущественно продажей литовок, постоянно разъезжая по деревням. Затем он перебрался на жительство в Ново-Николаевск, построил там домик, вернее, перевез его из Колывани, и стал заниматься ломовым извозом, имея до пяти хороших лошадей. Потом он долгое время, до конца своей жизни, занимался развозкой вина по винным лавкам г. Ново-Николаевска. Он всегда стремился к богатой жизни, но прожил недолго, потому как страдал сердечными припадками. Сам он работать не мог и поэтому для работы на лошадях нанимал двоих работников. Несмотря на свою болезнь, Санников постоянно бил детей и жену. А с посторонними людьми был очень любезен и вежлив. Часто задавал пиры для сотрудников винзавода, через которых он имел протекцию, как подрядчик по развозке вина.

Никто из сыновей не смел жениться на девушке по своему выбору. Все это было во власти отца и матери, по их выбору женили сыновей и отдавали в замужество дочерей. Эта традиция сохранялась и в семье, возглавляемой дедом Денисом. Я помню, как против воли выдали мою тетку Нюру за Ефима Солдатова, человека тупоумного и большого невежду, который всю свою жизнь «просвещался» за картами в бане Меньшиковых (это уже было в Ново-Николаевске). Как ни плакала и ни отказывалась тетка Нюра, родители настояли, чтобы она пошла за Ефима. Да и свахи сватали: прильнут — не отвяжешься. Такой свахой была Домна Денисьевна Солдатова, которая так расхваливала, что хоть на божницу

его сажай. Как змея, повесили на шею тетке Нюре такого мужа. Много горя хлебнула она за Ефимом Солдатовым. В первые годы замужества он ее бил, издевался над ней и оскорблял, а заступиться за тетку было некому.

Колывань в то время была почти сплошь деревянной, за исключением нескольких каменных зданий да двух красивых церквей, видных издалека. С юго-западной стороны протекала небольшая речка Чаус, а дальше на десятки километров раскинулись луга с многочисленными озерами, поросшими тальником. Здесь колыванцы пасли скот и заготавливали сено.

Через Колывань проходил Московский тракт. До постройки железной дороги он выполнял роль главного пути. По тракту днем и ночью тянулись обозы с разной кладью и специальные повозки с пассажирами и с особо ценным грузом (например, золотом), которые шли с большой скоростью, на перекладных лошадях. В Колывани сильно была развита ямщина.

Часто проходили по тракту арестанты, закованные в кандалы. Для их сопровождения в Колывани содержалась конвойная рота и казарма, где для арестантов делалась остановка.

Сильно была развита в Колывани кустарная промышленность. В больших количествах изготавливались телеги, сани, деревянная посуда, кожаная и валяная обувь, конская сбруя, бороны и многое другое. По существу, Колывань была городом ямщиков и кустарей — людей, как правило, зажиточных. Действовали здесь и большие хлебозаготовительные пункты купцов Жернакова, Пастухова, Беякова и других.

Дни своего детства я помню примерно с четырехлетнего возраста. Помню, как, сидя на печи и слушая сказки бабушки Аксиньи, мы с братом Иваном запрягали тара-

канов, используя вместо вожжей нитки. Но больше всего мы любили ловить щурыт на Чаусе. Целыми днями бродили по воде, выслеживая дремлющих щучек. Ловили их специальными силками, сделанными из конского волоса. Подводишь петельку под щучку, дергаешь — петелька затягивается и щучка вылетает на берег.

Часто к нам заходил солдат из конвойной роты и всякий раз пугал меня, обещая забрать с собой. Я страшно боялся, забивался куда-нибудь в угол или на полати и горько плакал, а взрослые только потешались над моими страхами.

В день коронации царя Николая II, 26 мая 1895 года, мать водила меня на базарную площадь. Там было громадное скопление народа. Кушцы города и начальство бросали в толпу с балкона жернаковского дома бумажные кульки с подарками. Народ кинулся ловить эти кульки, отчего произошел страшный шум и давка.

За десять лет жизни в Кольвани материальное положение нашей семьи не улучшилось. Все тот же старый полустгнивший домишко и одна лошаденка, на которой дед Денис ездил по деревням, развозя дрова и сено. Отец Вавил про нас совсем забыл и не оказывал никакой помощи. Свалил всю семью на шею деда Дениса, а у нас к тому времени появился третий братик — Андрей.

О том, чтобы вернуться в Кольвань, отец и слышать не хотел. Он к тому времени нашел себе должность десятника у кушца Жеголева и почуял более легкую жизнь. Что оставалось делать деду? После долгих колебаний он решил перебираться на жительство в Ново-Николаевск. И вот, в 1900 году дед, продав за бесценок домишко, переехал в Ново-Николаевск, устроившись на первое время на квартиру к родственнику Михаилу Викторовичу Солдатову, а спустя некоторое время купил за 200 рублей

домишко по улице Змеиногорской, № 19, в Закаменской части. Но отец и здесь не стал жить с нами, он жил по станциям железной дороги, в Литвиново и в Лесном разъезде, недалеко от Тайги. Производил заготовку леса и дров для железной дороги от промышленника Жеголева.

К тому времени железная дорога была уже полностью построена и Ново-Николаевск стал быстро развиваться, а Колывань потеряла свое значение и стала увядать. Старый Московский тракт зарастал травой, ямщина прекратила свое существование, а большинство колыванцев в массовом порядке стало переселяться в Ново-Николаевск, где разворачивались бойкая торговля и оживленное строительство.

Граница города по центральной части проходила в то время там, где сейчас улица Октябрьская, а дальше был сосновый бор, в котором кое-где начинали строиться новоселы. Где сейчас оперный театр и Дом Ленина, там были невысыхающие болота, на которых водились кулики. По Закаменской части граница города доходила до Казанской улицы (ныне — 9-го Ноября), но и там, где тянулись жилые кварталы, много было пустырей. В том квартале, где мы поселились, стояло всего пять домов: Станкевича, Белинина, Квашнина, Решина и наш. Справа, в сторону Каменки, от Змеиногорской улицы до оврага, лежал большой пустырь; и, наконец, дальше, за оврагом, стеной стоял сосновый бор. Между городом и деревней Инюшкой было большое незаселенное пространство. А берега речки Каменки сплошь зарастали черемухой и тальником, на самой речке стояли водяные мельницы с красивыми прудами.

В городе развернулось большое строительство: лесопильный завод, казенный сухарный завод, мельницы

Туркина и Лукина, храм Александра Невского. По Оби курсировали пароходы купцов Плотникова, Фуксмана и других, которые доставляли преимущественно рельсы для строительства железной дороги. С верховьев Оби шло много хлеба. Большое количество леса доставлялось сплавом, на плотах.

В нашей семье работа наплась всем. Мать и тетки пошли работать на пристань, а дед Денис кое-как сбился на вторую лошадь, и мы, сделав двухколесные таратайки, нашли себе дело на земляных работах. Копали канавы и выемки на железной дороге, подвалы для жилых домов, канавы для осушки болот. Нас с братом Иваном посадили на таратайке коногонщиками. Кроме этого, мы каждое лето трудились на покосе, заготавливая сено, которого хватало не только для себя, но и на продажу. Дома мы чистили конюшни и хлевы, давали скоту корм, возили воду с реки... Зимой, несмотря ни на какую погоду, дед забирал нас в лес по дрова. Часто отрывал от учебы, поэтому мы кое-как отучились три зимы и дед сказал: «Хватит, попы из вас все равно не выйдут». На этом и закончилось наше образование. Однажды учительница сама пришла к нам и попросила отпустить нас с братом на учебу, но дед не согласился. А отец Вавил как будто совершенно не знал, что у него есть дети, которых надо учить в школе.

Со временем у нас народились еще три брата: Андрей, Дмитрий и Федор. В семье осталась одна тетка Матрена. Как только тетка Матрена стала взрослой девушкой, полюбила она молодца Митю Сулимова и тайно сбежала к нему. Бабушка Аксинья взяла кочергу и пошла искать свою дочку. Пришла к Сулимовым, постучала кочергой по полу, побранила соблазнитееля да и отправилась домой, потому что Матрена сидела в это время в подвале и заливалась слезами.

Но вскоре состоялось примирение. Сулимовых пригласили в гости, как сватов, и хорошо угостили. Но прожили Матрена с Митей недолго и скоро разошлись, потому что Митя связался с другой и бросил Матрену. Он многим девкам нравился за то, что хорошо играл на гармошке и был вожаком среди закаменских ребят-драчунов. Тетка Матрена вернулась жить к отцу и вскоре была выдана замуж за мордвина Кирилла Максимовича Уляпкина, человека одинокого, странствующего по Сибири и не склонного ни к какой оседлости. Кроме пары сильных рук да рабочей блузы, Кирилл Максимович ничего не имел и был на положении настоящего пролетария, работая грузчиком. Не по любви пошла тетка Матрена за Уляпкина, но на этот раз ей повезло. Сначала Кирилл выпивал и куролесил, но в дальнейшем жизнь их вошла в нормальную колею и Уляпкин из босяка-голодранца превратился в хорошего человека: долго работал бракировщиком на лесозаводе, нажил справный домик, временами портняжил.

Таким образом, дед Денис и бабушка Аксинья, выдав дочерей на сторону, остались жить со снохой и внуками.

Мать моя, Евдокия Федоровна, великая труженица, не видела хорошей жизни. Ухаживала за детьми, справляла всю домашнюю работу, а кроме этого нанималась грузчицей на пристань. Не имея швейной машины на руках, шила на всю семью белье и рубахи. И так целыми днями, как заведенная.

А отец Вавил в это время блаженствовал, жил далеко от семьи в свое удовольствие, имел сударок и потихоньку спивался. Но было у него и одно замечательное качество в характере — честность. Будучи на службе у Жеголева, отец мог запросто нажать большое состояние, если бы стал воровать. Но он этого никогда не

делал. Жеголев доверял ему большие суммы, а отец самостоятельно выдавал зарплату рабочим-лесозаготовителям, которых было больше сотни, и возчикам, возившим дрова из леса на станцию. Кроме того, он их всех обеспечивал продовольствием. И ни разу не случилось, чтобы он израсходовал на свои нужды хоть один хозяйский рубль. Забегая немного вперед, расскажу об одном случае. Мы в то время чистили проруби и часто заходили на постоянные дворы, где собирали «прорубное» с приезжавших крестьян. И вот по дороге на постоянный двор отец нашел большую сумму денег. С этими деньгами мы и пришли на постоянный двор, а там сидит крестьянин и горько плачет — он потерял деньги.

Отец его расспросил — какая сумма потеряна, во что деньги были завернуты. И когда крестьянин ему все рассказал, вернул ему деньги. Бедняга был так рад, что не знал, чем отблагодарить отца. Хотел угостить его водкой, но отец отказался, хотя и очень любил выпить.

Жизнь в Ново-Николаевске того времени была беспокойной. Дело в том, что на строительство железной дороги прибыло много пришлого народа, часть которого не отличалась благонравием. Убийства и грабежи совершались очень часто, в городе возникали целые банды. Был даже случай нападения на полицию. Ночью зимой мимо сада ехал конный разъезд полиции. И здесь бандиты сделали засаду. Через дорогу перетянули веревку. И когда лошади наскочили на нее и стали падать, бандиты, одетые во все белое, чтобы их на снегу нельзя было заметить, открыли огонь. В результате конный разъезд был частично разоружен, а бандиты скрылись.

Драки парней на улицах были очень частым явлением. Неизвестно, отчего между ними существовала вражда, но они сходились артелями друг против друга



Новониколаевцы





Новониколаевцы



и дрались, пуская в ход ножи, колья, гири, специально отлитые из свинца перчатки. К дракам парни готовились специально, загодя составляли планы, а результатами таких побоищ были разбитые головы, выхлестнутые зубы, не говоря уже о синяках и царапинах. Иногда, бывало, дело доходило и до смертоубийства. Так закончил свою жизнь в большой драке прославленный забияка Мишка по прозвищу «Полкан». Прозвище это он получил за то, что всегда первым и с яростью кидался на противника.

Однажды небольшая группа колыванских каменщиков проходила по Трактовой улице (сейчас — Большешевистская). У кабака их окружили драчуны во главе с Васькой Сазоновым, который, хоть и не обладал большой силой, но отличался отчаянной храбростью. Положение для колыванских каменщиков создавалось очень опасное, но среди них был человек огромной силы — Семен Карпов. Он и выручил своих товарищей: так ударил кулаком в висок Васю Сазонова, что тот свалился, как сноп, и потерял сознание. Драчуны, видя, что дело поворачивается не в их пользу, больше в драку на каменщиков не полезли, а стали откачивать своего друга Васю Сазонова и кое-как привели его в сознание.

Любопытно, что с тех пор Вася Сазонов никогда больше в уличных драках не участвовал.

Местом настоящего разврата в городе была Инская улица, по которой от речки Каменки тянулись на два квартала дома терпимости. Здесь днем и ночью шел дикий разгул и безудержные кутежи. Случалось, что слабовольные люди оставляли здесь весь свой заработок и зачастую уходили обчищенными наголо.

Но вот в городе появился полицмейстер Висман, глава городской полиции, который стал настоящей грозой для

хулиганов. Это был человек исключительно смелый и богатырского телосложения. Он не раз бывал в схватке с бандитами и часто ездил с перевязанной головой. Висман подобрал себе отряд конной полиции из таких же смельчаков, как он сам, и стал делать облавы на уличных хулиганов, жестоко с ними расправляясь. И если кто побывал в полицейской камере Висмана, тот навсегда зарекался влезать в драки. А в камере происходило следующее: соберут уличных хулиганов, а затем к ним является Висман с большой рубчатой резиной и начинает беспощадно пороть задержанных. Имея невероятную силу, Висман схватывал свою жертву за шиворот и бросал об стенку. Куда только девалась храбрость у драчунов!

Как вихрь, прокатывался по городским улицам Висман на тройке рысаков в сопровождении конных полицейских, а впереди с громким лаем бежала стая лохматых собак. В такие минуты все живое пряталось по дворам.

В результате таких жестких мер грабежи, убийства и уличные разбои резко сократились. Население стало жить спокойнее.

Но сам Висман попал под суд, где его обвиняли в том, что он душил крутыми штрафами купечество за антисанитарное состояние дворов, а деньги присваивал себе, а еще за то, что незаконно выдавал разрешения на содержание публичных домов. Таких обвинений Висману предъявили много, и он был снят с должности полицмейстера.

Мы продолжали жить по пословице деда Дениса: «Бог дает день, Бог дает и пищу». Когда мне исполнилось двенадцать лет, я поступил учеником в сапожную мастерскую нашего соседа Белинина и за короткий срок проявил там неплохие способности: научился хорошо

подшивать валенки, чинить кожаную обувь и даже начал делать затяжку головок новых сапог. Но поработать в этой мастерской мне довелось недолго, я заболел чесоткой, а после выздоровления сюда уже не вернулся.

На зиму нам нашли с братом Иваном новую работу — чистить проруби на Оби. В то время такая чистка прорубей снималась в аренду от городской управы, за что последней требовалось уплачивать денежную сумму, а что сверх того, собранное с населения за «прорубное», — твое. Для этого была установлена такса за пользование водой: по двадцать копеек в месяц со двора, где не имелось скотины; со двора же, где имелась скотина, — несколько больше. С приезжих крестьян взималась разовая плата — по копейке с лошади. Около винзавода было несколько постоянных дворов, куда заезжали крестьяне, занимавшиеся перевозкой вина по деревням; здесь, на постоянных дворах, мы и собирали с них «прорубное».

Участок наш был по всей Закаменке, от железнодорожного моста до винзавода. Проруби делались напротив каждого взвоза: одна — для водопоя скота, одна — для набора чистой воды и одна — для полоскания белья. Таким образом, получалось большое количество прорубей, которые нужно было чистить, начиная с раннего утра и заканчивая поздно вечером.

В свободное от чистки прорубей время мы ходили по дворам и собирали деньги за «прорубное». Не зря гласит старая поговорка, что никого так не ругают, как пастуха да прорубщика. Так и с нами. Всюду слышишь упреки, что проруби плохо чистятся, а денег сегодня нет и хозяина дома тоже нет... В иной двор по нескольку раз зайдешь, пока получишь двадцать копеек. А бывало и так: идешь по дворам собирать деньги, а до тебя там побывал отец Вавил, деньги собрал и пропил.

Две зимы чистили мы с братом проруби, и это была самая неприятная полоса в нашей жизни.

Когда мне исполнилось шестнадцать лет, я уже работал за взрослого: вместе с дедом возил лес, камень, кирпич, хлеб... — хватались за любое дело, лишь бы заработать лишнюю копейку. Но случалось, что стоишь у ворот товарного склада или у лесопильного завода в ожидании найма целый день, а никто не подойдет и не заработаешь ничего. Едешь домой без почину и с горьким осадком на душе.

Шел 1909 год. День стоял жаркий, но очень ветренный. Я вез камень из карьера на стройку. И вдруг небо покрылось тучей, как перед ураганом, а над городом взметнулись огненные языки пламени. Пожар быстро разрастался, и город охватила паника. Со всех мест бежали люди: кто по домам спасать имущество, кто тушить пожар, но тушить уже не было никакой возможности. Огонь и ветер бушевали с такой силой, что в воздухе летели доски, куски дерева и горящие головешки. Пожар прямо на глазах перекидывался с одного квартала на другой.

Меня силком задержали на дороге и нагрузили полный воз вещами, которые принадлежали купцу Полякову, и я их отвез далеко за город. Жалею, что Поляков не сгорел, он мне обещал заплатить, но когда я через пару дней пришел к нему в магазин за деньгами, грубо меня выпроводил и ни копейки не заплатил.

За один день в городе сгорело больше двух десятков кварталов в сторону от нынешнего Красного проспекта до речки Каменки. Пожар начался на Каинской улице и закончился на том месте, где сейчас оперный театр; дальше уже был пустырь. Сгорело очень много имущества и скота, были и людские жертвы.



Степан Вавилович Чернышев



*Тетка Степана Вавиловича
с мужем. Колывань*



*Иван Вавилович Чернышев
(в шляпе, справа) и братья
Лысовы*



*Гридина Анастасия Филипповна
(справа)*



*Тетя Матрена и ее дочь Груня
Уляшкины*



*Иван Филиппович Гридин
с невестой Агафьей*



Солдат Уляшкин



*Иван Филиппович Гридин и его
сестра Анастасия Филипповна
с детьми*

После пожара город быстро стал строиться заново, но теперь уже ставили больше каменных домов с брандмауэрами, которые защищали от огня.

Шли дальше дни нашей трудовой жизни. Мне больше не хотелось работать на лошади, поэтому стал искать другое занятие. И мой товарищ Ваня Соколов сманил меня пойти на пристань грузчиком. Пришлось таскать мешки с пшеницей из трюма баржи на берег на большое расстояние. В конце первого рабочего дня я сел отдохнуть на подтоварник, а когда поднялся, собираясь идти домой, почувствовал, что идти не могу — отнялись ноги. С помощью Вани Соколова кое-как я добрался до дома и на другой день на пристань уже не пошел, потому что ужасно болели ноги.

Спустя некоторое время, по протекции Кирилла Максимовича Уляпкина, я устроился на лесозавод грузчиком-лесоукладчиком и проработал почти год, но и здесь меня постигло несчастье. Шел с тесом, поскользнулся и упал. Левым плечом сильно ударился о мерзлую землю, а доски рухнули на голову. Когда с большим трудом поднялся с земли, почувствовал, что левая рука почти не шевелится. Позже выяснилось, что я сломал левую ключицу. Дошел до приемного покоя лесозавода и там пролежал около двух месяцев, а когда выписался, долго еще не мог работать.

Оправившись от увечья на лесопильном заводе, снова оказался при лошадях. Начал возить вино в село Чулым.

По договору с винзаводом мы должны были обеспечить доставку водки в таком количестве, что винная лавка ни на один день не оставалась без вина. Поэтому приходилось ездить в любое время дня и ночи. В мороз и в пургу не раз приходилось блудить в степи, сбившись с дороги, ночевать в какой-нибудь полевой избушке, а то и под открытым небом.

Первый год мы ездили с братом Иваном, а после того как его взяли на военную службу, стал ездить один на паре лошадей.

Трудно было устоять от соблазна, чтобы не выпить, когда каждый день сидишь на возу с вином, да к тому же вся наша компания, с которой мы ездили, состояла из горьких пьяниц, в дороге частенько не вязавших лыка. Сколько шапок и рукавиц растеряли мои компаньоны в дороге! Иногда кто-нибудь потеряет шапку, потом обмотает голову тряпкой и едет, как татарский мулла.

В дороге я всегда воздерживался от выпивки, поэтому на мою долю чаще всего выпадало ехать впереди обоза, чтобы не сбиться с пути. Не раз мне зимой приходилось спасать своих товарищей от верной смерти. Однажды ночью потерялся пьяный Миша Коробов. Ехали уже обратно в Ново-Николаевск с пустой посудой. Когда обнаружилась «пропажа», я остановил обоз, выпряг свою лошадь и верхом поехал искать Коробова. Проехал верст семь и сначала нашел бичик, затем шапку и, наконец, самого Мишу. Свалившись в канаву, он крепко спал. Едва-едва я его разбудил и кое-как поднял на ноги. Сам он идти не мог, а когда я его садил на лошадь, он с нее падал. Так что пришлось мне его почти всю дорогу тащить на себе.

А скоро случилась новая беда: задавило возом пьяного Васю Платонова. Мы сдали вино в Чулыме, нагрузили возы пустой посудой и готовы уже были тронуться в путь, но хозяин винной лавки Карп Прокопьевич решил угостить всю нашу артель.

Он и раньше не раз проявлял такую щедрость. Более того, почти не возвращал нам замеченный «бой» посуды с вином, которая должна была отправляться на винзавод для обмена по специальной накладной. Такая доброта была для нас большой загадкой, которая разгадалась

значительно позже. Дело в том, что ночью у себя в кладовой Карп Прокопьевич разбавлял водку водой, а затем снова запечатывал бутылки поддельной сургучной печатью. Таким образом он наживал большие деньги и мог от душевной широты угостить возчиков.

Целый день просидели «в гостях», а к ночи решили ехать, несмотря на то, что все уже были сильно пьяные. Я, как самый трезвый, ехал впереди обоза. Верст через пятнадцать остановился, чтобы открыть железнодорожный переезд и вдруг слышу, кричат: Василия нету! Когда подошли к возу, на котором он ехал, то увидели, что из-под саней торчит рукав тулупа. Отвалили воз и обнаружили, что Василий уже мертв. Никто не видел и не слышал, как он свалился в передок и его затянуло под сани. Так он тащился, видимо, очень долго, потому что весь обледенел и его расплющило возом.

Привезли мы Васю в деревню Секты, занесли в избу и накрыли палаткой. Началось следствие; долго к нам придирался местный урядник, которому пришлось делать подношения. В конце концов, нам было разрешено временно похоронить Васю на местном кладбище.

После этого случая мы бросили возить вино в Чулым и занялись развозкой по винным лавкам Ново-Николаевска, где главным подрядчиком был наш зять Иван Григорьевич Санников. Но эта перемена меня несколько не обрадовала. Я чувствовал, что «винный промысел» ни к чему хорошему не приведет, и снова стал искать работу по другой специальности.

В то время у нас на квартире жила семья Лысовых. Отец, два его сына (Иван и Константин) и дочь Шура. Братья были каменщиками и пригласили меня к себе в компаньоны. Я согласился и за одно лето хорошо освоил специальность. Первое время мы строили реальное

училище и работа мне очень понравилась. Подносицей кирпича у меня была Настя Гридина, подруга Шуры Лысовой. Насте еще не было восемнадцати лет, но девушкой она уже была красивой и видной. Сначала у нас возникла симпатия и дружба, а затем — любовь.

Но однажды наша любовь омрачилась. Настя уехала по каким-то делам в Бердск и оттуда прислала мне письмо, писанное рукой ее подруги, не совсем разумного содержания. Она была почти неграмотной и сама писать не могла. Письмо попало в руки брата Федора, и он из озорства прочитал его всей семье. Когда я вечером возвратился с работы, все сидели за ужином. При моем появлении раздался взрыв смеха. Я не понял — в чем дело? А Федор вышел из-за стола и во второй раз начал читать письмо. Я, как ужаленный, выбежал из дома. Вернулся поздно ночью и без ужина лег спать. Очень я обиделся на брата, а встреч с Настей стал избегать. Она не знала причины такого отношения и приходила в отчаяние. Казалось, что получается у нас полный разрыв.

Но тут приходит ко мне подруга Насти, Шура Лысова, и рассказывает мне печальную историю. Сидит, будто бы, Настя на берегу пруда у Петуховой мельницы и горько плачет. А затем насыпала песку в кiset, который собиралась мне подарить, и утопила его. После этого сама хотела броситься в пруд, но ее спасли подруги... На самом деле ничего такого не было, Шура сама придумала эту историю, чтобы возбудить во мне жалость к Насте. Но я поверил. И мне, действительно, стало жалко Настю, я испугался, как бы с ней и на самом деле не приключилась беда. Мои душевные раны зажили, и у нас с Настей наступило полное примирение.

А 18 сентября 1911 года состоялась наша свадьба. Через год у нас появился первенец Митя, но он забо-

лел и умер. Второй сын, Коля, рос здоровым. Дела в нашей семье шли хорошо, материальное положение стало намного лучше. Мы поставили новый дом, и у нас уже было четыре лошади.

Но тут грянула война, и в начале августа 1914 года меня призвали на военную службу, отправили в город Томск и зачислили в 628-ю Томскую пешую дружину...

Как только началась война, в нашей семье сразу же произошли перемены. С первых дней мобилизации дед Денис сдал в казну трех молодых лошадок, получив за них небольшую сумму. Остался у него один рыжий мерин, которого забраковали из-за малого роста. Через полмесяца после моего отъезда на военную службу у нас с Настей родился сын Саня. А через некоторое время на военную службу взяли и брата Андрея. Положение в семье оказалось крайне тяжелым, работать было некому. К тому же на рынке все подорожало. Настя стала получать за меня пособие от казны в одиннадцать рублей, но этого было мало. И пришлось деду Денису под старость лет снова сесть на лошадку, чтобы зарабатывать на содержание семьи. Но и этого на жизнь не хватало. И скоро проели все, что получили от казны за лошадок, а затем проели упряжь, телеги, хомуты, сани и другое имущество. Дед Денис напрягал все силы, чтобы не заморить семью голодом.

Не легче было и мое положение в армии. Когда меня произвели в ефрейторы, я стал получать 92 копейки в месяц и, кроме того, табачные. Что можно было купить на эти деньги? В мирное время на 92 копейки можно было купить две бутылки водки, но теперь все цены были уже другие, и хватало только на табак и на мыло, чтобы

постирать белье. Солдаты тогда пели такую песню: «Три копейки дают в день, куда хошь, туда и день, и на мыло, и на шило, и на то, чтоб вышить было...»

Четвертого сентября 1914 года, как только была сформирована дружина, нас из Томска отправили в Иркутск, где разместили в старых заброшенных бараках, на левом берегу Ангары, недалеко от станции Иннокентьевской. Но мы и этому были рады, поскольку везли нас не в сторону фронта. Долгое время дружина не получала никакого обмундирования, и только в начале ноября нам выдали очень ветхие шинели и френчи из черного сукна с шестнадцатью медными пуговицами и с разрезными хлястиками. Вместо шапок выдали старые фуражки с изношенными башлыками. Обувь же не выдали совсем, и мне пришлось отдать пятьдесят пять копеек своих денег за починку сапог, а еще я купил, тоже за свои деньги, папаху и теплые перчатки. Ружья нам выдали старинного образца, берданы, давно выпедшие из употребления.

Командиром нашей роты назначили капитана из запаса, но вскоре выяснилось, что он не в здравом уме, и его совсем освободили из армии. Вместо него назначили прапорщика Мелешенко. Он был человек жестокого характера, но абсолютный профан в военном деле. Еще более жестоким оказался ефрейтор Дацун. Он придирался к каждой мелочи, подолгу держал роту на вечерней поверке и, проходя вдоль строя, всегда искал причину, чтобы наказать кого-нибудь из солдат.

Такие придирки даром ему не прошли. Однажды, поздно вечером, по дороге в город, солдаты его подкараулили и жестоко избили. С окровавленным лицом и помятыми боками фельдфебель еле добрался до казармы. Виновников избиения разыскать не удалось. Узнав об

этом случае, командир дружины полковник Заинтковский разжаловал Дацуна в младшие унтер-офицеры. После этого и командир роты Мелешенко сразу смягчился.

Двадцать пятого ноября 1914 года нас отправили из Иркутска в Читу, где нашу роту поставили на охрану железнодорожного моста. Наступили жестокие морозы, а мы все еще в сапогах и в фуражках с башлыками; впрочем, я имел свою собственную шапку, которую разрешалось носить. На посту нам давали старые валенки и шубу с оторванными напроочь рукавами, которую мы надевали под шинель в собранном виде, то есть сначала натягивали шубу, а потом рукава.

Среди солдат нашей роты я считался наиболее грамотным, поэтому в декабре 1914 года меня произвели в ефрейторы. С тех пор я уже не стоял на посту, а выполнял обязанности разводящего. А в январе 1915 года меня отправили в 714-ю читинскую дружину для обучения ополченцев, хотя я еще плохо разбирался в военном деле. Через пятнадцать дней я вернулся в свою роту, а в апреле нас перевели в Нерчинск и поставили на охрану знаменитой Нерчинской тюрьмы и гауптвахты.

В тюрьме были уголовники с особо большими сроками, почти все закованные в кандалы. Тюрьма на всю жизнь оставила у меня неизгладимое впечатление. Для прочности она была огорожена двумя оградами. С вышек, на которых стояли наши часовые, можно было наблюдать прогулки арестантов и слышать звон кандалов.

Однажды ночью, во время нашего караула, в тюрьме раздалась тревога, послышались выстрелы часовых. Вся тюремная охрана была поднята на ноги. Наш караул в полном вооружении выбежал во двор. Ночь была темная. Во дворе за первой оградой, где стоял наш караул,

слышался звон цепей. Один солдат нашей охраны до того растерялся, что в левую руку схватил винтовку, а в правую — полено, и побежал с криком: «Арестант, сдавайся!»

Но оказалось, что тревога была ложной. А шум поднялся из-за того, что с привязи сорвалась собака и стала бегать по двору, гремя цепью. Она была до того перепугана, что со страху забилась между клеток кирпича, сложенного у забора, и ее оттуда еле вытащили.

Наступил первый день Пасхи, и вышло как раз наше дежурство. Захотелось нам покушать куличей и сладких пирогов. Выход нашелся сразу же. Занарядили четырех солдат с вещмешками и отправили их в город. Не прошло и двух часов, как они вернулись с полными вещмешками разных пасхальных ватрушек, куличей и пирогов, которых хватило на всю команду и на весь первый день Пасхи.

На второй день Пасхи мы были в карауле на гауптвахте. И захотелось нам выпить чего-нибудь хмельного. А мы знали, что в городе бойко торгуют самогоном, так как водка во время войны была запрещена. Но где конкретно происходит эта торговля, мы не знали. И тут нам предложил свои услуги заключенный на гауптвахте казак, местный житель Нерчинска. Он отбывал небольшой срок наказания за мелкую провинность, и мы решили, что он не убежит.

Собрали деньги и отправили казака в город. Вот теперь, надеялись мы, выпьем. Но время шло, а казака все не было. И тут мы крепко перетрусили. Вот уже видно, что едет командир роты проверять караулы. На наше счастье он сначала проехал в тюрьму, но вот уже из тюрьмы едет к нам, а казака все нет! Мы решили сказать командиру, что арестованного отвели в уборную, которая стояла шагах в ста от гауптвахты. Я пошел и встал возле

уборной на караул. А сам думаю: если командир решит дожидаться арестованного, подниму тревогу и скажу, что казак убежал. Хотя выдумка эта была глупой, ведь за побег арестованного пришлось бы отвечать мне.

И вот за каких-то пять минут до появления командира роты прибежал казак, и мы успели его зачихнуть на гауптвахту. И только закрыли замок, как в помещение входит командир роты, ненавистный нам Мелешенко. Бледный начальник караула дрожащим голосом отдал рапорт: «за время дежурства никаких происшествий не случилось...» Грозу пронесло.

А казак, оказывается, успел побывать у своих родных, выпил, как следует, а нам ничего не принес. Но нам уже и не до выпивки было, мы ведь прекрасно понимали, что за эту проделку могли запросто угодить в арестантские роты.

Между тем служба в Нерчинске подошла к концу. Нас перевели в Читу, где состоялся сбор всей дружины, и отправили на запад.

С дороги я дал телеграмму о дне нашего прибытия в Ново-Николаевск. Почти вся наша дружина состояла из жителей Томской губернии, к которой относился и Ново-Николаевск. И у всех появилось неодолимое желание во что бы то ни стало заехать домой, несмотря на последствия такого рискованного дела. Уже перед Мариинском начался массовый побег солдат по домам. Они на ходу выскакивали из вагонов и скрывались в кустах. Остановить их никто не пытался, и только офицеры пугали за побег страшной карой, но это никого не останавливало. Чем ближе подходил поезд к Ново-Николаевску, тем больше пустели вагоны.

И вот наконец поезд подошел к перрону станции Ново-Николаевск. Командование дружины сразу же

выставило на платформу патруль для задержания беглецов. На вокзале меня ожидала вся семья, кроме бабушки Аксины. Как только я показался в дверях вагона, Настя бросилась ко мне, держа на руках маленького Саню, но я, к ее удивлению, исчез, спрыгнув на противоположную сторону вагона, там меня уже поджидал мой товарищ в штатской одежде. Он набросил на меня свой армяк, а на голову мне надел шапку.

В таком виде я беспрепятственно прошел через перрон на другую сторону вокзала. И с исключительной радостью расцеловался со своей семьей. Затем мы все сели на телегу и покатали домой.

Поезд из Ново-Николаевска ушел почти пустой и в таком виде дошел до Омска, где его поставили в тупик, так как дальше везти было почти некого.

Два дня я гостил дома, находясь под воздействием крепкой браги, а на третий день попрощался с семьей и уехал. Очень тяжелой была новая разлука с семьей, но ехать надо.

К этому времени на вокзале для всех беглецов был подготовлен новый поезд, на котором мы добрались до Омска, а там пересели в «свой» поезд. И двинулись дальше.

В пути нас никто не беспокоил, как будто ничего не случилось. В дороге солдаты рассказывали друг другу, как погостили дома, и гадали: какое будет наказание за самовольную отлучку? Так мы доехали до города Николаева на побережье Черного моря.

Как только сошли с поезда, командир дружины полковник Заинговский построил свою дружину и крепко стал распекать беглецов. В заключение обложил нас матом и дал приказ всех поставить под ружье с полной выкладкой на двенадцать часов. С перерывами через



Первая мировая война. Город Очаков. 20 июля 1915 года



Сестры милосердия



Чернышевы Степан Вавилович и Анастасия Филипповна с детьми

каждые два часа. Но когда мы отстояли четыре часа, командир выстроил дружину еще раз и, еще раз отругав нас, дальнейшую стоянку под ружьем отменил. Вот так легко мы отделались за самовольный побег по домам.

В Николаеве мы стояли два дня, вдоволь накупились в Черном море, затем в пешем порядке отправились в город Очаков, где нас разместили по частным квартирам. В Очакове я получил печальную весть из дома: умерла моя любимая бабушка Аксинья.

Кроме нас в городе стояли другие воинские части, преимущественно из украинцев, совсем непохожие на наших сибиряков. Украинцы были ребятами крупными и высокого роста, белолицые, как «репа», а сибиряки — ростом ниже, но коренастые и смуглые, как монголы, и более отчаянные по характеру.

Однажды украинцы стали подсмеиваться над нашими солдатами и называть их «исусовым войском». Это потому, что мы вместо кокарды на фуражках носили кресты с надписью: «За Веру, Царя и Отечество». Не вынеся обидных насмешек, один из наших солдат снял ремень и крепко отдубасил трех украинцев медной пряжкой, обратив их в бегство. За это наш солдат, как ни странно, не понес никакого наказания, видимо потому, что один бил троих.

Затем нас перевели в Одессу, из Одессы — в немецкую колонию в Мариинск, где мы охраняли виноградники, затем — в город Измаил. В конце декабря я был откомандирован в учебную команду, где три месяца из нас «жали соки» без всякой жалости. После окончания учебной команды я сразу же был произведен в унтер-офицеры и назначен командиром взвода. Дружину нашу к тому времени расформировали, и на ее основе был сформирован 467-й пехотный Кинбурнский полк.

16 июня 1916 года мы были отправлены в Кинбурнский полк.

С этого времени для нас началась война.

До апреля 1917 года я был на передовой, вдоволь наглядывая на кровь и смерть, полной мерой испил горькую чашу судьбы солдата-окопника. Но судьба была благосклонна ко мне, и меня за все это время, несмотря на то, что побывал в самых крутых переделках, даже не ранило. А в апреле 1917 года я получил отпуск сроком на 42 дня для поездки домой.

Рано утром, распрощавшись с товарищами, я пошел в штаб полка, где получил отпускные документы и литер на проезд по железной дороге. И в тот же день вместе с другими солдатами-отпускниками отправился в путь. Поездов прямого сообщения не было, да и вообще пассажирских поездов было мало, поэтому я всю дорогу ехал в товарных вагонах, иногда на открытых платформах, пересаживаясь с одного поезда на другой.

В конце апреля я уже был дома. Семья о моем отпуске ничего не знала, так как у меня не было возможности сообщить, и я явился совершенно неожиданно. Первым меня встретил дед Денис, который что-то делал во дворе. За время нашей разлуки дед сильно сдал и совершенно поседел. Как только я вошел в ворота, он бросился ко мне, обнимал и плакал, как маленький ребенок. Тяжело было деду жить без нас и содержать большую семью. Кроме того, он тяжело переживал смерть бабушки Аксины. Тут же выскочила из избы Настя и повисла у меня на шее. Началась радостная встреча с матерью, с братьями, а к вечеру вся изба была полна родственников.

В тот же день меня отмыли в бане, соскребли с меня грязь и вшей, единственное, что я привез с фронта.

Хорошо было дома, в кругу семьи, но время отпуска истекало. Возвращаться на фронт мне не хотелось, тем более что я чувствовал себя не совсем здоровым. Обратился к военному врачу Полянскому, тот признал у меня острый ревматизм ног и положил в госпиталь. Через месяц меня выписали и дали двухнедельный отпуск, а после этого направили на службу в местную команду воинского начальника Ново-Николаевска, откуда я и был демобилизован в декабре 1917 года. Так я избавился от возвращения на фронт, а может быть, и от смерти.



И жизнь, между тем, шла своим чередом. Советская власть, установившаяся в Ново-Николаевске, просуществовала недолго. 26 мая 1918 года, выйдя утром на улицу, я увидел разъезжающих конных белогвардейцев с белыми повязками на рукавах. План захвата города у них был подготовлен заранее, поэтому, при поддержке чехословаков, они в один момент заняли все основные пункты города: милицию, телеграф, госбанк... Все это было так неожиданно, что руководители городской советской власти даже не успели скрыться.

В это время мой брат Иван был помощником начальника милиции Закаменского района. Белогвардейцы явились к ним и разогнали милицию. Правда, никого не арестовали, видимо, потому, что милиционеры никакого сопротивления не оказывали. Интересно, что многим было предложено служить в милиции и при белых. Брат Иван, боясь ареста, сразу же скрылся, но через некоторое время, узнав, что его не преследуют, вернулся домой.

Я работал в профсоюзе ломовых извозчиков (однолошадников), сначала на лошади, а затем, сдав лошадь брату Андрею, поступил на должность заведующего

хозяйством профсоюза: доставлял фураж для лошадей и разные материалы, необходимые для гужевого транспорта.

В ноябре 1918 года профсоюз ломовых извозчиков был распущен. Одновременно, по приказу Колчака, были распущены и все другие профсоюзы, кроме профсоюза грузчиков, несмотря на то, что этот профсоюз был наиболее революционным. Колчаковцы оставили его по той причине, что без грузчиков им было просто не обойтись. Работали они все время под вооруженной охраной.

Пришлось мне перебиваться разными работами. Зимой ездил с тестем Филиппом Гридиным в Чаны за рыбой, а летом сплавливал лес и дрова с братом Иваном с верховьев Оби. В городе этот лес продавали.

При отступлении колчаковцев в Ново-Николаевск нахлынула масса беженцев. Цены стали запредельными, началась отчаянная спекуляция. Кооператив «Сила», в котором недолго успел поработать брат Иван, развалился, и мы снова стали сплавливать лес из Сузуна и Мерети.

В сентябре 1919 года Колчак объявил мобилизацию среди городского населения. Меня и брата Ивана мобилизовали в колчаковскую армию. Брата Федора призвали еще раньше, а Андрея освободили по инвалидности, и он остался единственным помощником у деда.

Дней десять мы находились с Иваном в военном городке, а затем нас отправили в село Бердское на пополнение стоящего там полка «морских стрелков». Совершенно непонятно — зачем полку было дано такое название, ведь колчаковская армия не соприкасалась ни с какими морями? Видимо, так нравилось адмиралу Колчаку. Чтобы мы хоть немного походили на моряков,

нам выдали нам выдали матросские бушлаты и гимнастерки с откидными воротниками. Только не дали бескозырок.

В Бердске Иван заболел воспалением легких, и у него образовался гнойный плеврит, поэтому его освободили от военной службы. Я тоже все время искал случая, чтобы сбежать из колчаковской армии, но боялся, что от этого пострадает семья. Наконец, представился удобный случай. Полк собирался уходить из Бердска в неизвестном направлении, и я отпросился у командира полка съездить на один день домой. Как раз в Ново-Николаевск были посланы подводы за снаряжением. На этих подводах я и уехал, оставив все вещи в казарме, чтобы не вызывать подозрений.

В полк я уже не вернулся. Но тут подоспела другая беда: я заболел воспалением легких и одновременно сыпным тифом. Живым я остался только благодаря уходу за мной моей Насти. Она упростила знакомого врача Сафонова, у которого жила раньше в прислугах, оказать мне помощь. Сафонов на ее просьбу откликнулся и часто навещал меня, подъезжая к нашему дому на собственных рысаках. За мое лечение он не брал ни копейки.

Положение мое было тяжелым, я ничего не ел, мог только через силу выпить стакан-другой молока. Несколько дней лежал без сознания, и кровь изо рта текла на подушку. Но мой организм справился с тяжелой болезнью, и наступил кризис. Доктор Сафонов сказал, что я выживу. Мало-помалу я стал выздоравливать.

Пока я болел, Ново-Николаевск был занят красными войсками. Несколько десятков тысяч колчаковцев были захвачены в плен. В день отступления из города белые выпустили из винзавода весь спирт и все вино. Хмельное зелье текло по трубам на лед Оби. Люди с ведрами

и кадушками бросились набирать спирт и вино со льда. Дед Денис на лошади привез с речки целую бочку вина и стал угощать красноармейцев, бывших у нас на постое, вместе с ними вдоволь погулял и сам. Никто и подумать не мог, что дни деда Дениса уже сочтены, в январе 1920 года он заболел сыпным тифом и умер.

Страшно вспомнить, как зимой 1919–1920 годов тиф косил людей. В Ново-Николаевске весь гужевой транспорт был мобилизован на вывозку трупов. За Каменкой, от военного городка и до кладбища, на расстоянии километра, были навалены горы трупов. Говорили, что более 50 тысяч человек. Колчаковские солдаты, беженцы, городские жители, которых не смогли похоронить родственники, потому что во многих семьях болели все поголовно. Много трупов лежало в вагонах. Хоронить их не хватало никаких сил, тем более зимой, когда трудно копать землю. Для сжигания трупов приспособили кирпичные заводы, но и это не облегчило положения. Многие трупы лежали до самой весны и уже начинали разлагаться.

Для борьбы с тифом была создана чрезвычайная комиссия — ЧК-тиф. По ее распоряжению все население города было мобилизовано на рытье больших котлованов. В эти котлованы и укладывали трупы.

К лету 1920 года эпидемия тифа прекратилась. Все беженцы разъехались по своим родным местам, и в городе понемногу начала налаживаться жизнь.

Новая жизнь...



В.И. Хомутов

Минувших дней дела и судьбы

Записки жителя старого Бердска

Здесь наши корни

Бердск — богатое сибирское кустарно-крестьянское и купеческое село, уходящее своей историей в глубь столетий. Место, выбранное для поселения на берегу реки Оби, представляло как бы полуостров, окруженный с трех сторон водой, а с четвертой — вековым сосновым бором. Параллельно реке Оби, в четырех верстах от нее, протекает река Бердь. У худой забоки она делает поворот на девяносто градусов и впадает в Обь. Река Бердь на протяжении веков, особенно в весенние паводки, подмывала правый берег, образовывая свое новое русло. На этом пути остались небольшая протока, большие заливные луга и забoka, заросшая кустарником: черной и красной смородиной, черемухой, калиной, боярышником, тальником, а также хмелем и ежевикой.

На левом высоком берегу Берди когда-то был построен острог, а рядом с ним, вверх по течению, село. Село застраивалось добротными рублеными домами. Лес на строительство домов рубился тут же, на своих усадьбах. Улицы в старом Бердске назывались по их расположению и величине: Большая, Средняя и Задняя. Большая улица начиналась от кромки соснового бора и строго по прямой линии, параллельно Оби, тянулась три версты до церкви. Потом она делала поворот уже вдоль Берди и заканчивалась у первого Шаринского моста. За Шаринским мостом начинался Барнаульский тракт, вдоль которого расположилась деревня Шарино. Средняя улица шла параллельно Большой, потом смыкалась с ней в районе здания волостной управы.

На Большой улице в дореволюционное время находилось двухэтажное здание представительства компании «Зингер», где можно было купить швейную машину, предоставлялась рассрочка оплаты сроком на два года. На Большой улице располагалось и «Кредитное товарищество», здесь также в рассрочку всегда можно было приобрести семена злаковых культур и сельскохозяйственные машины.

Пимокатным делом занимались в Бердске многие. Здесь изготавливали даже так называемые боярские валенки из белой шерсти с вышивкой на голенище. Известными мастерами были братья Николай и Яков Барабошкины, Федор Егоров, Никифор Зверев и другие.

Колбасными изделиями занимались Смирновы на Базарной площади. В этом же районе жили специалисты-«кишечники», вырабатывающие кишки для колбас. Любой крестьянин мог привести к кишечнику скотину на забой, мясо потом поступало в колбасную Смирнова, где по заказу делались колбасы любого сорта.

Известным маслоделом в Бердске был крестьянин Сафронов. Высокое, бревенчатое, длиной не менее 20 метров здание маслодельни находилось на высокой гриве, выступающей к Берди. Работала она сезонно: осенью и зимой. Пресс для отжима масла представлял собой листованный кряж диаметром в корне до полутора метров, в длину до десяти метров. Тонким концом-вершиной кряж лежал на мертвой опоре свободно. В комле кряжа было отверстие, через которое проходил деревянный винт диаметром до 25 сантиметров. В головке винта два отверстия — одно над другим под углом, туда вставлялась березовая вага-рычаг для вращения винта. Винт опирался на подпятник, кряж поднимался и опускался, своим весом отжимая масло. Таких прессов в маслобойне было два. Здесь стояла страшная жара от двух печей, на которых поджаривали семена конопли и льна. Все жители Бердска и близлежащих деревень привозили лен и коноплю для переработки на масло.

Слесарная мастерская по ремонту весов находилась на Большой улице, при выходе с Базарной площади в сторону деревни Шарино. Принадлежала она инвалиду Александрову, в мастерской у которого работали молодые парни, выпускники ремесленной школы. При Советской власти слесарная мастерская была преобразована в артель «Большевик». Сначала она изготавливала жестяные изделия, был цех балалаек, женщины-надомницы делали мешковину из конопли и льна. Когда председателем избрали бывшего мастера ремесленной школы Павла Аполлоновича Борткевича, артель стала производить только металлические изделия — дверные и оконные шарниры, цинковые лопаты, хлебобрезные ножи, пимокатные колодки, чайники, сковороды и различную алюминиевую посуду.

Хорошо было развито в Бердске веревочное производство из конопли и льна, из конского волоса делали очень прочные вожжи.

Кожевенное производство было развито на левом берегу реки Берди при впадении ее в Обь. В низине, у протоки, стояли большие чаны с растворами для замачивания кож. Кожы выделывались различного назначения. Сыромятные, к примеру, применялись для изготовления гужей к хомутам, сбруй, кнутов и плетей, пошива простых рабочих сапог и т. д. Выделывались также шкуры телят и жеребят с сохранением шерсти для пошива зимней одежды: дошек, тулупов, брюк. Любой крестьянин имел полное право делать из своих шкур любую кожу, никакой монополии на кожсырье не было.

На Большой улице стояли все большие дома с магазинами известных бердских купцов: Машинского, Калинина, Маштакова, Кушцова, Карташова и других. Неподалеку от волостной управы находилась церковно-приходская школа с четырехлетним обучением. Рядом же с волостной управой, также на Большой улице, на пригорке располагалась «пожарка». Здесь имелась небольшая вышка-каланча, под деревянным навесом стояли три телеги с бочками с водой, была конюшня для лошадей. Пожарная служба, надо сказать, была малоэффективна. И когда случались в Бердске пожары, пожарники приезжали как раз в тот момент, когда уже все сторело.

Жизнь в гороховском поселке

У купцов Гороховых было несколько своих буксирных пароходов для буксировки по реке Обь сухогрузных барж с зерном. Зерно с барж разгружалось, и они, в свою

очередь, загружались мукой. Потом баржи на буксире отправлялись в Обскую губу, где их уже ждали иностранные суда, которые в обмен на зерно предлагали промышленные товары, сельскохозяйственные машины. На обратном пути гороховские баржи заходили под разгрузку в Томск, Кольвань, Ново-Николаевск, Бердск. Швартовались баржи и суда к бердской пристани, которая, как мост, уходила в реку на сто метров. Каждый год, накануне зимы, гороховская пристань разбиралась, а весной, после ледохода, собиралась вновь.

Мешки с зерном выносились из трюмов барж на так называемых «горбушах», которые, как жилеты, надевались на плечи грузчиков. На пристани стояли запряженные лошадьми телеги, мешки укладывались на них, и возчики перевозили зерно в склад для разгрузки. Иногда эту работу выполняли и женщины, которые возили зерно на тачках. Таким же образом производилась загрузка барж мукой, затаренной в мешки. Учет загруженных и выгруженных мешков велся с помощью бирок-палочек. Зерно из склада или мука с мельницы возилась гужевым транспортом. Расстояние от мельницы на Берди до пристани составляло четыре версты. Мельница была четырехэтажная, рубленая из бревен, стояла у плотины, жернова ее приводились в движение с помощью двух водяных турбин. Мельница выпускала муку высшего сорта «нолевку» и «двухнолевку», а также манную крупу. Гороховская мука славилась на всю Россию, и за границей ее хорошо знали. За рубеж муку отправляли в особых мешках — «пудовичках» с фирменным гороховским штемпелем.

Управляющим мельницей был Алексей Васильевич Утемов, крупчатником Е. Д. Щербаков, зерновыми складами заведовал Иван Петрович Стойлов, братья Лотаревы были специалистами по плотине.

Рабочий поселок при мельнице застроен был добротными двух- и четырехквартирными домами, крытыми железом, с надворными постройками для скота и домашней птицы. Обитатели мельничного гороховского поселка жили справно. Ко всем праздникам — Новому году, Рождеству, Пасхе по распоряжению хозяина они получали подарки — телочек, поросят, муку. Жителям оказывалась бесплатная медицинская помощь состоявшим на службе у купца Горохова фельдшером Иваном Ивановичем Березиным. В поселке был выстроен народный дом, в котором размещались бесплатная крестьянская библиотека и зрительный зал со сценой, галеркой, гримерной, костюмерной-реквизитной. Спектакли могли одновременно смотреть до 250 зрителей. Народным домом руководили артисты, супруги Ленские, остальные были самодеятельные любители.

В 1907-1908 годах* В. А. Горохов заключил соглашение с Германией о строительстве подвесной канатной дороги, протяженностью четыре версты, от пристани на Оби до мельницы на Берди. Канатную дорогу строили немецкие инженеры. От села Бердска прорубили в сосновом бору просеку шириной до 200 метров, установили бревенчатые опоры, на которых подвесили в две нитки толстый стальной канат в тугонатянтом состоянии. Одновременно в двух направлениях могло двигаться по канату до 50 вагонеток, каждая вмещала по три мешка зерна или муки. С вводом подвесной канатной дороги необходимость в гужевом транспорте отпала. В 1932 году началась реконструкция гороховской мельницы. Рядом с мельницей образовался Речкуновский железнодорожный разъезд,

* Есть свидетельства, что построили канатную дорогу позже, уже после смерти купца В. А. Горохова в 1913 году. Он, якобы, не возражая против новшества, очень беспокоился о судьбе двухсот возчиков, которые могли остаться без работы.



Коллективный снимок работников Гороховской мельницы во главе с хозяином (в центре)

Канатная дорога. 1909 г.





Ремесленная школа купца Горохова была построена на его средства



Учебные производственные мастерские Бердской 4-классной ремесленной школы

зерно и муку стали возить по железной дороге. Подвесная канатная дорога отслужила свой век, ее спустили с опор на землю и растащили. Опустили и гороховские зерновые склады, стали ненужными. Кирпичную кладку на известковом растворе разобрать было невозможно, поэтому в 50-х годах, когда при строительстве Новосибирской ГЭС Бердск попал в зону затопления, склады взорвали.

Бердская ямщина

Ямщиной крестьяне в Бердске занимались в то время, когда еще не было железной дороги в сторону Алтайского края. От Бердска шли два почтовых кольца: Бердск–Томск и Бердск–Барнаул. Дорога, называемая в народе «казачьей», видимо, в память о казаках, основавших Бердский острог, проходила по Большой улице. На четвертой версте пересекала ленточный бор, выходила в степь к речке Гуменке. По косогору, вдоль правого берега, уходила она до пересечения с Барнаульским трактом. Со временем казачья дорога утратила свое значение, осталась только в памяти старожилов. С ямщиной крепко связаны судьбы бердчан Хомутовых. В старинном селе было много домов, построенных казаками Хомутовыми, состоящими друг с другом в близком и дальнем родстве. Были такие дома на всех трех улицах — Большой, Средней и Задней. Хомутов Яков Павлович возил, или, как раньше говорили, «гонял», почту из Бердска до Барнаула. В снежные зимы, когда случались сильные заносы, ямщики запрягали в кошевы лошадей «гусем», т. е. одну в след другой. Нередко лошадям указывала путь головная лошадь с легким седоком-подростком. Вдоль тракта стояли верстовые столбы с цифрами, указывающими, какая верста. Вышеупомянутая казачья дорога такими столбами

не отмечалась, ее и так все знали по накатанной колесами колее и следам копыт. В летнее время она на всем протяжении зарастала травой спорышнем, которую в народе еще называли «конотопом».

Громкое дело

В Бердске, как уже говорилось, многие крестьяне занимались ямщиной. Примерно до 1916 года, пока не закончилось строительство железной дороги на Барнаул и Горный Алтай. С развитием железнодорожного и водного транспорта ямщина постепенно отошла в прошлое. В основном возили на лошадях пассажиров от пристани до вокзала. Почта в Бердск шла по железной дороге, затем ее на почтовых лошадях доставляли в город. Почту на паре лошадей возил ямщик Феклист Павлович Хомутов.

Как-то осенью 1916 года брат купца Машинского Никандр узнал, что в Бердск почтовым вагоном прибудет большая сумма казенных денег*. За ценным грузом

* Газета «Сибирь», выходявшая в Иркутске, писала в июне 1907 года о случае ограбления бердской почты. Сообщалось следующее: *«15 июня в 11 часов утра не доезжая с версту до села Бугры ограблена берская почта, едущая в Новониколаевск. Грабители, которых было четверо, напали на почту из березового колка. Первыми выстрелами одна лошадь была убита наповал, а две тяжело ранены. Почтальон выбрался из-под повозки и бросился бежать, сделав в грабителей два выстрела. Десятский, сопровождающий почту, убит наповал в повозке. Из пяти сумок четыре денежные оказались распоротыми и без денег. Почту сопровождали: почтальон Горлов (невредим), десятский Звягин (убит), ямщик Гаврилов (спасся). У сотника была казенная винтовка, которая грабителями украдена. Крестьяне, работавшие в поле неподалеку, видели перестрелку и потом четырех человек в желтых рубашках и шляпах, бегущих по направлению к Оби. Один из убежавших нес две винтовки, а остальные — узлы, причем, у одного виднелся на плечах большой белый узел. Некоторые видели, как четыре человека сели на Бугринском берегу в крошечную лодку. У повозки в траве найдено два револьверных патрона и несколько пуль в стальных оболочках. Наряженной сельскими властями погоней не удалось нагнать грабителей».* Возможно, этот случай имеет в виду В. И. Хомутов и ошибочно относит его к 1916 году. Или было еще одно ограбление бердской почты, но это остается вопросом.

прибыли на лошадях ямщик Хомутов, инкассатор с почты и солдат охраны, сопровождающий почтовую карету. Машинский Никандр организовал при въезде со станции в бор засаду в густом березовом колке. Дело было ночью. Когда почтовая карета стала подъезжать к колку, сидевшие в засаде картечью убили наповал лошадей и людей. Забрали казенные деньги, больше ста тысяч рублей, и скрылись. Только в начале 1918 года пришло купцу Машинскому от брата Никандра письмо из Америки, в котором было написано, что он живет и процветает на награбленные деньги.

На месте, где было совершено убийство, в стороне от Барнаульского тракта, был поставлен большой деревянный крест, выкрашенный в белые и черные полосы, в память о погибших от рук разбойников. Как память о прежней бердской ямщине!

Бердская «бурса»

Рядом с народным домом, через Обской переулок, стояла деревянная двухэтажная ремесленная школа. На первом этаже школы располагался машинный зал с двигателем системы «Урсус» мощностью до двадцати лошадиных сил. Он предназначался для вращения трансмиссии, а от нее через ременные передачи приводились в движение токарные, сверлильные, строгальные и фрезерные станки. В этом же цехе стояли три длинных слесарных верстака с выдвигаемыми ящиками для инструмента. Из механического цеха вела дверь во второй, жестяной цех. Здесь стояли верстаки с квадратными оправками (кобылинами) для изготовления изделий из кровельного железа: ведер, масленок, аспирационных труб и т. д. На втором этаже располагались два больших класса, в одном стояли парты,

в другом — чертежные столы и доски. Между классами размещалась учительская комната. В нижнем этаже были комнаты заведующего школой и отдельное помещение для сторожа Пудова. Школа готовила специалистов для обслуживания мельницы и буксирных пароходов кушца Горохова.

После революции гороховская ремесленная школа была переименована в Бердскую профессионально-техническую школу с четырехгодичным обучением. Готовила она ремонтников сельскохозяйственных машин и орудий. Первый набор в профтехшколу в 1924 году комплектовался из детдомовцев, сирот, бердчан с 4-классным образованием. Приступили к учебе 37 человек. В доме кушца Машинского на Большой улице было организовано общежитие на втором этаже, а на нижнем находились кухня и столовая для учащихся. Старшим мастером и воспитателем в профтехшколе был питерский рабочий, член партии большевиков, участник «кровавого воскресенья» Порфирий Терентьевич Масляков. У него была кличка «Карл Маркс» за большое сходство с оригиналом — прическа и борода были точно как у Карла Маркса. Терентьевич очень любил, когда профшкольцы так его называли. В механическом цехе мастером был Павел Аполлонович Борткевич, в шутку, между собой, учащиеся называли его «Павел Панталонович». Вторым мастером по слесарному делу был Дмитрий Иванович Карнишин, ранее окончивший гороховскую ремесленную школу. В кузнечном цехе мастером работал также бывший выпускник ремесленной школы Иван Петрович Каширцев.

Весь курс был разделен на две группы. Пока одна группа занималась теоретической подготовкой, вторая в это время работала на практике в одном из цехов. Через неделю группы менялись местами. Немало происходило

в стенах школы истории. Однажды весной профтехшколец Аркадий Пучкин во время перемены стал заходить в кузницу. Приходил он каждый день, садился по очереди на все четыре наковальни: чья наковальня была горячее, тех он хвалил, приговаривая — вот это хорошие кузнецы, а остальные — кузнечешки! И вот в один из дней преподаватель Каширцев ушел на педсовет, работавшие в кузнице профшкольцы, восемь человек, сняли с тумбы самую большую наковальню, положили ее в горн и нагрели свыше ста градусов. Перед приходом Пучкина с «проверкой» они поставили наковальню на место. Как только ничего не подозревавший Аркадий уселся на нее, руки и брюки его буквально прикипели к наковальне. Профшколец получил сильнейший ожог, так сурово обошлись с ним товарищи.

За такую «шутку» ребята были наказаны, преподаватель оставил их без обеда, закрыл кузницу на ключ и ушел домой. Солнце в тот апрельский день хорошо припекало, и Иван Петрович не стал надевать свой полушубок. Обиженные и голодные профшкольцы взяли этот полушубок, свернули вчетверо и прибили его кувалдой к стене так крепко, что он там остался навечно. Вот такие «бурсацкие» царили нравы в профтехшколе. Насмотревшись фильмов, особенно азиатских, где артисты виртуозно владеют ножами и кинжалами, профшкольцы тайком делали холодное оружие в слесарном и кузнечном цехах. Милиция один раз в месяц производила обыск в общежитии школы, изымала заготовки и готовое оружие. Правда, никаких протоколов изъятия не составлялось, стражи порядка ограничивались предупреждениями и внушениями. Но, как говорится, Васька слушает да ест! Среди профшкольцев немало было бедовых голов. Выделялся Витька по кличке «Падюр». Он в зим-

нее время ночью уходил на железнодорожный разъезд, поджидал там товарный поезд. На площадках тормозных вагонов, как правило, ездили проводники, одетые в хорошие шубные тулупы с большими воротниками. Как только состав на подъеме сбавлял скорость, «Падюр» заскакивал на площадку, хватал проводника за воротник и резким движением срывал тулуп. Витька потом сбывал свои «трофеи» на барахолке в Новосибирске.

Первый выпуск состоялся в 1928 году, и так получилось, что он оказался последним. Дело в том, что в декабре 1929 года бердская профтехшкола сгорела. В поджоге школы обвиняли местное духовенство и кулаков, но за неимением прямых улик и доказательств Верховный суд отменил решение бердского суда. Поджог долго оставался тайной. На самом деле профтехшколу подожгли учащиеся третьего курса, которые не хотели учиться и таким вот варварским способом желали приблизить свой досрочный выпуск. Виновниками страшного пожара были Петр Костюченко и Николай Залипукин. Они через окно проникли в машинное отделение и произвели поджог, чуть сами не сгорели, поскольку там все было пропитано нефтью. Пламя быстро охватило помещение; когда прибыли пожарные машины из Новосибирска, тушить уже было нечего. Ремесленная школа, построенная кушцом Гороховым, прекратила свое существование навсегда.

В огне войн и революций

Накануне Великой Октябрьской революции в Бердск стали возвращаться солдаты из царской армии. В народном доме собирались бердские коммунисты В. И. Деньгин, А. И. Лесюк, Я. Д. Незнамов, А. Д. Баранов, проводили собрания, митинги, вечера для моло-

дежи. Председателем Бердского Совета большевиков был избран пимокат Никифор Зверев.

В мае 1918 года Бердск захватили белогвардейцы. Красная Армия под натиском превосходящих сил противника отступила в сторону Барнаула. Большевики вынуждены были уйти в подполье. Из Ново-Николаевска белогвардейцы снарядили карательную экспедицию на двух пароходах, которые шли вверх по Оби. Каратели прочесывали окрестные леса и деревни. В деревне Мельтюши схватили тяжело раненного Я. Д. Незнамова, зверски пытали и, ничего не добившись, расстреляли. Потом были схвачены Никифор Зверев, Александр Баранов, Павел Хомутов и другие. На крестьянских подводах их повезли в Бердск. При переезде Ельцовского городища, когда лошади спустились в лог, подпольщики, как по команде, соскочили с подвод и стали разбегаться в разные стороны. Возникла перестрелка. Баранов был убит. Звереву удалось бежать, хотя он и получил серьезное пулевое ранение в нижнюю челюсть.

19 августа 1918 года каратели схватили в Бердске других подпольщиков — В.И. Деньгина, М.П. Головцева, А.И. Лесюка, А.И. Останина. Арестованных содержали в каталажке волостной управы. Военный трибунал приговорил их всех к расстрелу. Под усиленной охраной пеших и конных солдат приговоренных к расстрелу повели по Большой улице, потом через Барабошинский переулок. Дорога лежала за реку Бердь на гороховские луга.

Когда арестованные дошли до дома Останина, тот сошел с ума. Офицер из охраны приказал вытолкнуть помутившегося рассудком человека из колонны. Останин упал, обнял под собой землю и так лежал. Тело его вздрагивало в припадке. Только Деньгин своего дома не увидел в последний раз, так как жил в самом конце улицы Большой, у кромки соснового бора.

Каждый из приговоренных по приказу белогвардейского офицера сам рыл себе могилу. Потом их ставили у вырытой ямы на колени и расстреливали в упор в затылок. Трупы сбрасывали в могилу и засыпали землей.

В декабре 1919 года Красная Армия освободила от белогвардейцев Ново-Николаевск и Бердск. Жители Бердска и близлежащих деревень, свидетели кровавых событий, приступили к поискам захоронения казненных подпольщиков. Найденные останки клали в гробы и отвозили в Бердск для захоронения в братской могиле. Все гробы были обтянуты красным ситцем, закрыты крышками с именами покойных. Траурная процессия проходила в большом торговом зале, принадлежавшем купцу Маштакову, напротив волостной управы.

Большая братская могила была вырыта на старом кладбище, в самом центре села, на высоком холме. Гробы до могилы несли на полотенцах, по русскому обычаю, потом каждый гроб опускали под оружейный залп. На похоронах были все жители села от мала до велика, были и красноармейцы военного гарнизона. Каждый бросил в братскую могилу горсть земли, отдавая дань памяти погибшим односельчанам.

Весной 1919 года Никифор Зверев создал партизанский отряд из крестьян Бедска, деревень Сосновки, Ельцовки, Мельтюши и других. Отряд был конный, небольшой, очень мобильный. В дневное время партизаны укрывались в лесах, а ночью, хорошо ориентируясь на местности и пользуясь поддержкой населения, действовали уверенно и дерзко. Внезапно нападали и так же быстро скрывались. Когда Сибирь была от колчаковцев освобождена, отряд Зверева ушел дальше, на Восток, громить отступающие части белой армии.



Партизанские вожжи. 1919 г.



Бердские коммунисты. 1927 г.



Гороховский сад на Гос. мельнице.

*Справа сидит Коробейников
Андрей Степанович. Второй
справа — Коробейников
Дмитрий Андреевич, слесарь,
токарь, литейщик — без него
мельница, считай, стояла.*

*Затем Щербаков, Сахно,
Лисенков, неизвестный, Богданов,
неизвестный, Рябков...*



Бердская детская коммуна

Судьба Никифора Зверева

В тридцатые годы в Бердске и окрестных деревнях началась коллективизация. Политика партии, проводимая под лозунгом сплошной коллективизации и ликвидации кулачества как класса, привела, по сути, к классовой борьбе в деревне. Вместо добровольного вступления крестьян в колхоз их часто под страхом зачисления в кулаки или подкулачники заставляли силой записываться в колхозники. В кулаки зачисляли тех крестьян, что имели крепкие хозяйства. Они от зари до зари работали в поте лица, не пользовались наемным трудом даже в страдную пору. За таких людей стал заступаться бывший партизанский командир Никифор Зверев. Он считал, что это и есть настоящие труженики земли, а не эксплуататоры чужого труда, и поэтому раскулачиванию не подлежат. Зверев писал в различные вышестоящие органы власти, в ЦК партии, даже лично Иосифу Виссарионовичу Сталину, жаловался на неправильное поведение местных властей. Власти его за это, естественно, очень не любили.

Зажиточные крестьяне, наоборот, относились к Никифору как к единственному защитнику их интересов, часто зазывали его к себе, угощали. Во хмелю Зверев еще сильнее ругал перегибщиков линии партии. В конце концов он спился и в 1930 году умер в Бердской заразной больнице от сыпного тифа. Похороны организовали родные и близкие, бывшие соратники-партизаны. Вынос тела состоялся без священника и церковного звона из дома умершего на старое кладбище, рядом с братской могилой. Все жители Бердска собрались проводить в последний путь бывшего командира партизанского отряда. Пришел и председатель сельского

Совета Злобин. Увидев его в толпе, сын Зверева Герман подскочил к председателю и ударил при всем народе кулаком в лицо. За то, что отцу не оказали в больнице должного ухода и лечения. После смерти Никифора Герка связался с плохой компанией, стал пить, воровать. В самосуде ему выбили глаз. Умер он совсем молодой от белой горячки. Сестра его, дочь Никифора Зверева, Валя уехала из Бердска к родным в Москву. Так вот и закончился род Зверевых. Но имя отважного командира-партизана Никифора Андреевича Зверева навечно сохранилось и в сердцах людей, и на обелиске героев гражданской войны в парке, в самом центре города.

НЭП в Бердске

В 1921 году Ленин разработал план введения по всей стране новой экономической политики — НЭП. Политика эта предусматривала привлечение частного капитала в строительство новой России. В Бердске местное купечество ожило. Стали открываться лавки, появились на прилавках товары, ранее припрятанные по кладам и тайникам. Ожило кустарное производство: пимокатное, кожевенное, гончарное, мыловаренное, шорное, веревочное, мукомольное и пр. Загудел Бердск, как улей с пчелами. Крестьяне стали больше производить зерна, конопли, льна, овощей. Кредитное товарищество возобновило свою работу: постоянно организовывались выставки по сельскому хозяйству, скотоводству. Отдельные крестьянские хозяйства поощряли за хорошую работу, выдавали денежные премии за лучших лошадей, коров, свиней и птицу.

В бору у самого села владельцы Молодцов и Ощепков построили мельницу с двигателем внутреннего сгорания мощностью до 75 лошадиных сил. На выхлопной

трубе установили хлопушку, которая характерным звуком оповещала жителей Бердска, что мельница работает. Эти же специалисты Молодцов и Ощепков построили небольшой пароход колесного типа и поставили на нем жернова для размола зерна. Машинистами на пароходе работали бердчане Михаил Шишов, Владимир Клоков и другие. Помол шел настолько быстро, что одному человеку трудно было выгребать муку. Пароход становился возле удобного спуска к берегу, гудком оповещал о начале помола. Крестьяне подвозили зерно, получали готовую муку, и мельница-пароход отправлялась дальше по Оби. За работу хозяева брали гарнцевый сбор зерном. Пока пароход шел от деревни к деревне, гарнцевое зерно на ходу молотилось. В Новосибирске затаренная в мешки мука продавалась оптом перекупщикам. Затем мукомольный цикл повторялся.

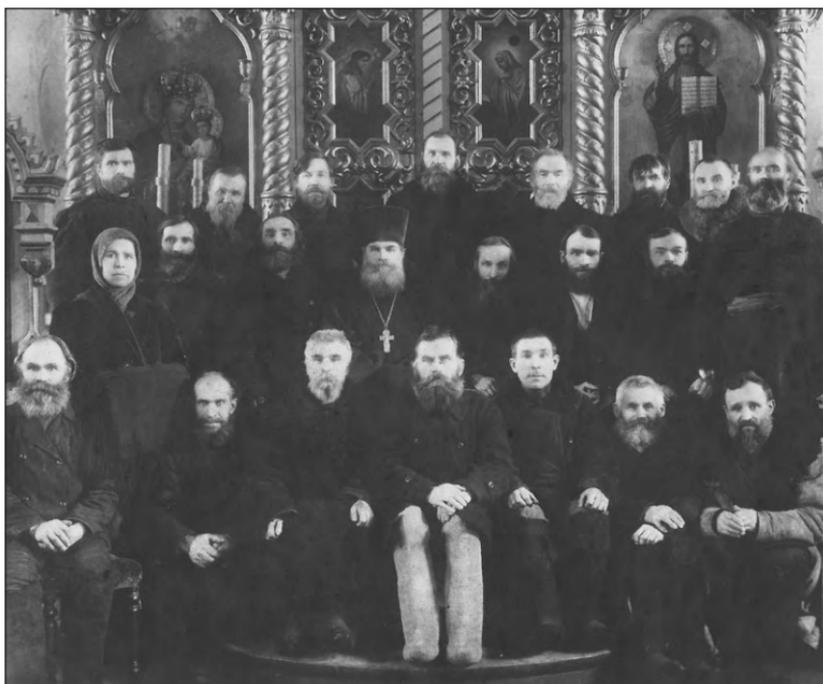
В период расцвета НЭПа бердские крестьяне в зимнее время устраивали бега на лошадях. Хорошего бегуна по кличке Огонек имел Яков Лежнин, живший на улице Коммунистической. Бега проводили по зимней дороге, по правому берегу Оби. Лошадей заводили до Ельцовского городища, здесь был старт. А финишировали ездоки в самом начале Бердска, напротив дома шорника Деньгина. Яков Лежнин часто обходил на своем Огоньке всех своих соперников, а наблюдатели гонки вели спор между собой, закладывая деньги за ту или другую участвующую в бегах лошадь. Сразу после финиша премиальные выдавались победителю.

Два полюса жизни

НЭП к двадцать седьмому году достиг в Бердске своего апогея! Народный гороховский дом был перене-

сен с прежнего места в центр села, на улицу Советскую, бывшую Большую. Его переименовали в «коммерческий кинематограф», библиотека при народном доме была сохранена. Теперь здесь показывали кинокартины, в основном зарубежные, с такими звездами, как Пат и Паташон — фильмы «Все видят, все знают», «Верные друзья», «Из огня да в полымя» и др. С участием Гарри Пилия шли трюковые картины. В кинодрамах блистал Джек Куган, в музыкальных комедиях — несравненная Мэри Пикфорд. Очень нравились бердскому зрителю и отечественные картины с участием Игоря Ильинского — «Процесс о трех миллионах», «Кукла с миллионами» и другие.

На Советской улице, напротив магазина купца Машинского, комсомольцы построили свой клуб. Сельсовет выделил им на строительство зерносклад, когда-то принадлежавший богачу Буданцеву. Молодежь на субботниках разобрала этот склад, потом ребята перевезли все на новое место и в короткий срок собственными силами построили клуб. В помещении клуба проводили кустовые комсомольские собрания первичек, их к тому времени насчитывалось в Бердске четыре: профтехшкольная, детдомовская и две школьные. Часто проходили в клубе диспуты на антирелигиозные темы с участием священника. Первое слово, как правило, давали ему. Он говорил о возникновении религии, Библии, о богословии. Затем слово предоставлялось коммунисту-пропагандисту, который уже с научной точки зрения подходил к обсуждаемому вопросу. На подобные диспуты приходили пожилые люди и молодежь. Истина открывалась в интересном, живом споре, который порой затягивался, и часто приходилось его переносить на другой вечер.



Приходской совет Бердского храма. Конец 20-х годов



*Бердск. Двадцатые-
тридцатые годы*



В Бердске в эти годы образовалось как бы два полюса жизни: комсомольский клуб и церковь. Они даже находились рядом, через улицу. В церкви из молодежи был создан большой хор под руководством священника Сатирского, обладателя незаурядного голоса и талантливого проповедника. Когда Сатирский читал проповедь, прихожане нередко утирали слезы.

Большой хор был также в местном детском доме, руководил им бывший офицер царской армии Антон Павлович Мошкин. Этот хор очень любили жители Бердска. Ребята часто выступали со старинными русскими народными песнями и в народном доме, и в комсомольском клубе. Солисткой хора была воспитанница детского дома, рослая и красивая русоволосая девушка с мягким, словно серебряным, голосом — Настя Булатова. Зал слушал ее пение, затаив дыхание.

Среди молодежи того времени в большом почете были стихи Сергея Есенина. Поэтические строки Есенина заучивали наизусть, декламировали на школьных вечерах и в клубе. Многие неокрепшие молодые души смутил своей лирикой и ранним уходом из жизни Сергей Есенин. Застрелилась Женя Дружина из нагана офицера-корейца, который ее обманул. Отравилась Рая Конкасова, также на любовной почве. Покончил жизнь самоубийством Михаил Дружинин. Секретарь комсомольской ячейки, бывший моряк Скольненко на гулянье в бердском лесу ударом ножа в спину убил дочь нэпмана Дусю Карташову: она не ответила взаимностью на его ухаживания...



Артур Миллер

Светлыми глазами

Олег, Зинка и я

Тонкий лучик солнца пробрался сквозь щелку старой деревянной крыши и проткнул душистый нагретый полумрак сеновала. В прозрачном луче густо роились пылинки, и луч можно было потрогать.

Я открыл глаза и лежал неподвижно. Рядом, на дедовом тулупе, похрапывал двоюродный брат Олег, распустив влажные губы.

Во дворе оглушительно заорал петух. Перед глазами сразу встал этот злой драчун с разноцветными перьями. Петух был такой злой, что не признавал даже нашу бабку.

Олег заворочался, почмокал губами, пробормотал:

— Ну, змей, поспать не даст! Всю Нахаловку разбудит... — и снова захрапел.

Загремел подойник, послышался сердитый бабушкин голос:

— Кыш, лохматый! Кыш!

Петуху, видно, досталось. Он суматошно закококал, а потом забубнил где-то под сеновалом, словно ругал бабушку. И снова ее голос:

— Поднимайтесь! Проспите все царство небесное!

Олег досадливо пробормотал сквозь дрему:

— Ну-у, привязалась!

А бабка не могла утомониться. Теперь она строполила соседскую девчонку Зинку Глызову:

— Слазь наверх, растолкай их!

Зинка на сеновал не полезла, зная скорого на руку брата. Забралась по лесенке до половины, просунула в подлаз хворостину и начала ею шуровать.

Щекотки Олег боялся до икоты. Когда прут ощутило прошелся по его ребрам, он подскочил с визгливым хохотом и кинулся к двери. Конечно, Зинку он не поймал. Она уже сидела на заборе и одну ногу, на всякий случай, опустила в свою ограду.

Олег погрозил кулаком и шмыгнул за сеновал.

— Сколь раз говорить вам! Идите, парным молоком напою.

Не успел я сделать и двух шагов, как брат вылетел из-за сеновала, придержавая штаны, и стриганул через сенцы в дом.

Когда я вошел, Олег, нетерпеливо притопывая, уже ополовинил крынку молока и не глядя рвал душистую пористую мякоть домашнего ситника.

— Ты чего, фулиган, делаешь?! — бабушка всплеснула руками.

Брат торкнул посудину на стол, сиганул в кухонное окно и скорчил бабке рожицу.

— Ну, будет тебе кнута! Вот дед вернется!

Я выдул кружку парного молока, еще живого, сладкого, чуть отдающего травами, и выбежал на крыльцо.

Солнце поднялось высоко, день обещал быть жарким, и стало так славно, так хорошо, что я громко закричал, раскинул руки и выскочил на улицу.

Начинался еще один прекрасный день детства.

Нахаловка

Нахаловка разбросила по-над Обью свои домишки, сколоченные из чего придется. В дело шло все: доска, кусок старого железа, бревнышко, выловленное из реки...

Название такое этот район получил потому, что переселенцы начали застройку безо всякого разрешения властей. В выборе места для строительства был прямой резон: река. А это — и транспорт, и вода, и рыба.

Что за домики и улочки были здесь! Все крошечное, карликовое. Чтобы войти в иное строение, взрослому нужно было сгибать и шею, и колени. Никакого плана застройки, конечно, не было, потому строились, кто как умел.

В этом районе и поселились дед с бабкой, приехав в тринадцатом году из голодного Тамбова с двумя дочерьми, которые позже стали нашими с братом матерями. Старшая, Мария, вышла замуж за моряка; младшая, Тамара, моя мать — за работника КОГИЗа (краевого отдела книгоиздательства).

Так вот и оказались под крышей небольшого домишки без малого три семьи. «Без малого» потому, что отец моего брата, дядя Павлуша, служил на корабле в Мурманске.

Мерин Аркашка

В только что нарождающемся Новосибирске водопровода не было. Водой жителей города снабжали водовозы. Перебравшись в Сибирь, поразмыслив, дед купил лошадь и водовозку. Лошадь в какой-то мере приту-

шила его тоску по вынужденно оставленному крестьянскому хозяйству.

Лошадь дед любил. Каждое утро он отправлялся в конюшню. Через дворик слышался голос:

— Аркашка, не балуй! Тпр-р-р-ру, сатана!

Мерин тыкался мордой в дедовы карманы, пока тот не вытаскивал припасенный кусок сахара. Потом дед запрягал мерина в водовозку и отправлялся к артезианскому колодцу, а оттуда, с бочкой воды, в путь по ухабистым улицам.

Он выезжал со двора, бабка стояла у ворот, словно провожая мужа в долгое путешествие. Когда повозка отъезжала метров на двадцать, бабка, словно спохватившись, окликала:

— Гриша!

Дед придерживал Аркашку.

— Ну, чего? — нарочито сурово оборачивался дед.

— Ты ба на базар заехал, купил кой-чего!

— Ладно, — отвечал дед. — А чего надоть?

Я понимал: это была у них такая игра.

Дед великолепно знал, что нужно привезти: наказы бабка давала еще вечером...

В это утро дед с выездом задержался, вышел на крыльцо хмурый, потирая поясницу. Поглядел на небо:

— Задожжит, видно!

И ушел в дом.

Из огорода выпрыгнул Олег. Подмигивая узкими глазами, позвал:

— Айда в пригон!

В конюшне было сумрачно. Пахло навозом и свежим клевером. Аркашка нетерпеливо посматривал на дверь в ожидании хозяина.

Олег обошел вокруг животины, похлопал по вздрогнувшему крупу лошади, почесал за ухом и посмотрел на меня раскосыми хитрыми глазами:

— Тащи веревку!

— Зачем?

— Тащи, тебе говорят! — брат даже притопнул. — Да не эту, во-он ту, волосяную!

Я подал черную колючую веревку. Брат схватил ее, быстро связал узел на Аркашкином хвосте. Другой конец прикрутил к толстой балясине.

— Все, прячемся!

Мы нырнули под конюшню, спугнув степенных несушек.

Из дома показался дед. Прошел через двор, перешагнул порог конюшни. Аркашка вытянул морду, ожидая законного куска сахара.

Дед снял со стены хомут, уздечку и похлопал коня по шее:

— Пошли!

Аркашка шагнул было. Хвост и веревка натянулись. Конь остановился и заржал тревожно. Дернулся.

— Чего ты, чего, баловень?

Конь опять заржал.

Дед обошел Аркашку и увидел веревку. Догадался. Первый и последний раз услышал я, как он выругался. Потом сказал:

— Ну, погоди, охламон. Уж я тебя!..

Олег, слушая деда, даже зажмурил от удовольствия глаза.

Я хотел выбраться из-под конюшни, но брат щипнул меня за ногу и прошипел:

— Сиди тихо, а то — во! — он показал мне кулак.

А голос деда, между тем, продолжал раздраженно:

— И-эх, обормот! Животная и та тебя пугается. Ужо достанется чересседельником по заднице!

Остерегался брат дедушку не без оснований: тот однажды крепко выдрал непутевого. Не зло, но чувствительно.

Но ни чересседельник, ни теткин ремень не могли укротить неуменого брата. Они лишь на короткое время остужали его пыл, который проявлялся в новых проделках с удвоенной силой.

Лохматый гость

Последняя взбучка сделала его лишь изворотливее и хитрее. Свои прокуды обставлял так, что обнаружить его участие было невозможно. Правда, Олегу стали приписывать и чужие дела. И, как ни странно, частичному его оправданию помогла страдающая сторона — соседи.

Однажды, часов около одиннадцати, в сенцах захлебнулся звоном колокольчик. Мы с братом давным-давно были на сеновале. Тетка открыла калитку. Послышался возбужденный визгливый голос соседки Степаниды:

— Марея! Ежели ты не укоротишь своего паршивца, в милицию подам. Обижайся не обижайся! Терпежу боле нету!

Крик прервал теткин голос:

— Степа, погоди! Толком скажи, чего он еще натворил?

Брат открыл узкие глаза, приподнялся на локтях и с интересом прислушался к разговору.

— Чего натворил? Да этот самурай!..

Соседка захлебнулась от возмущения. Несколько секунд стояла тишина. Олег недоуменно повертел головой, ткнул меня локтем в бок:

— Чего это она? Сбесилась?! Ей-бо ничего не делал!

А голос Степаниды снова набрал силу:

— Чего удумал, стервец: калитку снял и — нет ее!

Брат ухмыльнулся:

— Жаль, сам не додул!

— Чего говоришь? — сказала тетка. — Сейчас сняли? Так мой с племяншом уже час как в постели. Иди, проверь!

Скрипнула лестница. В дверцу заглянуло растерянное лицо Степаниды. Спустившись, она обескураженно сказала:

— Поди ж ты! Ошиблась. Извиняй!

Она ушла, а тетка еще полчаса поносила нас с братом.

Но неожиданно проделки Олега прекратились. Малая Нахаловка вздохнула свободно. Брата увлекло необычное знакомство. Он завязал дружбу с живым медведем.

Напротив дедова домишки стояло несколько огороженных кирпичных зданий — Красные казармы. Ранними утрами за каменной стеной звонко пела труба, слышались отрывистые команды. Потом ворота открывались и под звуки оркестра на улицу вытягивалась колонна красноармейцев. Подтянутые, в ярких зеленых гимнастерках с малиновыми петлицами, в лихо посаженных на стриженные головы пилотках, они, словно одной глоткой, под звуки барабана и трех труб, выговаривали слова песни:

Гремя огнем,
Сверкая блеском стали,
Пойдут машины
В яростный поход...

Солдаты каждое утро уходили по пыльной Владимирской в Заельцовский бор на учения. Старухи, торговавшие на деревянных ступеньках соседнего магазина всякой зеленью и рыбой, замолкали. Некоторые утирали глаза хвостиками платков, крестили крепкие спины красноармейцев.

С мальчишками мы не раз сидели на гребне казарменной ограды и наблюдали солдатскую жизнь. Мы знали, что главного командира зовут Софроновым. Он никогда не гонял нас со стены. Лишь изредка глядел в нашу сторону и весело кричал:

— Что, пополнение прибыло? Давайте подрастайте и — к нам!

В воинской части обитал медведь Яшка. Медведь был ручной. Чего он только не вытворял, чтобы получить кусок сахара!

...Олег увидел Яшку и онемел. Просидел на стене весь вечер и спустился, когда труба пропела отбой, а тетка сорвала голос.

Брат шел домой задумчивый и отрешенный. Всю ночь не давал мне толком уснуть: ворочался, подминал под бок хрустящее сено, вздыхал, бормотал.

На следующий день мы с мамой ушли в город. Возвращались в самый жар. Около наших ворот толпились люди. Рядом из своей калитки рвался пьяный сосед Глызов. В руках он держал рогач и орал на всю улицу. Он выдирался из цепких рук жены Степаниды, которая висела на нем и тоже орала.

Наконец Глызов стряхнул супругу:

— Слушай мою команду! На три шага не подходи! Я его сейчас на рогатину, и — точка!

Глызов ринулся на ворота:

— Берегись! Ра-ас-ши-бу-у!

Степанида, изловчившись, снова повисла на муже.

Мы с матерью ничего не понимали. С небольшого кособорчика, где мы остановились, была видна лишь часть двора и крыша сенок, на которых стоял, широко расставив ноги, дед с черенком от лопаты.

Со двора слышались, словно задавленные, женские голоса:

— Караул! Люди добрые! Караул!

Мать рванулась к калитке. Ее ловко перехватила какая-то женщина:

— Стой! Медведь там!

Словно в подтверждение, со двора донесся рев, а из конюшни взметнулось звонкое конское ржанье. Мать рванулась снова. И в эту минуту донесся голос брата:

— Теть Тамар! Иди, он же ручной! Чего они боятся?..

Мать решительно распахнула калитку, шагнула во двор. Толпа шархнула.

На скамейке, около сеновала, едва ли не в обнимку сидели Олег с Япшкой. Медведь обмакивал лапу в логушок с медом, который я видел у бабушки в погребе, облизывал ее и, подняв морду с малюсенькими глазками, взреывал от удовольствия.

За мутными стеклами окон метались перепуганные стертые лица тетки и бабушки. Та и другая, совсем обессилев, хрипло вскрикивали:

— Ка-ра-у-ул!..

— Томка, укороти охламона! Пусть зверя уберет! — дед от досады аж пританцовывал на сенцах.

— Олег! — мать в упор смотрела на брата. — Убери!

— Не, тетя Тамар, не выйдет. Пока все не слопают, не увести!

Дед с тоской посмотрел на логушок.

Вскоре, однако, явился Софронов, за которым сбежали в казармы, и увел Яшку домой.

На этот раз обошлось без рукоприкладства. Дед уговаривал в конюшне разволновавшегося от медвежьего духа мерина, тетка приходила в себя после пережитого и поглядывала на брата глазами, не обещавшими ничего хорошего. Бабка, вспоминая нечистого, отмывала логушок, испоганенный зверем.

В Красных казармах пропела труба, призывая солдат ко сну...

Блины

Поесть Олег любил. Ел до изнеможения. Как-то даже признался:

— Знаешь, братка, не могу совладать с собой. Чую — хватит, а остановиться не могу!

Как-то бабка затеяла блины. Достала медный таз, муку, масло, яйца. Развела все это молоком, взбила веселкой тесто. Мы с братом вертелись тут же, ожидая первый блин. Первый, который у бабушки почему-то никогда не получался комом, обычно перехватывал брат. Иногда он милостиво давал мне откусить. Но часто бабушке надоедал прокудливый внук и она загоняла его на печку.

Олег сидел там, облизывался, жмурил глаза и негромко канючил:

— Братишка, голубчик, стырь блинок!

Бабка все слышала и выразительным жестом показывала Олегу чапельник, которым таскала из печи сковородки с блинами. А когда я пытался выполнить просьбу брата, она цыкала:

— Сиди, ешь! Да в масло макай!

А брату говорила:

— Не зуди. Сиди и жди!

И, уже ни к кому не обращаясь, ворчала:

— Таковую прорву натолкать! Вот подпеку, тогда и слезешь!

Поесть брат мог. Однажды тетка выволокла его из-за стола на пятом десятке блинов. Перед тем он прилажился к блюду с готовыми блинами. Распустил ремень, поел, затем освободил пуговицы, поел, а потом и вовсе снял штаны. Тетка, войдя на кухню, увидела вздувшееся пузо сына, ахнула:

— Мама! Да куда же ты смотришь?! Его же, паразита, порвет!

— Что у меня — десять глаз? — ответила бабка, — за блинцами да за ним смотреть!..

Соленого дед с бабушкой не ели. Еда у них в доме была пресноватой. На наше недовольство бабушка говорила:

— Недосол — на столе, пересол — на спине. Подсолите, сколько надоть!

Со щами и прочими блюдами сделать это было не трудно. А вот готовые подсоленные блины того вкуса не имели.

Мы болтались по кухне, наблюдая за бабушкой. И когда она накрыла деревянную бадейку с тестом дедовым тулуном «для выстойки», брат предложил:

— Антошка, давай сами посолим! Хоть раз по-настоящему соленые поедим!

— Давай!

— Вымани бабуню во двор!

Я выбрался во двор и позвал бабушку. Она вышла на крыльцо, а Олег в это время, разыскав стеклянную банку с солью, сыпанул под тулуп.

Прошло минут двадцать, и я услышал голос бабушки:

— Марья! Иди сюды!

Тетка вошла в кухню, заглянул туда и я.

— Гляди-ка, не пойму, чего так поперло!

Тесто в бадейке высоко приподняло тулуп и было готово вот-вот ринуться на пол.

Печка уже топилась, и через пяток минут бабка бухнула мерник теста на зашпиевшую сковородку. Тут начало твориться совсем непонятное! Блин, вместо того, чтобы мирно поджариваться, начал вдруг желтеть, пухнуть, и от печки пошел такой запах!..

Бабушка с теткой попробовали свое изделие и тут же выскочили во двор.

Тесто отправили пороссятам.

Вечером, когда мы с братом улеглись спать, я услышал из кухни голос бабушки:

— Марья, ты соду стиральную не брала? Вишь, на донце осталось...

— Нет! Мама, этот паразит соды в тесто насыпал!..

Маруся

Из недалекой Кольвани постоянно приезжали к нам знакомые, которыми дед с бабкой успели обзавестись за долгие годы жизни в городе.

Мне нравилось, как этот разношерстный люд вваливался в кухню с дождя, с мороза или после долгой пыльной дороги. Армяки, брезентовые плащи, шубы, залоснившиеся голицы складывались на лавку. Приезжие обтопывали снег с валенок, обуток в литую красную или черную резину от автомобильных камер, проходили в комнату, степенно рассаживались на табуретках и стульях, негромко разговаривали. Бабка хлопотала у печи — там жарилось, варилось, булькало...

Так появилась у нас и Маруся, дочка дедова приятеля. Приехала она учиться и после двухмесячных курсов собиралась стать бухгалтером. А чтобы не пропадали зря вечера, устроилась учетчицей на нефтебазу, она была рядом — на берегу Оби.

Маруся — веселая, зеленоглазая, пышноволосяя и компанейская — сразу покорила меня: привезла в подарок совенка, которого называла «сапсаном». Птенец оказался недружелюбным. Лупал огромными желтыми глазищами, шипел, щелкал клювом, норовя тяпнуть протянутую руку. Дружбы с ним не получилось. А Олег сказал о Марусе:

— Ничо тетка. Не представляется!

Родители и тетка уходили на работу, девушка принималась за домашние дела, помогая бабушке.

Маруся за работой всегда пела. Песни были незнакомые, грустные. По радио я таких не слышал. Особенно взволновала одна, с такими словами:

Ах, умру я, умру я,
Похоронят меня.
И родные не узнают,
Где могилка моя...

Незадолго перед тем мама прочла мне книжку про глухонемого дворника и его собаку, которую он по приказу своей хозяйки-барыни вынужден был утопить.

Мне ясно представлялись муки Герасима, боль, которую испытала Муму, последний раз глотнув воздуха. Эта мука собиралась у горла тугим комом и выплескивалась обильными слезами. Я прятался от Маруси. Успокаивался и снова подходил к девушке:

— Спой еще!

Она выполняла мою просьбу. Я слушал, убежал в дальний уголок и снова давился слезами.

Олег хихикал:

— Тоже мне, парень! Сошли распустил!

Как-то Маруся пожаловалась матери, что я все время прошу ее петь жалостную песню, а сам реву взахлеб. После этого разговора жалостной песни я уже не слышал, как ни просил.

— Давай лучше про танкистов! — всякий раз предлагала смешливая девушка.

А про танкистов и так пели по радио. И про бедного Герасима под нее не вспомнишь...

Новый сосед

Зинкины родители пустили квартиранта. Его привез на черной лаковой пролетке дедов знакомый. Выгрузили несколько чемоданов и здоровенный ящик. Извозчик, негромко чертыхаясь, заволок его в сени. Вернулся, подошел к деду:

— Поздоровкаемся, Григорий Ильич!

Дед протянул извозчику руку:

— Здравствуй, Игнатъич! Кого привез?

— Да тут, квартировать! — неопределенно сказал дедов знакомый. — Сундук тяжеленный!

— Книги, что ли? — поинтересовался дед.

— Не-е! Какая-то лабалатория. Карточки робить!

— Фотограф? — уточнил дед.

— Во-во! — обрадовался Игнатьевич. — Фохтограф и есть!

Дед с Игнатьевичем завели разговор о лошадях, сбруе. Это было совсем не интересно. Я с нетерпением посматривал на Зинкины сенцы.

Скоро на крыльце появился мужчина. Выглядел он не старше моего отца. Одет был необычно для Нахаловки. Словно в праздник, хотя день был будний. Выпуклую грудь квартиранта плотно обтягивала белая рубашка с короткими рукавами и отложным воротничком. Серые брюки с острой стрелкой и до зеркального блеска начищенные ботинки дополняли его наряд. Прямые черные волосы разделял четкий пробор. На плече в потертом футляре висел фотоаппарат.

Я с интересом смотрел на приезжего. Дед тоже поглядывал в его сторону, словно невзначай.

Приезжий заметил любопытствующие взгляды, озорно подмигнул:

— Здравствуйте, соседи!

— День добрый! — приветливо кивнул дед.

— Вечером приду знакомиться, — крикнул фотограф и, сбежав с крыльца, открыл в палисаднике калитку, скрипнувшую на ржавых петлях.

К обеду вернулись из школы Олег с Зинкой. Они, видно, из-за чего-то поссорились. Зинка шла впереди, гордо подняв голову, а несколько позади шлепал Олег, пиная носками ободранных ботинок мелкие камни.

Я тут же помирил их, сообщив о появлении в Зинкином доме нового жильца.

Брат перестал дуться, глаза его повеселели:

— Во, дело! Пофотаемся теперь!

Зинка с сомнением оглядела его и хихикнула:

— Тоже мне, красавец!

Девчонка не стала дожидаться подзатыльника, шмыгнула в свою калитку, помахала с крыльца рукой:

— Пока!

Мы двинулись к нашим приземистым воротцам. Брат на ходу бормотал:

— Подумаешь, в пионеры ее принимают. Вся из себя!

Олег швырнул сумку с книгами на крыльцо. Уселся на ступеньку рядом с дедом, который прилаживал к подойнику отломившуюся дужку.

Брат все не мог успокоиться и продолжал бурчать:

— Ее, видишь ли, принимают, а я — хулиган! Подумаешь — пионерка! Тряпочку красную на шее завяжут и — на тебе — другой человек!

Дед отставил подойник, поднял голову. Всегда добрые его глаза сделались жесткими:

— Эх, обормот! Кнутом бы тебя за язык поганый!

Олег вяло заоправдывался:

— А чего я сказал такого? Чего злиться-то?

Он окончательно ступешевался и отправился в дом, а дед покачал вслед головой:

— Не будет из тебя толка!

Вечером к нам, и правда, пришел новый сосед. Как обещал: знакомиться. Оглядел двор, церемонно представился:

— Семен Ильич Строхотов — фотограф-профессионал.

Знакомясь, он подавал всем сухую руку с длинными цепкими пальцами. Олегу и мне фотограф тоже протянул руку.

На крыльце появилась Маруся. У нее было дежурство на нефтебазе. Строхотов на секунду замер, но тут же представился и ей. Задержав Марусину руку, он чуть приподнял черную бровь и значительно произнес:

— Строхотов. Семен Ильич. Фотограф-художник. Можно просто — Сема!

Маруся почему-то покраснела и, вытянув сложенную лодочкой ладонь из руки Строхотова, ответила:

— Маруся...

— Вы куда-то собрались? — заинтересовался новый сосед.

— Мне на работу.

— Разрешите, я провожу вас немного?

Маруся пожала плечами.

— Ну, вот и хорошо, что согласны! — подытожил Строхотов.

Я удивился, потому что никакого согласия от Маруси я не слышал.

— До скорого, соседи! — помахал фотограф рукой. — Для упрочения знакомства завтра сфотографирую вас!

Хлопнула калитка. Дед многозначительно переглянулся с бабкой и моей матерью.

— М-да, — сказал он, — одно слово: художник!

Покупка

В один из вечеров отец подкатил к воротам в черной лаковой пролетке. Он сидел в обнимку с продолговатым в высоту ящиком. Рассчитался с извозчиком и с помо-

пью соседа занес картонный короб в дом. Мы с братом вертелись около отца, выспрашивая, что же он привез. Отец досадливо отмахивался:

— Погоди, узнаешь!

Любопытство мое все возрастало, как и нетерпение отца, раскрывавшего коробку. Поэтому я никуда не ушел и с интересом смотрел, как постепенно освобождал свои поблескивающие бока красивый деревянный ящик. Передняя стенка у него была затянута желтой пупырчатой материей, под ней виднелось темное стекло с черточками и надписями. А еще ниже — шеренга черных ручек. Над стеклом, прямо из материи, выглядывал стеклянный глазок.

Отец поставил красивый ящик на тумбочку, ласково погладил по зеркальному боку:

— Ну, вот. Теперь весь мир будем слушать!

— Как это? — поинтересовался я.

— А вот так! Хочешь — Америку, хочешь — Францию, а пожелаешь — и Бельгию!

Я, конечно же, не был совсем тупым в технике, во всяком случае, не заглядывал в черную тарелку репродуктора, отыскивая человека, чей голос разносился по квартире. Здесь все было более или менее просто: репродуктор включался в розетку, провода от которой уходили на улицу, где от стены дома перекидывались на столб и от него, по опорам, убегали к тому месту, где говорил диктор или исполнялась музыка. Но здесь! Какие же провода до Америки!..

— Папа, а говорить в него можно? — вдруг спросил я.

— Ну, конечно! — ответил отец. — Сколько влезет!

Может быть, он не понял моего вопроса, может, просто отшутился, но позднее, когда родителей не

было дома, я не раз, включив приемник, пытался разговаривать с диктором. Возмущению не было предела, когда голос из приемника, вместо того, чтобы отвечать на мои вопросы, говорил о совершенно посторонних вещах.

Но это было позже. А в тот вечер отец достал из ящичка кусок старого провода, прицепил один конец за зеркало, а другой воткнул в гнездо на задней стенке прибора. Затем вставил вилку шнура в розетку и повернул ручку. Приемник молчал. Молчали и мы.

— Сейчас, сейчас. Вот только прогреется! — успокоил отец.

Через минуту темный стеклянный глазок стал быстро наливать яркой зеленью, затрепетал, как бабочка, узким разъемом крылышек. Из-под материала послышалось потрескивание и шипение. Отец осторожно подкрутил одну из ручек, и в комнату вдруг ворвалась мощная широкая мелодия. Мужественный голос чеканил слова. В песне говорилось о древнем Кремле, стены которого залиты утренним солнечным светом, о красавице-столице, о Москве.

— Вот видишь! — радостно крикнул отец. — Работает. И еще как! Только антенну нужно уличную. Тогда весь мир слушать будем!

Антенну натянули следующим вечером. Прицепили один конец желтой проволоки к углу конюшни, второй — над окном, а конец протолкнули в отверстие для ставенного болта. И все.

Дед вернулся с развоза рано: ему не терпелось послушать в своем домишке говорящую диковину. Пришел и Стрехотов.

После ужина все подсели к приемнику. Отец и фотограф закурили. Взял папиросу и некурящий дед.

Приемник прогрелся. Из-под пупырчатого материала послышались шумы, всхлипы, обрывки слов, куски мелодий, шорохи, звоны. Отец еще повернул ручку, и вдруг совершенно четко прорвалась барабанно-флейтовая мелодия марша. Здоровенные мужские глотки весело и быстро выговаривали нерусские слова.

— Германы, — покачал дед головой. — Не уйти от войны...

— Да, видно, так, — грустно уронил Стрехотов.

Мелодия окончилась, и резкий с хрипотцой голос начал что-то выкрикивать. В ответ раздался рев толпы.

Отец помолчал и, словно про себя, холодно сказал:
— Гитлер...

Фотография на память

Зинка, округлив свои и без того круглые голубые глаза, таинственно сообщила, что сейчас их квартирант будет печатать фотокарточки.

— Это дело никак пропустить нельзя, — заявил Олег. — Пойду, поговорю. Надо поглядеть, как это фотографии получают!

— Интересно! — возмутилась Зинка, — «он пойдет!»! А мы рыжие, что ли?!

Олег безразлично поднял брови, пожал плечами:

— Я разве против? Айда вместе!

Он скрылся в сенях Зинкиного дома. Через минуту вышел на крыльцо. Следом, жмурясь на яркий свет, появился Стрехотов. Потер сухими длинными пальцами веки, оглядел нас:

— Что, огольцы, интересно?

— Ага! — мы с Зинкой дружно закивали головами.

— Что ж, почему не посмотреть! А вдруг кто-нибудь фотографом станет? Только не мешать! Пошли!

Кухня, в которой я бывал не раз, стала неузнаваемой. Окно и дверь были завешены черными шторами. На столе, где Зинка с Олегом не раз готовили уроки, рядом примостились коричневые ванночки с жидкостью. С краю стоял деревянный ящик с рубиново светящимся стеклом.

— Ну, вот! — махнул рукой в сторону стола фотограф. — В этой ванночке — проявитель, в этой — закрепитель, в этих двух — вода.

Строхотов взял с припечника, застеленного газетой, стеклянную пластинку:

— Это негатив, смотрите!

Фотограф поднял прямоугольник стекла так, чтобы через него проходил свет лампочки. Я увидел чье-то лицо. Только было оно не белым, а черным. Волосы же на голове — белыми.

— Это как? — спросил брат.

— А вот так! Это негатив, здесь все наоборот. Черное выглядит белым, а белое — черным!

Семен Ильич положил негатив на газету и обернулся к брату:

— А ты что, Марусю не узнал?

— Не узнал.

— Сейчас отпечатаем, узнаешь!

Семен Ильич снял с полки бутылку, долил коричневатой жидкости в ванночку. Закупорил горлышко пробкой и поставил посудину на прежнее место.

— Что ж, — потер он руки, — начнем, пожалуй!

Строхотов повернул выключатель, и мы очутились в красноватой темноте. Багрово светился фонарь. Комната стала похожа на пещеру, в глубине которой горел костер.

Фотограф поцелкал металлом о дерево, пошуршал бумагой, снова включил и почти сразу включил свет. За короткие секунды я разглядел в его руках деревянную рамку, которую он повернул к лампочке застекленной стороной. Затем Строхотов опустил в ванночку бумажный прямоугольник.

Через несколько секунд под тонким слоем проявителя на листе бумаги появилось улыбающееся лицо Маруси. Это чудо было непонятным и непостижимым!

Вскоре появилась вторая, третья, четвертая фотографии.

В дверь громко стукнули, и послышался голос Маруси:

— Можно к вам?

— Минуту! — крикнул Строхотов.

Закрыв черный пакет:

— Входите!

В кухню из-под шторы вошла Маруся. Строхотов засуетился:

— Машенька, здравствуйте! Проходите! Вот сюда. Стул здесь!

И тут же мне с братом:

— Ну а вы погуляйте! В следующий раз продолжим!

Мы вышли на крыльцо. Олег хлопнул себя ладонью по лбу:

— Забыл спросить!

Он нырнул в сени и тут же выскочил обратно.

— Ты чего? — спросил я.

— Чего, чего! — проворчал брат. — Целуются. Вот чего!

А Зинка, которая шла следом за нами, вздохнула:

— Подумаешь, открытие! Они уже четыре дня целуются!

Эта коза Катя...

Вот уж чего не случилось, так это чтобы Зинка появилась у нас на сеновале. А тут...

Однажды Зинка распахнула скрипучую дверь сеновала, на коленях доползла до нас, затормошила брата:

— Алька, вставай! У нас Мурка окотятилась!

Олег смахнул ее руку:

— А ну, брысь отседа!

Зинка села у двери и, отмахивая с глаз прядки подсвеченных солнцем волос, горько заплакала. Это было так неожиданно и необычно, что брат испуганно спросил:

— Ты чо, Зинка? Ты чо?!

А Зинка, услышав в голосе брата участливые нотки, заревела еще громче. Сквозь слезы она пыталась что-то говорить:

— Ты кричишь, а-а Мурка не кормит их... Вот...

Наконец выяснилось, что кошка принесла семерых котят, кормить их не может, потому что нет молока. А Степанида сказала мужу, чтобы тот утопил их.

— Как это, утопил? — возмутился брат.

Зинка продолжала всхлипывать.

— Ты вот чего, — подумав, сказал Олег, — не реви!

Подошел, присел рядом с Зинкой:

— Ну, не реви, кому говорю!

Девчонка, не переставая всхлипывать, вытерла глаза ладонями, с надеждой посмотрела на Олега.

— Значит, так, — сказал он. — Есть кошка, есть котята. А жрать им нечего. Так?

— Та-ак, — подтвердила Зинка, непонимающе глядя на брата.

А тот, вдохновляясь, продолжал:

— Где это видано, чтобы животные подышали с голоду в Советской стране?! Надо спасать!

— Ну-у, — протянула Зинка.

А Олег с еще большим подъемом продолжал:

— Жрать им нужно молоко. Парное. А где взять? Взять можно у козы. Точно! Щас пойдем и подоим.

— Да, — засомневалась девчонка, — она будучая! Мать не всегда подпускает, а уж нас...

— Найдем выход. Пошли!

Надо сказать, что глызовская коза Катька, которую называли еще Альбиносочкой за ее белобрывость, была существом зловредным. Она не подчинялась Зинкиной матери, терпеть не могла пахнувшего водкой Глызова, а о нас и говорить нечего!

...Катька стояла около пригона в Зинкином дворе, куда мы выбрались через дыру в задней стене сеновала. Длинная веревка, закрученная на рогах, давала ей возможность разгуливать по двору, перекрывая дорогу от калитки.

Степанида, зная неприязнь Катьки к винному запаху, пыталась и таким образом воздействовать на мужа, и Катька не раз оправдывала ее надежды.

Коза мелко трясла белым листиком хвоста и подозрительно косила на нас глаза с узкими прорезями вертикальных зрачков.

Олег весь подобрался и стал тихонько подкрадываться к Катьке, приговаривая:

— Козя, козя! Кисонька!

Коза, обманутая дружелюбием, подпустила брата. Он погладил Катьку по крутому боку, добрался до уха, начал чесать за ним.

Коза замерла, а Олег торопливо прошипел:

— Зинка, посудину тащи!

Через несколько секунд девчонка выскочила на крыльцо с тяжелой пивной кружкой.

— А теперь держите! — шепотом сказал брат, и мы с Зинкой дружно вцепились в козьи рога.

Катька от неожиданности замерла, а Олег, не теряя времени, подставил кружку под вымя и потянул за сосок. Коза коротко взмекнула, мотнула башкой, и мы разлетелись с Зинкой разные стороны.

Катька развернулась и ринулась, наклонив рога, на брата, обалдело сидевшего на земле.

Зинка охнула, но Олег подскочил и на мгновение уже сидел верхом на заборе.

Коза, пометавшись по двору, остановилась за углом сарая, злобно поглядывая на нас.

— Сделаем так! — брату пришла новая идея. — Потянем за веревку и прикрутим рогами к калитке!

Мы взялись за крепкий витой шнур, через минуту Катькина башка плотно уперлась в штакетины калитки.

Олег снова повторил операцию, и в дно кружки ударила тонкая белая струйка. Дело, вроде, пошло на лад, но...

Коза взметнула башку, калитка соскочила с петель. Катька, опалев от испуга и боли, ринулась в проулок. Калитку она несла на рогах, словно щит.

Едва она скрылась, раздался грохот, женский истошный крик. Через секунду из проулка вылетела Степанида в мокром облившем платье. В одной руке она держала коромысло, в другой — помятое цинковое ведро.

Она увидела нас, Олега с пивной кружкой, на дне которой болталось немного молока, и поняла все.

— Паразит рода человеческого! — завопила она, размахивая ведром и прыгая через огуречные грядки за братом, который проворнее кота взлетел на сеновал.

— Вот подлюга, ирод! Козу напугал, калитку спортил! Ну, погоди!

Она еще долго кричала, грозя брату всеми земными и небесными карами за калитку, козу, погнутое ведро и помятые грядки...

Котят Глызов утопил. А Олег к прозвищу Степаниды «рында корабельная», добавил другое: стал называть Степаниду «живодером мирового пролетариата». Глызова он во внимание не брал: что с пьяного возьмешь?!

Тыра-Матыра

Мерин Аркашка жил у деда в чистоте и холе. Почти каждый день дед водил конягу на речку. Аркашке эти «банные дни» нравились.

Олег громоздился мерину на спину, и мы отправлялись в недолгий путь. Дед вел меня за руку по кривым и путаным улочкам и проулкам Нахаловки, которые в конце концов выводили нас к реке.

Дед снимал обувку, штаны и в исподнем шел в воду. Аркашка с братом на спине был уже метрах в десяти от берега.

Мерин трогал бархатистыми губами зеленую воду, фыркал. Напившись, оглядывал простор Оби, прядал ушами и ржал. Звонко, дурашливо. Но, как только дед подходил к нему и начинал чистить скребком его крутые лоснящиеся бока, Аркашка затихал и стоял, как вкопанный, испытывая несказанное удовольствие освобождения от накопленной за день усталости. Рядом барахтались и мы с братом.

В Оби водилось множество самой разнообразной рыбы. Частенько дед, взяв ивовое лукошко, шел на берег. У рыбаков всегда можно разжиться самой свежей рыбой из садков.

Ловили по-всякому. Удочками с берега и с лодок, закидушками, неводами, сетями, бреднями и даже варварским устройством — самоловом: толстой леской с множеством самодельных крючков. Настоящие рыбаки этим устройством пользоваться избегали, не желая калечить рыбу.

На ночь вдоль берега на небольшой глубине ставились корчажки и морды — сплетенные из ивовых прутьев ловушки. По утрам рыбаки вытряхивали из корчажек бьющееся серебро чебаков и шиперившихся ершишек. Извлеченные из привычной стихии, они и на прибрежном песке не утрачивали своей нахальности. А в «морды» попадала стерлядь и даже заходили солидные и башкастые налимы.

...Жил и постоянно промышлял на реке мужичонка. Лет он был неопределенных: ему можно было дать и тридцать, и пятьдесят, и семьдесят сразу. Худой и черный, как головешка, в затрепанной, лоснящейся от жира кепочке-шестиклинке, надвинутой переломленным козырьком на брови, в расхристанной до пуза рубаше без пуговиц и необъятных сатиновых шароварах, в каких ходили пристанские грузчики.

В одном из карманов, доходивших, по-моему, до пяток, у него всегда дремала четушка водки с коричневой сургучной головкой. После того, как он причаливал свой двухметровый углый челнок к берегу, всегда запускал руку в карман едва ли не до плеча и извлекал на свет прозрачную стекляшку. Вышибал сухой обмозоленной ладонью сургуч и, не торопясь, закинув назад птичью головку в кепочке, жмурясь на солнце, одним движением выливал водку в сухое, жилистое и длинное горло. Отряхивал оставшиеся капли в песок и, широко размахнувшись, далеко в реку забрасывал четушку. Хекнув, говорил:

— Тыра-Матыра!

После этого склонялся над лодкой, вытягивал из-под сиденья грязный, в рыбьей чешуе мешок и шел к ожидавшим покупателям.

Его так и прозвали — «Тырой-Матырой», потому как больше слов у него вроде и не было...

Однажды, когда мы с дедом в урочное время спустились на берег, Тыры-Матыры на месте не оказалось. Было уже поздно, и дед недоуменно пробормотал что-то по поводу неаккуратности знаконца. Потом, взглядевшись в речную даль, неуверенно произнес:

— Гляди-ка, никак он? С кем это он там воюет?

Я поглядел на реку. Тихий плес был пустынен, и только маленький челнок клевал на воде то носом, то кормой. В суденышке стоял худой мужчина и взмахивал раз за разом рукой с каким-то предметом, словно рубил дрова. Продолжалось это несколько минут. Затем рыбак наклонился, задержался так на мгновение, сел за весла, и челнок медленно потянулся к берегу.

— Точно, он! — сказал дед, отнимая от глаз ладонь. — Ну, теперь уж подождем.

Минут через двадцать челнок, как захмелевший мужик, ткнулся смоляным носом в остывающий песок, и Тыра-Матыра выбрался на берег.

Как всегда, повернувшись лицом к заходящему солнцу, вышил четушку и, забросив ее далеко в реку, повернулся к дедушке:

— Ильич! Здорово!

Я удивился: впервые за наше знакомство Тыра-Матыра разговорился. Удивился и дед:

— Ты чо это?

— Да ничо!

Рыбак сдвинул кепочку на затылок, поскреб корявыми пальцами за ухом:

— Вишь ты! — произнес он и опять замолчал, уставив взгляд на лодку.

— Лишнего, что ли, перебрал? — спросил дед.

— Нет, Ильич! — он засмеялся. — Ты глянь вот. На самолет взял!

Он, заплетаясь, пошел к лодке. Дед за ним. Мужичонка прямо в шароварах забрел в воду за лодку, отцепил веревку и натянул ее.

В первую секунду я подумал, что Тыра-Матыра поймал бревно-пльвун, а в следующую вскочил за попятившегося деда: Каршыч волок на берег огромного осетра. Его могучее серое тело, мокро лоснившееся по хребтине жесткими костяными пластинками, было изодрано крючьями самолота. На песок текла розовая кровь.

Через несколько минут нас окружила толпа мужиков и баб, невесть откуда взявшихся на только что пустом берегу. Все восхищенно охали и ахали. Какой-то шустрый мастеровой притащил складной металлический метр.

— Дакось я, дакось, померю! — повторял он, азартно расталкивая локтями толпу.

Ползая с добровольными помощниками на коленях вокруг огромной рыбины, принялся измерять ее длину.

После споров, едва не закончившихся дракой двух подвыпивших братьев, было торжественно объявлено, что рост зверюги — метр девяносто! Толпа радостно загомонила.

Все испортил корявый кузнец Якимов. Все ахали и охали, а он снял кепку, погладил ладонью коричневую от загара лысину и заявил:

— Морду бы тебе набить, Матыра! Одну рыбину взял, а сколь покалечил?!

Повернулся и, неторопливо переваливаясь, двинулся от реки на косогор.

Потом мы шли с дедом домой по синеватым сумеркам, густеющим в узких проулках Нахаловки. Возвращались, так и не купив рыбы. Дед был задумчив, бормотал что-то, покачивал головой. И уже когда подошли к коричневому, ставшим вечером почти черными воротам, сказал:

— А бабка-то наша, а? Остаться в Сибири не хотела!

Находка

Недалеко от нашего дома находилась так называемая сортировочная горка. Работала она круглосуточно. На земляном горбе насыпи были уложены рельсы, по которым маневровый паровоз таскал на самую макушку горки вагоны и подталкивал их под уклон. Разноцветные домики раскатывались по путям, куда

вели их стрелки, и выстраивались в составы, готовые в дорогу.

Вагоны были разномастные: платформы и теплушки, полувагоны и солидные пульманы, легкомысленные пригородные вагончики с полированными до зеркального блеска металлическими поручнями. Маневровая «кукушка», поыхивая дымом, катала и катала по рельсам пустую и груженую железнодорожную тару, и казалось, нет этой круговерти ни конца, ни края.

Но не сортировка привлекала окрестную пацанву. У нее имелся здесь другой интерес: рядом с тупиком образовалась свалка металлолома. В том числе и военного, что остался после финской войны. В огромных ворохах гудящего и гремящего железа мальчишки находили поистине бесценные для себя предметы: целехонькие каски и фляжки, чехлы от тесаков, снарядные гильзы, стволы разбитых винтовок, сплюснутые автоматы. Все это ценилось высоко.

Здесь совершались выгодные обмены: чехол от тесака стоил целой гильзы снарядного патрона, ствол винтовки менялся подороже, обойма пистолета с пружиной ценилась еще выше. Особым спросом у нас и затонских мальчишек пользовались каски, не пробитые осколками и пулями. Выдрав остатки жесткой подкладки, их можно было великолепно использовать для варки ухи на прибрежном костерке.

Мы с братом и прежде бывали здесь. Но в этот день мне крупно повезло. Пролезая через развороченную снарядом кабину грузовика, я зацепил ногой тяжелый тряпичный сверток. Тряпки были промасленные и настолько грязные, что притрагиваться к ним было противно. Но, поборов отвращение, я раскрутил сверток и замер: в руках оказался новехонький, в смазке,

пистолет. Он тускло поблескивал черным воронением, выглядел строго и серьезно.

Я оглянулся. В нескольких шагах от меня, чертыхаясь и гремя железом, бродил Олег.

Кое-как обтерев смазку, я спрятал пистолет под рубашку и негромко позвал:

— Алька...

Он подошел, согнувшись под тяжестью здоровенной скрученной железяки, которую тащил на плече:

— Порядок! В самый раз Копченому на шкворни. Айда домой!

Мы выбрались со свалки и двинулись к нашей малой Сборной. Брат пыхтел, кряхтел, но упрямо тащил железяку. Несколько раз бросал ее на землю и кричал:

— Все! Бросаю! Не стоит Копченный того, чтоб я для него надрывался!

Остыв, поднимал железяку и снова волок ее. Видно, кузнец Якимов все же стоил этого.

Я шел молча, а в душе все ликовало и пело: у меня есть настоящий пистолет! И какой мальчишка испытал бы другое чувство?!

Олег в очередной раз швырнул железяку на землю. Пнул несколько раз и заявил:

— Конец! Дыхалка вся вышла!

И тут я не утерпел. Вытянул пистолет из-под рубахи.

Когда брат увидел оружие, узкие его глаза сделались круглыми, как у кота. Он почему-то шепотом попросил:

— Покажь...

Я протянул ему пистолет. Олег оцупал его, погладил по ребристой рукоятке и... сунул в карман штанов.

Мне стало нестерпимо жаль находки и обидно до горечи.

— Отдай! — заныл я.

— Цыц! Отдам, не ори! — запипел брат. — Придем домой, постреляем!

Он вдруг без видимого усилия подхватил железяку, которую только что крыл на все корки, и легко запагал вперед, напевая:

Гремя огнем,
Сверкая блеском стали...

Железяка была благополучно доставлена к дому и свалена до лучших времен у ворот в лопухи.

— Алька, — ныл я. — Отдай наган!

— Дура, — презрительно процедил он, — наганы у мильтонов, а это — пистолет!

— Ну, все равно, отдай пистолет!

Наконец он смилостивился:

— Айда, стрельнем! И подержать дам.

Я даже задохнулся от такой несправедливости. Но делать было нечего. Не в драку же лезть!

В закутке, у старого забора, Олег достал пистолет. Отвел руку далеко в сторону, нажал курок. Раздался негромкий щелчок. Брат нажал еще, еще. Результат оказался тот же. Олег покрутил пистолет и разочарованно заявил:

— Да он и не заряжен вовсе!

Мы выбрались из-за покосившегося забора и вышли на Владимировскую. Брат, открыто держа оружие в руке, подошел к крыльцу. Шагал и щелкал курком.

И вдруг ахнул выстрел. Возможно, он и не ахнул и звук был не таким уж и громким. Но бабы, торговавшие на приступках, с визгом кинулись в стороны, опрокиды-

вая крынки с варенцами, рассыпая по пыльным доскам прочую снесь.

Из двери магазина выбежал милиционер. Схватил брата за руку, вырвал пистолет:

— Где взял?

Перепуганный Олег рассказал.

Милиционер был нашим участковым и пообещал прийти к родителям вечером, составлять протокол. Он пошел прочь, а брат, опомнившись и ни на что не надеясь, шлепся за ним и канючил:

— Ну, дяденька, отдай наган!

Милиционер глянул весело на Олега:

— Эх ты, а еще стрелять взялся! Наган — вот! — он похлопал по кобуре на своем боку. — А это — пистолет!

И засмеялся.

Вечером был составлен протокол. Потом тетка вздрючила Олега ремнем. Попутно перепало и мне.

Потом наши матери поругались, потом помирились, и вскоре все мирно улеглись спать.

Когда происшествие было несколько забыто, мы с братом снова отправились на свалку, лелея зыбкую надежду восполнить утрату. Но, увы! Груды металлолома были обнесены колючей проволокой. А у единственного разъема — ворот — стоял вооруженный охранник.

Понтонный мост

Как-то отправились мы с братом к понтонному мосту через Обь. Капитального моста в городе не было, и наплавной в Нахаловке был единственной ниткой, связывающей правый и левый берега. Это

было, пожалуй, самое оживленное место во всем городе.

У пригородной пристани нас встретили знакомые мальчишки. Олег сразу оказался в родной стихии. Затеяли играть в ножички. Эту игру я знал давно. Перочинный нож кидали из разных положений, и он должен был обязательно воткнуться острием в землю. Но сейчас ребята изменили правила игры. Нашли ровную площадку, очертили здоровенный круг и разделили его на равные части по числу играющих.

— Это вроде земного шара, — сказал Олег. — У кого больше всего земли оттяпают, тот из игры вылетает. Играть можно до тех пор, пока ботинок умещается на своей площади. Понятно?

— Чего тут понимать? Все ясно!

Новые правила игры всех заинтересовали. Один Радька Шмаков, сын учительницы, жившей недалеко от нас, недовольно заметил:

— Чего нашли хорошего — землю отбирать, как Гитлер!

— Брось, Радька, это же игра! — загалдели ребята. — Чего ты?

— Ладно. Вы играйте, а я не буду.

Меня по малолетству в круг не приняли, и я отправился с Радькой на понтонный мост.

Мост работал круглосуточно, и лишь в середине дня и ночи его растаскивали на две половины, чтобы пропустить вверх и вниз по реке нетерпеливый грузовой и пассажирский флот.

На ржавые металлические посудины, заякоренные такими же ржавыми тросами, был брошен настил из досок, по которым с черепашьей скоростью тащились повозки и автомобили. На краях понтонов круглые

сутки сидели рыбаки. У иных из кусков фанеры, тряпок и дощечек были собраны навесы и будочки на случай непогоды.

Рыбаки были хорошо знакомы друг с другом. Когда клев прекращался, они ходили в гости с понтона на понтон, ели, пили, обсуждали свои житейские и рыбацкие дела. Короче, вели себя так, словно здесь был их дом и другого, настоящего, не существовало.

Мы шли с Радькой по занозистым и горячим от солнца плахам, рядом пыхтели грузовики. Понтоны оседали под тяжестью каждой машины и, когда она уходила вперед, выныривали из воды, словно пошлавки. Худой, давно не бритый смотритель моста охрип. Верно, сорвал голос, требуя, чтобы шоферы соблюдали безопасную дистанцию.

Мы отошли от берега довольно далеко, и на одном из понтонов я увидел Глызова. Зинкин отец находился в отпуске и совсем переселился на мост.

Я потянул Радьку за рукав и свесился через перила.

— А-а, — сказал Радька, проследив за моим взглядом, — соседа встретил!

Глызов заметил меня.

— Чего, тоже рыбалить наладился? — крикнул он. — Тогда давай сюда!

Мы перелезли через брусок перил и спустились на железную палубу понтона.

Под настилом моста было огороженное фанерой место, вроде шалаша. На Глызове были закатанные до колен брюки, а на голове ловко сложенная из газеты фуражка. Загорел сосед до черноты. Он оглядел нас, улыбнулся:

— Удочки-то где?

Радька вздохнул и развел руками.

— Тогда за моими присмотрите, а я поесть соображу.

Вся корма понтона была утыкана удилицами. Были здесь и бамбуковые, и металлические, и очищенные от коры ивовые хлысты, и просто короткие палки, леска с которых круто уходила в глубину. На кончиках удилиц были подвязаны маленькие бубенчики.

Глызов опустил на колени и что-то доставал из своего закуртка. Его худую спину наискось пересекал широкий и светлый шрам с неровными краями. Когда Глызов двигал руками, шрам извивался, словно змея.

Робко звякнул бубенчик и тут же рассыпался бисерным звоном. Сосед безошибочно подхватил нужное удилице и короткой подсечкой выкинул на понтон длинную серую стерлядку.

— Вот и почин! — весело сказал он. — С утра не брала!

— Дядя Степан, а шрам откуда такой?

Глызов завернул, как мог, голову за плечо, но шрама, конечно, не увидел. Похмыкал:

— С финской память осталась. Осколком рубануло. Доктор так и сказал: попади железка чуть левее, сердце и вырвало бы. Вот и комиссовали вчистую. А мы ведь с Софроновым вместе там были...

Глызов замолчал, а мне стало вдруг неловко, словно я без спроса зашел в чужую квартиру. Но это чувство прошло быстро, потому что начался такой клев, что даже Глызов изредка огогокал, выдергивая из зеленой воды вертучих стерлядок. Бубенчики звонили непрерывно.

С соседних понтонов сбежались рыбаки. Стояли за перильцами, переживали. У них-то клева так и не было!

Скоро Глызов заявил:

— Все, будя! А то рыбацкое счастье жадности не любит! Давайте ушицу сообразим!

Оказалось, что у Зинкиного отца припасен таганок и можно прямо на понтоне развести маленький костерок. Что и было сделано. Через полчаса мы хлебали наваристую уху.

Прошло уже довольно много времени, а брат все не появлялся. Впрочем, чего ему было беспокоиться? Он видел, что отправился я с Радькой, серьезность и обстоятельность которого были хорошо известны.

Глызов помыл котелок, собрал таган.

От затона к понтонному мосту пробирался тарахтящий грузовой катерок. Я с Радькой наблюдал за странными передвижениями чумазой, словно беспризорник, посудыны. Вместо того, чтобы идти по прямой, катер выписывал замысловатые вензеля.

Глызов сложил ладонь козырьком и прикрыл от солнца глаза:

— Ну, точно, Михей на разводку направляется. Ишь, выплясывает! Опять, кажись, принял!

А катер тем временем оказался совсем недалеко от понтонов.

— Чего он делает?! — забеспокоился Глызов.

Сложив ладони рупором, он зычно рявкнул:

— Михей! Ход сбавляй!

Но катер пер прямо на мост. У самых понтонов он сделал крутой разворот, но было поздно, и буксирчик боком влетел сразу в два понтона. Сухо треснул бамбук удилиц, желтые щепки брызнули в воду. Гулко ахнули и просвистели над нашими головами два или три лопнувших троса, удерживавших понтоны. Их сразу потянуло течение. Затрепал деревянный настил.

Страшно закричал, заматерился Глызов. Схватил меня и Радьку за рубахи и толкнул в широкий люк понтона, а сам, я успел заметить, длинным прыжком перекинулся на палубу катера.

Мы стояли в люке по пояс, и мне было хорошо видно, как Глызов распахнул дверь рубки, выдернул из-за штурвала рулевого, выкинул его на палубу.

Катерок затарахтел громче, плотно прильнул скулой к корме крайнего понтона, удерживая его и мост на речной стремнине.

По мосту от берега бежали люди. Из затона ходко шли два катера...

Глызов передал меня белому, как бумага, Олегу из рук в руки. Радьку похлопал по спине и одобрительно сказал:

— Молодец! Хорошо с чалками управлялся!

А я этого не видел. Наверное, от испуга.

Потом мы сидели на понтоне, а Глызов собирал остатки удочек, вытаскивал из закутка свое барахлишко и ругался:

— Вот гад, так гад! Нажраться до поросячьего визга! Мост своротить! Да я бы его, гада ползучего, на фронте...

Когда подошли к дому и Глызов открыл свою калитку, сказал, вроде самому себе:

— А ведь брошу, и брошу пить. Чтоб ее, треклятой, вовек не было!

Но слова Глызов так и не сдержал.

Знакомый Монатков

Отец стоял у зеркала и брился. Щетина тонко потрескивала под бритвой. В окно ломилось утреннее

солнце. Черная тарелка репродуктора весело пела голо-
сом артиста Черкасова:

Капитан, капитан,
Улыбнитесь...

Я последовал его совету. Стало радостно и спо-
койно.

Отец закончил бриться. Сполоснул под рукомой-
ником стаканчик, насухо вытер бритву. Покрякивая,
обильно полил лицо душистым одеколоном и подошел
ко мне.

У отца оказался свободный день. Он ткнул меня
пальцами, сложенными «козой»:

— Ну-с, бурнус! Поднимайся! — зацекотал меня. —
По-одъем!

С визгом вывернулся я из крепких отцовских рук,
шлепнулся на пол. Хотел зареветь для порядка, но
раздумал.

День обещал быть интересным. К тому же сегодня...
Сердце сладко замерло: сегодня мы пойдем покупать
коньки!

Наскоро перекусив, мы вышли с отцом на улицу.

Случилось так, что разговор о коньках воз-
ник именно летом. И в этот день была намечена их
покупка.

Спортивный магазин — небольшой, темный и уют-
ный — расположился в одной из секций старого торго-
вого корпуса на Красном проспекте. Директорствовал
здесь давний хороший знакомый отца Монатков. Звали
его Алексеем Дмитриевичем.

— А-а! Антон Сергеевич к нам пожаловал! — под-
нимаясь из-за огромного дубового стола с пузатыми,
как у рояля, ногами, сказал директор.

— Прощу, прошу! — он протянул руку, на полном серьезе поздоровался со мной, затем подал руку отцу:

— Здравствуй, Сережа! Хорошо, что зашел. Садись, разговор есть.

Директор был пожилым, полным и лысым. Его глянцевитое поблескивающее лицо с курносым носом источало широчайшее добродушие. Мне всегда казалось, что фамилия Монатков ему очень подходит.

Директор с отцом уселись на диван, и Алексей Дмитриевич отправил меня в торговый зал «поглазеть на разные спортивные штуки».

В зале было полно всего: волейбольные мячи и сетки, метательные диски и копья. Черный шар молота с длинным железным хвостом-ручкой притаился на полке среди своих родственников. Брусья стояли, как на утренней зарядке, а в углу, рядом с взбежавшей вверх шведской стенкой, озорно расставив ноги, притаился конь. Казалось, еще секунда — и он, взбрыкнув, умчится из магазина.

Но не они привлекали мое внимание. Взгляд скользил по ним, не задерживаясь. Я смотрел на полку, где серебряным великолешием сверкали длиннющие, похожие на щук, «норвеги»; смахивающие на задиристых ершей коренастые «дутьыши»; «острики», напоминающие оперенные индийские стрелы, и, наконец, гордые в осанке «снегурки» с закругленными спереди носами. Это были не просто коньки, которые привязывались к валенкам веревкой, которая для пущей прочности перекручивалась палочкой и закреплялась на лодыжке. Нет! Коньки предназначались для крепления на ботинки. Накаблучные пластины и боковые зажимы крепко стягивали подошву. Это был у мальчишек предел желаний! Это вам не «снегурочки», вихляющие на валенках!

Коньки наконец в моих руках, я стал их хозяином! Я прижал их к груди, обнимая руками сверкающий металл, и он отдавал в этот жаркий летний день снегом, льдом, морозным ветром.

Отец, посмеиваясь, смотрел на меня и на коньки, которые я никак не хотел положить ему в портфель.

— Неси сам, чемпион! — отец потрепал меня по спине, и мы отправились к директору в кабинет пить чай.

В чай себе и отцу Монатков налил из бутылки понемногу вина. Отец засмеялся и спросил:

— А ты ведь не моряк, Алексей Дмитриевич! А? Чего же ромом балуешься?

Монатков хитровато глянул на отца:

— Сергей Иванович, а ты ведь тоже вроде к водной стихии отношения не имеешь, так чего же не отказываешься?

Они поглядели друг на друга и, довольные нехитрой шуткой, разулыбались.

Мне, конечно, досталось пить чай без загадочного рома. Но я не жалел об этом: в руках у меня были долгожданные коньки. Хотя еще так далеко до зимы, до того времени, когда узкие металлические полозки заскользят по льдистому насту.

Приятели говорили о своих делах, а мое внимание привлекла чернильница, стоявшая на письменном столе Монаткова. Собственно говоря, сооружение это и нельзя было назвать чернильницей. На срезе большого пенька умостились в разных позах черти и чертенята. Целый табор. Скульптор изобразил их в тот момент, когда варили они в котле какого-то невероятного грешника.

Я спросил директора, для чего ему на столе черти. Монатков соорил самую серьезную физиономию:

— А это для того, Антон Сергеевич, чтобы не забывал человек, что его ожидает за неправедную жизнь!

— Как это «неправедную»?

— Ты, например, родителей не будешь слушаться, проказничать, вот он и грех!

— За то, что я не буду слушаться, меня тоже так? — показал я на котел, вокруг которого кривлялись черти.

— Всенепременно! — кивнул Монатков.

Потом, сбросив с лица грозное выражение, добавил:

— Шучу я, Антон Сергеевич. Тебе это не грозит. Много нужно нагрешить, чтобы попасть в такой котел! А на самом деле это обыкновенная чернильница.

Верхние половинки головок у чертиков крепились на шарнирах и за рожки откидывались назад, открывая перу небольшие колбочки с чернилами.

Пока я занимался разглядыванием забавных фигурок и пробовал разные чернила на листе бумаги, который дал мне директор, мужчины после горячительного чая разговорились.

Алексей Дмитриевич рассказывал, как он «на вот этих самых местах» бил крякву.

— Поверишь ли, Сергей Иванович, — обратился он к отцу, — в ста метрах отсюда стоял у меня скрадок!

Он махнул рукой в сторону площади Ленина, где достраивалось здание будущего театра.

— Болотце было — ух ты! На зорьке перед службой добежишь, и за часик-другой пять-шесть птиц набьешь. Вот как бывало-то!

Монатков замолчал, вспоминая о тех далеких временах, когда был он восемнадцатилетним парнем и служил приказчиком в магазине кушца Кухтерина. И было это сорок с лишком лет тому назад.

Чай был допит, мы распрощались с гостеприимным директором и отправились по другим делам. После рассказов Монаткова я по-другому увидел и площадь Ленина, и здание театра.

...Уже зажигались в окнах ранние огоньки. В палисадниках играли в лото, подкидного. На лавочках у ворот судачили женщины. Из-за отцветающей сирени тянулась грустная мелодия, пахло дымом, подгорелой кашей, и все это сливалось с терпкими запахами начинавшего входить в силу лета.

Мы шли с отцом в засиневших сумерках. Я держался за его большую и теплую руку, стараясь поспевать за ним. Нагретые за день плахи тротуара хранили еще тепло солнца, мягко прогибались под ногами, чуть подпружинивая шаг.

У входа в районную милицию царило молчаливое оживление. Мужчины с противогазами, носилками, ящичками, перепоясанными красными крестами, торопливо двигались около освещенного синей лампой подъезда.

Я посмотрел на отца. Он хмурился. Плотные сжатые губы выражали высшую степень озабоченности.

— Папа? — дернул я его за руку.

Несколько шагов прошли молча. Отец лишь крепче сжал мою ладонь.

— Обычное дело, — совершенно спокойно сказал он. — Надо быть готовыми ко всему. Вот санитары и тренируются, чтобы быстро и умело оказать помощь пострадавшим.

Отец продолжал развивать свою мысль:

— Вдруг война начнется? Попадет в человека пуля или осколок бомбы, или отравится человек газом. Вот

тут санитары и должны проявить свое умение, чтобы спасти его от смерти...

Дома ожидала нас рассерженная мать, которая в субботу закончила работу раньше.

— Где это вы путешествовали до сих пор?! Я извелась вся: нет и нет. Хотя бы записку оставили, что поздно вернетесь. А то... все передумала. Уже решила, что с вами беда приключилась!

Втайне отец был смущен, но внешне этого не показывал.

— А что, собственно, случилось? — сказал он, ни к кому не обращаясь. — Сделали дела, знакомых навестили.

— Ели хотя бы?

— Конечно! — заторопился я. — Коньки купили, чай с ромом пили!

— С чем?! — мать выразительно поглядела на отца.

— С ромом! — гордо повторил я.

— Ну, знаете ли! — мать закачала головой.

— Неправда, сынок! — сказал отец. — Не «мы пили», а я пил с Алексеем Дмитриевичем!..

Лежа в постели, глядел я широко открытыми глазами в вязкую темноту, изредка протягивая руку к снегуркам, которые втайне от родителей притащил в кровать.

Пикник

Мы с братом встретили отца у самых Красных казарм. Он шел, весело помахивая портфелем и поблескивая выпуклыми стеклами очков.

— Дядь-Сереж! — Олег подбежал к отцу. — Ты чего долго сегодня?

Отец удивленно посмотрел на Олега:

— Зачем это я тебе вдруг понадобился?

— Да нет, не понадобился. Просто спросил.

Отец усмехнулся:

— Ну-ну!

Я уже давно замечал, что Олег ревниво оберегает от домашних свои отношения с отцом. Когда тот бывал дома, брата словно подменяли: таким он становился домовитым. Обычно настороженная бабка как-то участливо спросила брата:

— Да ты, никак, занемог, Алька?

А тетка, частенько доводимая своим отпрыском до неистовства, бежала к отцу:

— Сережа, Сергей! — кричала она. — Хоть ты бы укоротил этого паразита! Сил больше нет! В колонию, что ли, определи его!

Отец смеялся:

— Да будет тебе, Мария! Сказанула: в колонию! Да нормальный он парень. Просто энергию некуда девать!

— Ага, некуда! Вон, пусть к Якимову в кузню идет. Там и прилагает!

— Счас! — бурчал брат, исподлобья поглядывая на разъяренную мать. — Бегом бегу, штаны спадывают!

— Ах ты, паршивец! — вскидывалась тетка. — Я тебе!..

Она хваталась за ремень, а Олег уже строил ей рожи из Зинкиного двора.

Я думаю, что Олег, не видя родного отца, не находя в деде, занятом домашними делами, мужской поддержки

и без пощады презирая женскую половину, тянулся к моему энергичному отцу.

В этот день отец приготовил для нас сюрприз:

— Завтра едем в лес. На пикник!

Мы дружно заорали «ура!», хотя слово «пикник» было нам не понятно. Но в нем содержалось что-то притягательное и загадочное. Даже в самом звучании: пик-ник!

В недалекий лес мы с братом шастали часто. Но ведь одни, а все вместе — другое дело!

Каждое воскресенье в парк за Ельцовку отправлялись отдыхать горожане. Добирались семьями, компаниями и целыми коллективами.

Парком это место называлось для солидности. На самом деле был это хороший чистый лес, стекавший по косогорам к песчаному берегу реки. Сюда-то и должны мы были поехать отдыхать в воскресенье. То есть, на следующий день.

...Утром, когда дед согнал нас с братом с сеновала, родители были в полном сборе. На лавке у крыльца стояли битком набитые продуктами сумки.

Мать с теткой, одетые в цветастые платья, в белых панاماх, суетились, пытаясь затолкать в тугие сумки какие-то свертки.

Отец в кремовой тенниске и таких же туфлях стоял у калитки с патефоном и поторапливал сестер:

— Тамара, Мария! Скоро копать кончите?

Засоня брат, который так же любил поспать, как и поест, сразу включился в хлопотливую круговерть:

— Дядь-Сереж, теть-Тамар, а мне нести чего? — колготился он, хватаясь за ручки хозяйственных сумок.

— Вот, возьми! — позвал отец и протянул Олегу дерматиновый чемоданчик с набором пластинок.

Брат принял ношу и уже не отходил от отца, словно приклеился.

— Ну, пошли!

Мы двинулись к калитке.

Бабка перекрестила нас вслед, дед покивал головой. На заборе сидела Зинка и жутко завидовала нам.

Пыльная Владимировская и длинный, темный и дымный тоннель остались позади. Вскоре добрались до здания, где работал отец. Здесь было полным полно народу. Играла музыка, с отцом и матерью здоровались. Отец весело отвечал, а сестры чинно кивали головами.

Скоро появились машины. Все расселись, и мы покатали снова через угарный тоннель, по булыжной нашей улице и скоро оказались на месте.

И хотя дорога была не длинной, путь показался мне неизбежно долгим и счастливым. Сладко пахло нагретым деревом, резиной, металлом, бензином и... лесом!

Лес был полон звуков. Мелькали белые рубахи и платья, слышались хлопки волейбольного мяча, всплески недалекой воды, хохот и визг купающихся. Солнце старалось всюю! Это было какое-то небывалое торжество света и напоенного запахами трав воздуха.

Отец завел патефон:

Ваша записка

В несколько строчек,

Тех, что я прочла в тиши...

Голос Шульженко уютно и так к месту звучал в солнечном бору.

— Айда к речке, пока они тут возьятся! — подмигнул брат. — Не бойсь, не заметят!

Родным было действительно не до нас. Они готовили праздничный обед. И мы, помелькав них перед глазами, через минуту оказались на берегу.

— Гляди-ка, — показал брат за реку.

Из-за горизонта поднималась густая темно-синяя дымка. Она разрасталась, на глазах превращаясь в свинцово-оранжевую тяжелую тучу. Переваливаясь и погромыхая в бездонной голубизне, она все шире растягивалась над сразу зашумевшим бором.

— Эгей! Эге-ге-гей! — скликали друг друга разбредшиеся кто куда отдыхающие.

— Сергей, Сергей, — услышал я невдалеке тревожный голос матери. — Куда мальчишки подевались?

А мы с братом уже что есть силы мчались к машинам по тропинке разом потемневшего и ставшего холодным леса.

Птахи умолкли. Люди суетились, как попало скидывая в кузов вещи и сумки. Туча облапила весь лес и царапалась о верхушки сосен.

Казалось, почти рядом, над головой, беззвучно полыхнул толстенный, ослепительный кривой шнур. Тут же, почти без паузы, грохнуло так, что машины, показавшиеся призрачными в белом свете молнии, будто подскочили на месте. Истошно заорала женщина:

— Ой-ей! Ма-а-а-амочки!

Стало совсем черно. Отдыхающие волокли куски фанеры, дергали в стороны, расправляли серый, железно похрустывающий брезент. Иные кинулись под машины.

То тут, то там мелькала фигура брата. Он метался в каком-то диком и сладком восторге.

Еще раз трахнуло, и вдруг вместо дождя из тучи посыпался град. Округлые куски льда падали из тучи,

пробивали легкие крыши продуктовых палаток, крушили стекла кабин и фары автомобилей.

Раздались уже по-настоящему истошные крики.

Град, короткий, яростный и беспощадный, закончился так же неожиданно, как и начался. Люди недоуменно смотрели друг на друга шальными глазами, едва приходя в себя после случившегося.

Туча, сразу похудевшая, тихо ворча, уползла за верхушки сосен.

Машины тронулись в обратный путь. Мокрые, дрожащие от холода и пережитого в этот июньский день, люди, кое-как укрывшись пиджаками и брезентом, возвращались в город.

Я сидел рядом с отцом, а брат — между теткой и матерью. Он несколько раз суетливо давал им пощупать на своем затылке набитую шишку.

Около здания клуба Кирова, черневшего темными провалами выбитых окон, собрался народ. Круглые уличные часы с полувыбитым циферблатом и погнутыми стрелками показывали без двадцати четыре.

Машина остановилась. Старушонка, похожая на бабу-ягу, говорила в толпе:

— Сроду такого не помню. Батюшки, страсть-то какая: чисто зверюга налетел!

Подумала, покивала костистой головкой под беленьким платочком, и добавила:

— Не иначе, быть войне.

Пожар на нефтебазе

Много бед наделал неожиданный град. Охали хозяйки над погубленными грядками, мужики почесывали затылки, осматривая побитые стекла и про-

ломленные крыши. В нашем доме обошлось вроде благополучно, если не считать семи бабушкиных крынок под молоко, которые она выставила «проветряться на ветру». Град искрошил их на мелкие куски. И все бы это ничего. Но, как говорится, беда не приходит одна!

Стемнело. Мы с братом забрались на сеновал. Не спали, вспоминая прошедший град. Олег уже в который раз давал мне потрогать шишку на своем затылке. Она затвердела, словно грецкий орех.

Я лежал на спине и бездумно смотрел в небо. Еще днем дед принялся ремонтировать крышу и не успел заделать несколько досок. Сквозь широкую щель проглядывала плотная темнота.словно кто-то невидимый кинул на всю Нахаловку кусок мягкого черного бархата, на котором перемигивались блески звезд.

— Д-а-а! — мечтательно протянул брат. — Сейчас бы к отцу в Мурманск, на крейсер!

— Ты был?

— А то!

Я даже в темноте почувствовал, как его губы сложились в самодовольную улыбку.

Олег часто вспоминал о своей жизни на севере, оснащая повествование такими подробностями, что вся их невероятность была видна даже мне. Ну как он один, к примеру, мог спасти водолаза с сорокаметровой глубины?!

Густая чернота в проеме начала вдруг светлеть, становясь розовой. Розовость набирала сочность и яркость.

— Алька, смотри! Это же северное сияние!

Брат сел, внимательно разглядывая свечение.

Вдалеке резко ударили металлом о металл.

— Дура! — заорал брат. — Какое это сияние?!
Пожар!

Звонили уже без перерыва. Послышались крики. Олег метнулся с сеновала. Я — за ним.

Красное зарево разрасталось быстро, охватив уже все небо в стороне реки. На крыльцо выбежал отец, натягивая кожаную тужурку. За ним — дед. Они стояли, задрав головы вверх. В стеклах отцовских очков тоже полыхало два маленьких зарева.

Дед по лесенке забрался на сенцы:

— Господи-святые! Нефтеналивка занялась! Чего же это делается?!

Он быстро сполз на землю и кинулся к конюшне.

Металлический набат все гремел, и я, наконец, сообразил, что звук доносится от кузни Якимова. Именно там я видел подвешенный на столбике ржавый кусок рельса.

Брат, отец и я двинулись к калитке.

— Ворота, ворота откиньте!

Дед вывел из-за конюшни Аркашку, запряженного в водовозку. Мерин тревожно ржал, вскидывал голову, шарахался в оглоблях и никак не хотел идти со двора.

— Н-н-но! Нечистый! — гаркнул дед и перетянул Аркашку по крупу длинным концом вожжей.

Мерин присел на задние ноги и вымахнул в открытые ворота. Водовозка загромычала на ухабах в розовом колеблющемся полумраке.

— Бежим! — крикнул Олег.

И мы, подчиняясь непонятному зову, бросились в проулок, который вел к нефтебазе.

В проулке к нам присоединились Стрехотов и Глызов. Глызов рявкнул на маячившую за палисадником Зинку:

— Сидеть дома! Со двора ни шагу!

Через минуту я увидел бегущего впереди нас коренастого и косолапого Якимова.

До нефтебазы было недалеко, с полкилометра. Но даже с такого расстояния был слышен треск, что-то лопалось.

Промчался конный обоз пожарников в надраенных медных касках. Провыла сирена санитарной машины.

Из-за поворота показался двор нефтебазы. Она была неправдоподобно маленькой, словно горели игрушечные домики.

Огромные белые нефтеналивные цилиндры свечками торчали среди полыхающих построек, конторы, складов, подсобок. Гудящие оранжевые хвосты пламени, залпами вылетающие из середины пожарища, мели по стенам баков.

— Отрубай огонь! — кричал человек в военной форме.

Это был Софронов, лицо его было черным от сажи. Он отдавал распоряжения солдатам, которые по цепочке передавали ведра и вышлескивали воду в огонь. Пожарники торопливо раскатывали брезентовые рукава.

Кто-то сунул в руки отцу багор. Рядом прыгал Олег:

— Дакось, я, дядь-Сереж! Дакось! — захлебываясь, бормотал он, пытаясь вытянуть багор у отца.

Пронзительно-громко рядом закричала женщина:

— Вентилиа перекрывай!

Якимов метался у раздаточной:

— Спускай остатки! Под косогор их!

Что-то хлопнуло, и в белой стене бака возникла огромная дыра, а над головой с шорохом просвистело и позади хлопнулось что-то тяжелое. Стоявший рядом кособокий домишко занялся сразу, как спичка.

В эту минуту я увидел деда. Он стоял на передке водовозки и подавал Якимову полные ведра, воду из которых кузнец и еще несколько человек выливали на стены соседних домишек.

Снова полыхнуло, стало светлее, словно включили мощную лампу. По косогору к реке потек ручей огня. Берестой занялись плоскодонки, лежавшие на берегу вверх днищами.

Плавающим костерками запылала лодка у берега. А следом вспыхнула вода.

Зрелище было жутким и... красивым. Огонь взлетал яркими пучками разноцветий, исчезал, появлялся снова то тут, то там.

Наконец из медных наконечников брандспойтов ударили тугие жгуты воды, отсекая от огня жилые домишки, столпившиеся вокруг догорающих построек нефтебазы.

Скоро огонь начал спадать.

В суматохе я потерял отца и брата. Огляделся и подбежал к водовозке. Дед все черпал и черпал воду из бочки. Увидев меня, крикнул:

— Придержи мерина!

Аркашка ржал тревожно и звонко, пытаясь вывернуться из оглоблей. Я ухватился за уздечку, погладил коня по шерсти: она оказалась влажной и горячей. Конь успокоился.

Прошло еще немного времени. Огонь сбили совсем. Сразу стало непривычно темно. Софронов скликал солдат, организуя охранение.

Подожли отец с Олегом. Оба были чернее ночи. На спине отцовской кожанки светлело рыжее пятно. Брат суетился и совал мне под нос грязные руки:

— Во, гляди! Ожог первой степени! Софронов сказал, что меня в госпиталь надо. Мы с ним помирились. А дежурный слесарь на вентилях сгорел. Сам видел! Вот ей-бо!

Все это Олег выпалил без передышки и тут же опять умчался куда-то в темноту.

Около деда появилась Маруся. Голова и половина лица у нее были перевязаны белой тряпкой. Рядом нервно затягивался папирсой Стрехотов.

— Иди, иди домой, девушка! Скажи Марии да Томке, чтобы лицо топленным маслом смазали. А то ведь спортишь кожу-то! И пусть с узлами не колготятся. Теперь не сгорим!

— Да, — сказал подошедший Софронов, — обошлось вроде!

Незнакомый мужик поддакнул:

— Мазуты всего ничего было, да и то в одной баке! А то бы...

Мужичок замолчал, сосредоточенно затягиваясь самокруткой, а я представил себе, чем мог кончиться пожар, будь полными нефтеналивные баки. Страшно подумать: сгорела бы Нахаловка. И Большая, и Малая.

Молчавший до сих пор Якимов снял картуз, погладил коричневую лысину и задумчиво сказал:

— Вот оно как, ежели всем обществом навалиться, да по уму. И огню каюк!

«Если завтра война...»

Знойное марево стояло над городом, Нахаловкой. Бабушка бродила по огороду, ворчала на жару, на отсутствие дождей, на торговку, всучившую ей негодный севок.

Лето было в разгаре. Время купаний. На песках нефтебазовского пляжа было не протолкнуться. Не только нахаловская публика, но и городские отдыхающие тянулись на заманчивую прибрежную полосу.

В один из таких дней вернулся из командировки по своим книжным делам мой отец. Колоколец в сенцах словно кто-то перепугал, так он встряхнулся и заголосил. Мама выбежала на крыльцо. По деревянным плахам дорожки от ворот шел, улыбаясь, поблескивая стеклами очков, отец. Тужурка полувоенного фасона ладно обтягивала его грудь.

За столом взрослые сидели чинно, выпив по стопке необыкновенного вина, которое привез отец.

— Скажи, Сережа, как жизнь там? Лучше или хуже нашей? — спросил дед, внимательно наблюдая, как зять разминает тугой патрон папиросы.

— Как сказать, Григорий Ильич? По-всякому! Урюка, к примеру, яблок — невпроворот. А картошки нет!

— Э-э! Без нее не жисть!

Дедушка поскреб седой короткий ежик волос и посмотрел на бабушку:

— А ты говоришь, мать!

— Чего я говорю? Ничо я не говорю! Хорошо в Сибири! Куда лучше!

Дед засмеялся:

— Эх, Прасковья, все-то ты довольная и, опять же, недовольная!

Отец рассказал про железную дорогу, проложенную в сыпучих песках, про то, как среди пустыни несколько раз останавливался паровоз, не совладавший с пыльной бурей, как местные жители на своих верблюдах запросто обгоняли медленно тянувшийся поезд.

Легли спать поздно: отец добрался до недавно купленного патефона, и сумеречные окрестности Нахаловки заполнил задиристый голос Руслановой и грустно-мечтательный речитатив Шульженко...

— Трам-та-та-та! — очень похоже на военный горн протрубил отец. — Вставай, вставай, штанишки надевай! Купаться! На природу!

Мы с братом кубарем скатились с сеновала.

Хотя походы на Обь и купанья были нам не внове, прогулка предстояла интересная. Мы шли с отцом. С матерями и с дедом ходить купаться было не так здорово.

Кривыми переулками спустились к берегу. И вот она, Обь, широченная, тихая и ласковая. Зеленоватая вода казалась умиротворенной, тихой. Белые пароходики бежали по ней, перекликались. Эхо гудков металось и глохло в нагретом синем и вязком воздухе.

— Хо-ро-шо! — отец сбросил тенниску, раскинул широко руки, и я увидел, какой он загоревший, а литые мускулы — как у кузнеца Якимова.

— Ну, команда, особого приглашения ждете?

Мы вмиг сбросили штаны и рубашки.

Нефтебазовские пески нас не устраивали: уж больно людно там было и, к тому же, сильно тянуло гарью после недавнего пожара. Мы выбрали чистый песчаный берег, кое-где засыпанный сухой сосновой корой. Народу почти не было.

Недалеко, закончив смолить свой челнок, возился Тыра-Матыра, старясь безуспешно столкнуть его в воду.

— Подмогнем, дядь-Сереж? — спросил Олег.

— Подмогнем!

Тыра-Матыра, нарушив свой обычай, был «под мухой» с утра. И ему хотелось, верно, вышить еще.

Когда челнок закачался у берега, рыбак начал затравливать отца:

— А слабо тебе, Иваныч, через Обь махнуть?

— Это почему же?

— Да потому! Жидковато!

Отец «завелся»:

— Спорим!

— По рукам! На бутылку. Идет?

— Идет!

Отец сказал:

— Только давай за лодкой. На всякий парадный!

— Годится!

Олег тут же заблажил:

— Дядь-Сереж, а мы? Мы тоже в лодке! Ладно?

Родитель мой уже вошел в азарт:

— Давай, давай!

Мы прыгнули в утлый челн. Тыра-Матыра, оттолкнувшись веслом, развернул лодку в простор реки.

Отец шел за нами по мелководью, а когда вода достигла груди, снял очки и протянул их брату. Потом скользящим движением лег на воду и поплыл, равномерно взмахивая руками.

Я с интересом наблюдал за отцом. Сам я плавать не умел, и было занятно смотреть, как это он удерживается на воде. Я представил себя на месте пловца, подумал о многометровой глубине под ним и вспомнил книжку про дворника Герасима и Муму. Сразу стало жутко и холодно. А отец знай себе взмахивал руками да плыл и плыл метрах в десяти от лодки, перешучиваясь с нашим гребцом.

Тыра-Матыра в долгу не оставался, подначивал:

— Утопнешь ведь, книжник! Тыра-Матыра!

Рыбак подгробал веслом, и перегруженный челнок, едва не черпая низкими бортами зеленую воду, при-

ближался к отцу. Мы с Олегом сидели, вцепившись в хлипкие боковины лодки. Мимо неслась, свиваясь пенными жгутами, вода, издали казавшаяся такой тихой и ласковой.

Тыра-Матыра вспотел. Выпитое вино ослабило его. Даже привычный труд давался нелегко.

Мы уже миновали фарватер, и до противоположного берега оставалось метров десять, когда брат, все время наблюдавший за отцом, вскочил в лодке и радостно заорал:

— Все, дядь-Сереж! Выиграли!

Челнок не выдержал такого бурного выплеска энергии, зачерпнул бортом и вмиг перевернулся. Я плюхнулся в воду, даже не успев вскрикнуть. Глаза были открыты. Перед ними колебалась и плыла в сторону зеленая муть.

Кто-то, вроде брат, схватил меня за руку и выдернул из воды. А дальше... Дальше я толком ничего не помнил.

...Глаза разлеплялись с трудом. Меня долго тошнило, и где-то рядом громко ругал Олега Тыра-Матыра. Он выловил свой предательский челнок и погнался обратно через Обь, которая теперь не казалась уже тихой и ласковой.

Потом мы с отцом и Олегом тащились около километра до понтонного моста и перебрались на свой берег.

Брат шел впереди и громко о чем-то говорил. Я глядел на его лицо и не мог понять, что с ним произошло. И вдруг сообразил, что Олег напялил отцовы очки, которые ухитрился сохранить, когда лодка перевернулась.

Через час отец с Тырой-Матырой пили на берегу водку, закусывали холодной вареной стерлядью и выяс-

няли, кто из них все же выиграл спор. Потом мы шли в одних трусах по Нахаловке и отец нес низку копченой рыбы.

Этот жаркий июньский день был прощанием с беззаботным детством, которое до нынешнего дня летело и летело мне навстречу. Завтра, в воскресенье, началась война.

Великая Отечественная...



Тамара Петрова

Детство поднималось над бедою

...А детство поднималось над бедою,
Кормилося крапивой, лебедеою,
Голодное, звенело и смеялось
И где-то в доброй Душленке осталось...

ойна мимо нашей станции Душленской катилась туда и обратно. На Запад — с пополнением для фронта, на восток, в Новосибирск, ехали эвакуированные заводы и санитарные поезда. Мы махали с откоса тем и другим. Махали осенью 41-го. И летом 42-го. И в мае 1943-го все так же стучали мимо нас поезда.

Совсем перестали ходить соседки к моей бабушке на посиделки. Из совхоза почти все мужики ушли на фронт, остались старые да малые. Всю работу справляли в основном бабы. К вечеру бредут усталые к своим дворам и только на минуту у палисадника окликнут бабушку:

— Никоновна, у тебя как?

Бабушка кратко отчитывалась:

— Семен воюет. Два Ивана воюют. Надежда служит.

— И мой папка воюет, — непременно встревала я, если была поблизости.

— Ну, слава Богу!

Мы понимали, что слава воздавалась Богу за то, что на этот день не пришло никому похоронки. Мы — это шестеро внуков. Дядя Сеня, уходя на войну, оставил на бабушку свою дочь Надюшку — ей сейчас четыре года. Мне только что «стукнуло» пять. Еще четверо — старше нас, по годам, как по лесенке, друг за другом. Тетя Тася с мужем (ее Иван летчик) где-то на Севере, а их Сашка с Вовкой здесь. Тетя Маруся, проводив своего Ивана на фронт, тоже двоих подкинула — Борьку и Витьку. Потому что, как объяснила нам бабушка, «она в Новосибирске круглосуточно занята обороной». Тетя Надя служит, ее служба называлась ВПСП — военно-почтовый сортировочный пункт — и через него идут все письма на фронт. А младший сын бабушки Леонид, которому сейчас шестнадцать, тоже в Новосибирске, работает в вагонном депо.

Как-то одна из соседок задала конкретный вопрос:

— Мария, что там у Дуси?

Бабушка перекрестилась:

— Наконец-то устроилась, горемычная, на работу. Взяли писарем куды-то в Сиблаг.

— Может, там что про Илью узнает?

— Да что ты, где теперь Илья, один Бог ведает...

Мои ушки сразу «на макушке», как только прозвучало имя Дуси. Это моя мама, она жила в Новосибирске. «Кто такой Илья и что надо про него узнать?» — завертелся у меня вопрос в голове.

Спустя некоторое время мы с Надюхой месили босыми ногами в широкой деревянной шайке глину с конским навозом. Этой смесью бабушка каждую весну

обмазывала снаружи дом. Потом белила его, добавляя для цвета то синьку, то свекольный сок, то отвар крапивы.

И тут я спросила:

— Баб Маш, а где сейчас Илья?

Она внимательно посмотрела на меня, наклонилась, долив в шайку очередную порцию воды, и показала пальцем вверх:

— Вот когда он по небу начнет кататься в колеснице, загрохочет громом, тогда ты сама увидишь, где Илья. Забыла, что ли, про Ильин день? В августе он. А нонче май. Давай, работай.

Наверно, мне было вполне достаточно такого объяснения. Про Ильин день все дети в деревне знают. Например, сено сметать в стога надо было до этого дня, чтобы не угодить под проливные дожди. Словом, я тут же забыла про Илью и больше о нем не спрашивала.

* * *

Из Новосибирска иногда приезжала тетя Маруся, привозила письма от дяди Вани, который оберегал Москву, служил там в артиллерии ПВО. Письма были длинные, обстоятельные, почитать их приходили соседи и родня. Слушали, обсуждали и комментировали каждую строчку, смеялись и плакали.

«...Получил посылку от тебя очень кстати, — писал дядя Ваня. — Зря ты продукты посылаешь, нас кормят нормально, а вам самим там трудно. А вот за трусы, папиросы и табак большое спасибо... Ты там себя береги, поменьше форси, получше одевайся. Твою просьбу насчет гребенки постараюсь выполнить, но пока нет и перспектива на это плохая».

Все было понятно про трусы и табак. И про гребенку тоже — потому что у тети Маруси была длинная густая коса и гребенки часто ломались. Но что такое «плохая перспектива», мне было непонятно.

«Сводка за сегодняшний день расскажет об исключительных успехах наших войск», — писал он в одном письме. А в другом признавался с сожалением: «...правда, немцы еще очень сильны, у них много, даже очень много танков и авиации, но все это не то, что было прошлый год. Они вот уже больше месяца на южном фронте наступают, но пока топчутся на одном почти месте... а это говорит за то, что и у нас кое-что есть. Быть может, июль-август немчура еще будет активничать, а там дальше, поверь мне, мы их погоним...»

— Ой, бабоньки, нет, не управятся наши с немцами к осени, — не соглашалась с Иваном одна соседка.

— Кому виднее — ему или тебе тут, в Душленке? — тут же перечила другая.

И сходились на том, что у Гитлера сил еще много и кровушки нашей он еще попьет немало. Как в воду глядели: прошла осень — и Гитлер навис над Сталинградом. Но этот, 1943 год, начался с радости — немцев все-таки погнали и здорово побили на Волге.

А недавно привезла тетя Маруся письмо — на конверте ее адрес, а в конверте желтый листок со словами: «Здравствуйте, Витя и Боря!» И все дальше — только им, никому больше. Написано, как их папка борется против озверелых фашистских людоедов, как он обещает разбить им морду. И еще такие важные слова, каких он раньше не писал: «Живите дружно, растите крепкими большевиками для устройства лучшей жизни для трудового человечества, учитесь классовой ненависти к пора-

ботителям нашего народа. Слушайте маму и любите ее. Ваш папа». И роспись.

Как же плохо мне было в тот раз! Я в подушку плакала, все думала: почему мой отец не пришлет мне такого письма с фронта? Подошла бабушка, сунула мне в рот осколочек кускового сахара, стала гладить по голове. Говорила, что полдеревни воюют, но не все могут такие письма писать — кто в окопах, а кто раненый или без вести пропавший. Надо понимать — это война. А еще бабушка похвалила меня за то, что я смазываю в клубки шерсть, из которой она вяжет носки для солдат: значит, и мои руки фронтугодились.

Прялка стояла на лавке, привалившись куделькой к стенке. Бабушка садилась на ее лапу, и прялка, как солдатик, выпрямлялась. Поплевав на пальцы, бабушка начинала терзать колючее пушистое гнездо, вытягивая тонкую прядку, скручивала ее вместе с суровой ниткой в одну, лохматую, толстую, и она ровнехонько навивалась на веретено, которое крутилось в другой руке. Завораживающее зрелище.

Потом появлялись спицы. Если варежки нам — то с одним пальцем. А если на фронт — то вывязывались два пальца. В таких варежках бойцу удобно было стрелять: второй палец нажимал на курок. Об этом все дети в деревне знали, потому что вязаньем занимались почти в каждом доме.

Куделя на прялке уже давно манила нас с Надюхой — так хотелось пришить на тряпочную куклу настоящие волосы. И однажды мы все-таки решились. Взяли ножницы и отрезали от пучка шерсти снизу большую полосу во всю ширину. Этого нам хватило аж на две куклы. Утром мы проснулись от бабушкиного вопроса:

— Ну и как же мне теперь прасть?

Вместо «потеряла», «напряла» бабушка говорила «потерала», «напрала». Почти все в Душленке были выходцами из Белоруссии, приехали когда-то сюда строить железную дорогу и нашу станцию и говорили на смеси русского и белорусского.

— А ну, быстро наводите порядок и за стол. Но пряников не получите!

Вчера тетя Маруся привезла кулечек городских пряников, нам дали по два к чаю и на утро оставили по одному.

* * *

С приходом весеннего тепла дел у нас прибавилось: пошла молодая крапива. Ее нужно рвать, намотав на руку тряпку, чтобы не обжечься. Бабушка варила из крапивы суп или сушила. И лебеда тоже шла в суп. Она не жалила, зато была противная, крахмалисто-липучая. И довольно часто мой кулак, зажимавший стебель, соскальзывал до самой макушки и в руке оставалось зеленое месиво.

Позже ходили за татарником. Эти редкие кустики с красными цветочками мы звали мыльником: если цветы растереть в ладошках, получалась мыльная пенка. Или отправлялись за деревню к небольшому озерку, вокруг которого росло много осоки. Мальчишки надергивали нам с сестрой целые пучки, и мы жевали их нижние белые части, сладковатые и сочные.

Душленская — это и железнодорожная станция, и совхоз, и новая деревня вдоль линии, и в трех километрах от нас остатки старой Душленки. И везде слово «фронт» было главным. Отсюда увозили зерно и мясо, валенки и тулузы. Летом наши деревенские собирали лесную клубнику, сушили на солнце на растянутых

простынях. Потом подсушивали, вялили смородину, за ней шла черника. А бруснику и клюкву просто заливали колодезной водой в маленьких бочках. Все это отправлялось в Новосибирск, в госпитали.

У нас была корова Любка. Бабушка и другие соседи каждый день сдавали надои на «молоканку». Там сепаратор отделял сливки и оставался обрат — голубенькая мутная водица.

— Вот и ладно, — говорила бабушка, — фронту нужно масло, а нас и так Любка прокормит.

Как получается масло, мы знали. Иногда бабушка усаживала нас с Надюхой на тулуп, расстеленный на полу. Мы вытягивали ноги, клали на них подушки, и бабушка осторожно опускала на них заткнутые бутылки со сливками. Мне большую, называлась четвертью, а сестре поменьше. Мы катали по подушкам эти бутылки — вперед, назад, и на стенках внутри начинали налипать маленькие желтые комочки. Это было сливочное масло. Надо катать бутылку до тех пор, пока все масло не собьется в одну кучку, а под ней останется прозрачная лужица — сыворотка. Масло тратилось по ложечке, только чтобы приправить еду.

Любимой у всех нас была картошка, но и ее не хватало вдоволь. Мелкую бабушка пускала на драники — картофельные оладьи, а крупную запекала целиком с кожурой в русской печке, а то варила в чугуне тоже нечищеную, в мундире. Большим лакомством считался кусочек жмыха. А как ждали праздников! Чтобы поесть ржаных пополам с отрубями пирогов с капустой. Чтобы «раздеть» горячую картошку и макнуть в блюдце с подсолненным коношляным маслом. Такой вкусноты я больше никогда не ела, ни разу больше не пробовала и ароматного коношляного масла.

А еще ждали праздников потому, что в те дни собирались вместе к Писечихе, к нашей бабушке, Писецкой Марии Никоновне. И как же здорово пели наши душленские! Вели три, а то и четыре партии, с подголосками и вздохами, с опаздывающими на пару слов повторами, со сложными переходами и ступеньками. Пели русские, украинские, и почти все они были старинные. Когда бабушка высоким голосом выводила:

Жена найдет себе другова-а,
А ма-а-ать сыночка никогда, —

у нее по щекам текли крупные слезы. Пели и плакали другие женщины: знали, многие теперь будут видеть своих сынов только на довоенных фотокарточках...

* * *

А я с большим удовольствием хожу в школу к бабушке. Она работает там уборщицей. Пока урок не кончился, она моет окна и двери, а я осваиваю букварь — не хочу отставать от Витьки, который уже учится в первом классе. Но вот бабушка вынимает из кармана довольно крупный колокольчик и отдает его мне. Значит, пора! Выскакиваю с ним на крыльцо — и по всем окнам бьется медный звон. Перемена! Идут последние учебные недели. Скоро каникулы.

Той весной все пацаны нашей деревни мастерили одно и то же — луки со стрелами. Стрелы были с жестяными наконечниками, свернутыми в крохотные кулечки, а на хвосте — перья: голубиные, вороньи, сорочьи — кому что попало. Запускали их в стенки сараюшек или в стволы старых берез. Старшие угоняли стрелков от греха подальше на большую поляну в конце деревни.

В один из дней увязались за братьями и мы с Надюхой. Та поляна была устлана желтым одуванчиковым ковром, и мы сидели в сторонке и плели из цветов венки. Мою голову уже украшал желтый пушистый обруч, теперь я делала такой же для сестренки. А мальчишки запускали стрелы вверх: чья выше!

Вдруг острая боль пронзила меня от головы до пяток! Сразу и не сообразила, что это чья-то стрела, набрав высоту, возвращалась на землю и — черт ее побери! — выбрала мою макушку. Дико взвыв, я вскочила и полетела через всю деревню к бабушке в школу. За мной — все остальные и еще попутчики, выскакивающие из дворов. К школьному крыльцу мы примчались орущим стадом, и я впереди: на голове — стрела с пером, на шее — венок из одуванчиков.

Все ученики и учителя высыпали во двор. Еще бы! И я никак не могу в этой толпе разглядеть сквозь слезы мою спасительницу-бабушку. Но она уже рядом. Хватает меня в охалку и бежит к дому. Там притыкает меня к стенке сараюшки, забегает внутрь и выхватывает из-под наседки яйцо.

В следующее мгновение бабушка уже сидит на колоде, где рубят дрова, а я стою солдатиком — руки по швам, крепко зажатая меж ее колен. Она выдергивает стрелу из макушки и тут же, раздавив яйцо, заливает рану теплым белком. Сдергивает с себя платок, перевязывает мне голову.

Только теперь, прижав меня, дрожащую, к груди, произносит первые слова тихим осипшим голосом:

— Упаси, Господи! Не хватало еще Дуняшке потерать дите, как Илью.

Но спрашивать про Илью у меня уже нет сил — от всего пережитого я проваливаюсь в забытье.

* * *

Только-только распечатали январь 1945-го. Еще идет война, но уже за нашими границами. А советские города освобождены от фашистов. И снова через нашу станцию идут поезда с эвакуированными. Только теперь в другую сторону — на запад: люди возвращаются в родные места. Уехала в Москву и тетя Маруся, забрав Борю и Витю. Уехали к отцу.

А я еду в Новосибирск. Сегодня воскресенье. Утром меня разбудила мама. За ее спиной стоял кто-то в шинели.

— Томочка, вставай! Папка с фронта вернулся!

День промелькнул мигом. И мы втроем едем в город. Стучат колеса пригородной. До свиданья, Дупленка! Я буду жить в Новосибирске и осенью пойду в школу.

Мне тогда казалось, что еду от войны к новой жизни. И не предполагала, что все как раз наоборот: из-под теплого бабушкина крыла еду к войне и очень скоро почувствую ее совсем близко.

Трамвай мне понравился сразу. Он быстро пробежал от вокзала до нашей остановки Поселковой. Потом мы немного вернулись назад, прошли мимо двух домов, а третий, повернутый торцом к трамвайной линии, был наш. Поднялись на второй этаж. Длинный коридор и много дверей по обе стороны.

— Видишь, сколько соседей будет у нас, со всеми надо здороваться, — сказала мама.

В самом уголочке коридора открыли дверь, и, перешагнув порог, я почти уткнулась в печку.

— Проходи вперед, дочка.

Длинная узенькая комнатка упирается в окно. Иду к нему, в темноте что-то колючее сбоку царапает мне

щеку и руку. Сзади щелкает выключатель — и передо мной появляется чудо! Такого еще в жизни я не видела. Это была маленькая растопыренная сосенка, украшенная крохотными кусочками ваты, как снегом, но какая! На ее лапах висели цветные флажки, цепочка из бумажных колечек, пара грибов из ваты и на макушке — звезда, тоже бумажная. И хотя все сделано из покрашенной газеты, это не имело никакого значения. Так состоялась моя первая встреча с новогодней елкой. В деревне никто елок не наряжал, просто ходили по дворам, дурачась, угощали друг друга. Утром, раскрыв глаза, я увидела это чудо снова, и ощущение праздника наполнило меня. Город уже начинал мою новую жизнь.

Смотрю в окно: справа и слева — по паре домов, как наш, а внутри двора — длинный ряд сараюшек. Перехожу в кухонную часть комнаты, к окну напротив печки. Здесь совсем другой вид: маленький домик — водокачка, люди стоят с ведрами. За ним — дорога, трамвайная линия и уходящее вглубь ровное снежное поле. С левой стороны от поля стоят домики в два этажа, с правой стороны — длинные дома, похожие на сарай. А там, за полем, вдалеке, как на белом облаке, плывет красавец-дом — высокий, этажей пять или шесть, красного цвета и необыкновенной длины. И тогда я подумала, что в городе специально строят дома длинные, чтобы они отличались от наших, деревенских.

В дверях прочирикал ключ: чирк-чирк! И вошла мама.

— Давай пообедаем, и я опять побегу на работу. Завтра возьму тебя с собой, так что рано разбужу.

Мама работала в ателье и делала машинную вышивку. Было очень интересно наблюдать, как из-под иголки на ткань ложились строчки, образуя узоры или плотные кра-

ешки вырезанных дырочек. В тот же день мне показали разные швы ручной вышивки: стебельчатый, тамбурный, крестиком — и я с упоением стала работать над пяльцами. Мне нравилось ателье — маленькое доброе женское царство. Нравилось, что они все время пели. Оказалось — репетировали. В воскресенье их ждут в госпитале.

Взяли и меня. Разошлись по палатам, а меня отдали какой-то бабуле. Мы сели в маленькой комнатке на клеенчатую лавку. Я держала и расправляла по краям бинт, а бабуля сворачивала его в длинный рулончик. Бинты чем-то резко пахли, их было много, мы долго их крутили и складывали в кастрюлю.

Потом бабуля принесла мне стакан чая и длинненький кусочек хлеба с маслом. Сказала, что это самый вкусный хлеб — пеклеванный. Такого названия я никогда не слышала, но хлеб действительно оказался очень вкусным. Потом она положила на лавку большой узел с ватой, открыла его сбоку, отщипнула кусочек и скатала в ладонях шарик.

— Называется «тампон». При операциях — первое дело. Соображаешь?

Это я сообразила. Но мы снова работали с бабулей: отщипывали вату, скатывали и кидали в другую кастрюлю.

Потом шматочки ваты накручивали на кончики тонких палочек. Это мне давно знакомо:

— Что, уши будете чистить?

— Нет, детка, это чтобы макнуть в йод или в марганцовку и помазать.

Мама все не шла, а у меня уже устали руки. Бабуля велела пройти коридор до конца и обратно, чтобы размяться. Пошла. Где-то двери были закрыты, где-то открыты, и я заглянула туда. Большая палата, кроватей

пятнадцать, на каждой кто-то лежит. Возле следующей открытой двери меня окликнули:

— Красавица, заходи в гости!

Мне понравилось обращение, и я вошла. Тут кроватей было еще больше. С той, что напротив двери, мне машет рукой раненый. Подхожу ближе. Дядя с усами и с такими далеко оттопыренными ушами, что просто смех! А голова перебинтована: через макушку и подбородок — широкое белое кольцо.

— Ты прошла туда и не заглянула. Теперь идешь обратно, и я тебя позвал, — объясняет он.

Стою и улыбаюсь, глядя на его уши. А дядя вдруг срывает с головы повязку, — это оказалось простое полотенце, — и уши его становятся нормальными. Я настолько поражена этим превращением, что не замечаю, как хохочет вся палата.

А потом я им пела. «Чайка смело пролетела над седой волной». И «Любимый город может спать спокойно». И ту, что пели по радио Утесов с дочкой:

Так прощай, мой родной, паренек дорогой,
Береги же родные края.
А вернешься домой — мы станцуем с тобой,
Гордая любовь моя.

После этой песни дядя-ушастик как-то выдохнул со стоном и попросил:

— Давай еще раз эту же.

Я снова запела. Но тут появилась бабуля, с которой мы раздергивали вату, подошла к дяде, поправила подушку и погрозила ему пальцем:

— Не раскисай, сынок! Мово вовсе убило. Насмерть. А тебе деревянные ноги сделают. И танцевать будешь? и детей нарожаете.

И только теперь я замечаю, что у него под одеялом короткое тело, а дальше — гладкая ровная кровать...

Когда мы возвращались в трамвае домой, я спросила у мамы, почему они не пели, я бы услышала. Ответила тетя Нина:

— Это было отделение лежачих, а у них сегодня банный день. Мы возили их в ванную, мыли, потом везли в палаты. Так что было не до песен.

Зато в следующие дни они пели. На два голоса, так здорово, им всегда долго хлопали. Правда, некоторые одной рукой по колену: не было второй руки. А у кого-то красные обожженные культы. У многих возле кровати стояли костыли. И хоть у меня, когда я глядела на раненых, внутри шевелился какой-то ледяной колючий комочек, все равно, если просили — пела. Но главная моя работа была все та же: бинты, тампоны.

В ателье из гладких кусочков ткани нарезали заготовки для кисетов. Я заправляла их в пяльцы и вышила что-нибудь: звездочку, солнышко, ягодку. И слова: «Дорогому бойцу». Потом эти заготовки сшивали, продергивали веревочку, затягивая верх, и получался отличный кисет. Так что теперь я ходила к раненым с подарками.

* * *

К весне для меня дали место в детском саду. Мама была довольна. У ребенка будет нормальный режим дня, не надо таскать на работу. А я получила новый источник информации, о которой даже не догадывалась.

Детский сад стоял как раз перед тем красным многоэтажным домом, который был виден из нашего окна. В первый же день, когда мы гуляли вокруг детсада, я показала рукой через трамвайную линию:

— Вон мой дом, боком к водокачке стоит.

— А вы откуда эвакуировались? — спросил меня какой-то пацан.

— А мы ниоткуда, я в деревне у бабушки жила.

Мне тут же объяснили, что все дома здесь построили люди, которые приехали в первые месяцы войны, те самые, эвакуированные. Длинные, одноэтажные — их называли бараками.

— А твои родители где работают — на 109-м или 564-м? — спрашивали у меня.

Но я ничего не понимала в этих номерах, и мне опять объясняли, что это заводы, которые делают для фронта снаряды и что-то еще. С этой ошеломляющей новостью я прибежала домой:

— Мам, а ты знаешь?..

Об этом она, оказывается, знала.

Еще одну страшную новость открыл мне Юрка. Он учился уже во втором классе и после школы приходил в детсад, потому что здесь работала его бабушка. Этот мальчик сказал мне, что у нас на улице живут пленные немцы, их колонной под охраной водят на работу и с работы. Для меня это был гром среди ясного неба. Немцы! Настоящие! Рядом с нами!

В тот день мы ушли из детсада вместе с Юркой. Он повел меня к баракам, которые стояли за остановкой Поселковой. Возле крайнего из них мы сели на лавочку. Подошли еще пацаны из Юркиной школы. Почему-то они ходили и подбирали с земли камни или палки. Потом, немного погодя, кто-то тихо сказал:

— Идут!

Все, как по команде, повернули головы налево. По шоссе к нам приближалась колонна каких-то людей. И когда они уже шагали мимо нас, я увидела сначала

ноги в странных ботинках, над которыми были намотаны тряпки. Потом я увидела их круглые шапочки с козырьком, тоже странные. Я ничего не понимала, ничего не чувствовала, только смотрела на эти ботинки и шапочки. Они все топали и топали, колонна была длинной. Мальчишки стали кидать в них палки, камни. Выскочила женщина, начала ругаться, и Юрка убежал за угол барака.

Я пошла за ним. Он пинал ногой глиняный бугор и повторял:

— Гады! Гады! Гады!

И эту новость я принесла маме. А она спокойно сказала:

— Знаю.

Потом в детсаду на меня свалилось потрясающее открытие. Однажды, когда я собиралась домой, рядом одевала свою девчонку женщина в ярко-красном берете. Застегивая дочке пуговицы на пальто, повернулась ко мне:

— Ну, как тебе живется с новым отцом? Не обижает? Он ведь тебе не родной.

Пулей понесла я эту новость домой. Распахнула дверь в нашу комнату — мама стояла в двух шагах от меня у печки. В одной руке крышка от кастрюли, в другой — ложка. Пробовала, видно, суп.

— Мам, а ты знаешь, ведь папка-то нам не родной!

Сначала я услышала какой-то стук. Это крышка с ложкой упали на железяку, прибитую на пол перед топкой. Потом я увидела бледное мамино лицо...

С того дня в нашей комнате поселилась какая-то тайна. Внешне ничего не изменилось, я по-прежнему звала его папой. Но внутри у меня завелся маленький непонятный зверек, который ко всему прислушивался и

присматривался. Например, я совершенно новыми глазами увидела свои детские вещи. На них стояли метки: чтобы было легко найти, если что-то терялось в детсаду. На моих было вышито: «Тома О.»! Папа с мамой оба были Писецкие. Тогда кто я?

В один из дней я возилась с куклами, а отец на кухонном столе что-то стриг ножницами. Когда я подошла к нему, он отрезал на фотокарточке какого-то красивого дядю. Кучка обрезков полетела в печку. На столе осталось штук пять снимков, на всех — одна мама...

* * *

К водокачке я ходила с бидончиком. Иногда вода текла не шибко, и тогда набиралась очередь. По разговору я уже понимала, откуда приехали сюда люди.

— ...Думала, не переживу эту зиму, не привыкшая я к морозам.

— ...А какие у нас арбузы на бахче!

Я не знала, что такое арбузы и бахча, но по интонации понимала, что там жизнь была совсем другой. И смешно было слушать говорок тети Жени, которая неизменно начинала так:

— У нас, в Таганроге...

Букву «г» она произносила с выдохом и получалось «в Таханрохе». Года через два она уехала в свой Таганрог. Уехали многие, но больше всех было жаль тетю Женю.

В то майское утро труба, как назло, выдавала нам воду тоненькой струйкой, так что народу набралось порядком. Мы с девчонками бегали, прыгали, радуясь теплу.

Вдруг над всем этим монотонным говором людей, тихим плеском водяной струйки, над ласковым утрен-

ним маревом, поднимающимся от просыхающей земли... над всем этим прозвучало слово «Победа!» Прозвучало неожиданно и громко! Кто сказал его? Подошедший за водой мужчина? Или из раскрытого окна пацан, машущий руками? Какие-то секунды длилось всеобщее молчание, потом оно взорвалось единым воплем: «Ура!» Начался полный хаос: люди кричали, плакали, смеялись, обнимались. Нас, детей, хватали и подкидывали вверх, а мы визжали от страха и восторга.

Забыв про бидончик, я помчалась домой.

— Мама! Победа! Мама! Победа!

Опять она ответила:

— Знаю. Только что по радио сказали.

И заплакала. Тихо-тихо, как будто шепотом.

Наступили сумасшедшие дни. Во дворах шли гулянки, люди плясали допоздна. А утром, по дороге на работу, обнимались со встречными, поздравляли с победой. Отец хорошо играл на баяне, и мамино ателье вместе с ним моталось по госпиталям с концертами. Я видела один раз, как раненый попросил баян и заиграл танго. А мама с отцом стали танцевать, лавируя между кроватями. У них это получалось очень красиво...

В том, сорок пятом, я не пошла в школу. Нас, почти двадцать ребятишек, вывезли из летних детсадовских дач в конце августа. На днище грузовика постелили одеяла, положили — и в Новосибирск, в инфекционную больницу. Тяжелая форма скарлатины, потом осложнения, еще какие-то напасти удержали меня в больничной палате аж до ноябрьских праздников.

Худую и зеленую, мама откармливала меня, как могла, вместе с только что родившимся братиком. Я плохо ела, и мама переживала, старалась сделать что-нибудь вкусненькое, питательное.

Помню зимние стояния в очередях за мукой, когда всю ночь отец с матерью дежурили, сменяя друг друга, а меня вталкивали в очередь под утро, перед открытием магазина. Помню замороженное молоко — толстые белые колеса с желтым бугорком в центре.

В городе появилось много калек, просивших милостыню в трамваях, возле бани и магазинов. К нам домой стали приносить шинели. Отец брался за подол, резкий взмах рук в стороны — и шинель разлеталась на свои составные части: спину, полочки, рукава. Все это летело в мою сторону. Сидя на маленькой табуреточке, я клала на колено кусок шинели и перочинным ножиком очищала швы.

Было видно, что вещи постирали, но все равно от колючего сукна пахло махоркой, мазутом, гарью, еще чем-то. Может быть, запахи прятались именно в этих швах, толстых на бортах и карманах, и сейчас, выпущенные на свободу, несли с невидимых полей сражений эхо войны.

Отец был мастером верхней мужской одежды, но умел шить все: от сатиновых купальников до красивого женского пальто, даже скорняжил — собирал из меховых кусочков воротник. Придя с работы, он, поев, садился за машинку и строчил до поздней ночи. Люди несли то, что осталось от не вернувшихся с фронта мужчин. Просили сшить девичье пальто или полупальто для подростка. Из пиджака получалась куртка, из брюк — юбка и даже сарафанчик на худенькую фигурку. Оставшиеся кусочки ткани отец туго скручивал, перевязывал и отдавал с обновкой: все это пойдет на заплатки, на стельки. Однажды, разрывая по швам шинель, он сказал:

— Дусь, слышишь? Всю войну я шил эти шинели, а теперь вот рву.

* * *

В школу я пошла в следующем, 1946-м, в 1-й «Е», к учительнице — Прасковье Антоновне Морозовой. От нее мы узнали, что наша 82-я школа с первых дней войны стала гарнизонным госпиталем, а с октября 41-го здесь разместился еще госпиталь, эвакуированный из Харькова. А дети учились в маленьком деревянном домишке, где жила наша учительница. Там пили чай из смородинового листа, сушили у печки валенки. Однажды убежали трое мальчишек, их искали, переживали. Беглецы вернулись через неделю и принесли полмешка лепешек — для всего класса. Оказывается, они ездили за ними на поезде — на товарном — аж в самый Ташкент.

А сейчас в школе мальчишек нет, школа теперь женская. Новые подружки по классу были, как и я, почти все коротко стриженные. Наличие белого воротничка на домашнем платице уже считалось школьной формой. Знакомились, что-то выспрашивали друг у друга, но почему-то шепотом даже на переменках. И когда я, привыкшая с ранних лет к горластым деревенским мальчишкам, спрашивала, почему они шепчутся, девочки отвечали:

— Нельзя громко говорить.

Но я и так знала, о чем шептались: «...Мама говорит, что похорошки ошибаются», «...А у нас без вести... А сосед сказал, в каких-то лагерях...»

Осенью 1946-го ждали многих. Из госпиталей. Из плена. Из неизвестности. Ждала и я, не зная кого.

Во всех классах было много калмычек — спецпереселенцев, как они себя называли. Их домики лепились сразу за школьной оградой. Девочки плохо говорили по-русски, Прасковья Антоновна с ними мучилась. Были

немецкие девочки, тоже переселенцы. Я ходила к ним в бараки. Там не было коридора, как в нашем доме, а просто большие занавески, которые отделяли одну семью от другой. Странно было видеть комнаты с тряпочными стенами, но там я сразу поняла, почему девочки привыкли шептаться.

А татарские девочки жили в «засыпушках», у которых стены снаружи засыпаны наполовину землей, а окошки — прямо у тебя под пятками. Эти домишки стояли кучкой за кладбищем, по которому проходила трамвайная линия. Кладбище и называлось татарским, хотя по другую сторону трамвайной линии было и русское кладбище — с красивой церквушкой, но ни крестов, ни памятников уже никаких не было, только заросшие травой холмики. В то время я не знала, что под одним из этих безымянных холмиков лежит мамин отец, мой дедушка — Писецкий Степан Антонович, который умер 11 июня 1941 года...

* * *

Самая интересная жизнь началась с третьего класса. Мы уже крепко приросли к школе, она все больше становилась для нас родным домом. Зимой в любые морозы мы бежали сюда, закутавшись во что можно, оставив только щелочки для глаз. Я уже ходила в школу не с тряпочной сумкой, а с настоящим «портфелем». Правда, он был деревянным — плоский фанерный ящичек с длинными железными ушками по бокам, которые надвигались на крышку; сверху — ручка из ремня или брезента. Этакий прадедушка современного «дипломата-кейса», удобный, непромокаемый, и тетрадки не мялись.

Свой третий учебный год мы начали по-новому. Уехали в родные края калмычки и еще кто-то, классы

переформировали, и мы теперь — 3 «А». У нас новый учитель — вернувшийся с фронта Дмитрий Иванович Козлов. Прошел войну с первого дня до встречи на Эльбе. Он будет нашим классным руководителем многие годы, верным и добрым наставником до самого выпускного бала.

Теперь мы больше походили на учениц: были в школьной форме, хотя и не все, в праздничные дни надевали белые фартучки, отрастили даже для бантов какие-то хвостики и косички.

А война все цеплялась за нас. В который раз, как по заколдованному кругу, возвращались к ней. Знакомились с новыми одноклассниками, выбирали близких подруг, и естественное детское любопытство снова погружало нас в недавнее прошлое. Вот я рассказываю Вере Буковской про деревню, потом про детсад и Юрку, который кидал палки в пленных немцев. А она мне про брата Леву, то же самое:

— Когда он их видел, прямо весь дрожал, тоже кидал чем попададя. Они же убийцы. Они нашего Филиппа убили, он был старшим.

Верочка говорит и плачет. И опять говорит. И то, что я слышу, у меня перед глазами. Будто сама вижу, как бомбят Тулу, как грузят на открытые платформы станки оружейного завода. Октябрь 1941 года. Эвакуация. Но они смогли уехать совсем недалеко: возле Пензы над эшелонами нависли самолеты с крестами.

— Я все это запомнила. Было очень страшно, — рассказывает Вера. — Мы, четверо детей, прижались к маме, а вокруг все горит. Грохот, крики, рев самолетов прямо над головой. Люди прыгают с платформ и катятся, как бревнышки. И мама хватается меня за руки, прижимает крепко-крепко и прыгает куда-то вниз! И мы катимся,

катимся... Потом мы долго прятались в каких-то кустиках. Стало темнеть, появились люди, лошади с подводами. На них начали укладывать раненых, но многие остались лежать на насыпи...

Их приняли жители ближней деревни. Тульские семьи покинули деревню летом 42-го, присоединившись к уходящему в Новосибирск московскому поезду. Этот поезд был счастливым, о нем Вера говорит уже с улыбкой:

— Представляешь, двухъярусные нары с соломой, так хорошо на них ехать. Но самая большая радость — это когда на остановках в вагон приносили кипяток и суп в ведрах. Настоящая еда!

А когда к нам в класс пришла Люся Сазонова, мы опять услышали про войну. Они жили в большой станции Константиновской, что стояла на высоком берегу Дона. Отец ее шофер, всю войну возил снаряды на передовую, был ранен, горел. А дома — мама, бабушка и три сестренки, мал мала меньше, от двух до пяти. Натерпелись страху...

Сначала от артобстрелов прятались в подвале единственного кирпичного здания в станции. Потом пришли немцы и при очередной бомбежке закрыли людей в подвале и подожгли. Спасло маленькое окошко над дверью: выбили раму, в узкую щель пролез смелый мальчишка и сумел открыть дверь.

Тогда бабушка с мамой вырыли в саду за домом окоп и при обстреле бежали туда с малышами, взяв только чайник с водой и узелок с сухарями. Бои за донские переправы были жестокими, в окопчике семья сидела сутками. Однажды у них над головой выросла фигура рыжего немца. То ли эти светловолосые девчушки напомнили ему своих, то ли просто пожалел, только, растопырив три пальца, подсказал:

— Матка, русский будет бум-бум еще три дня. Уходи!

Запомнила Люся, как шли от станицы женщины и дети, далеко в степь растянулась эта толпа. А немецкие самолеты налетали и обстреливали их. Тогда все падали на землю, но поднимались потом не все. Спешили поскорее пройти это открытое пространство, а самолеты пролетали прямо над головой. Две женщины предложили помочь и взяли на руки младшую сестренку.

Снова налет — и люди падают вниз. Когда поднялись, мама и бабушка увидели далеко впереди тех двух женщин, но... без ребенка. Бросились за ними, что-то крича, но на полдороге остановились: на обочине лежала их Шурочка и... спала. Женщины потому и оставили ее, зная, что свои догонят и подберут. А что в те первые минуты испытали мама и бабушка!

Потом они вернулись в свой дом, разграбленный, без окон. Вскоре в доме поселился немецкий генерал с денщиком и переводчиком, а женщины с детьми перебрались на задворки, в кухоньку, и потянулись месяцы оккупации. Однажды, в январе 43-го, в ночь под Рождество, к ним в окно кухни постучали. Это были наши разведчики. И совпали в станице два праздника — Рождество и освобождение!

Мы говорили своей подружке:

— Повезло тебе, Люсенька. Все остались живы, и отец с фронта вернулся.

* * *

Наш учитель Дмитрий Иванович, наверное, почувствовал, что нужно создать такое пространство, в котором бы сообща выговаривалась и оживала опаленная войной



Мои двоюродные братья
Виктор и Борис



Это фотография,
на которой отрезан
отец

Здравствуйте Витя, и Борис
Мои любимые детки, я очень
об вас беспокоюсь, но что
сделаю, приедушний Институт
защиты Наше дело поддержать
мы защитим любые свободы за
каждый за свободу. и вы мои
маленькие девочки с просьбой
сказать какому-то кто все
спросит, что вы мама
сорушили в семье бориса
просьба ответить пожалуйста
любогого ребенка

г. Ново-Сибирск

И. Фрицкова п/л пог. 089 н/1
кварт. п/18

Полковник Марш Тимошенко
Московская область по Ново-Сибирску
карьер 569 И. И. Волков

То самое письмо, которое в ноябре 1942-го
пришлал им отец



Дети войны — наш 1 класс «Е» 82-й средней женской школы г. Новосибирска. Во втором ряду справа я сижу рядом с нашей учительницей, Пасковьей Антоновной Морозовой. 1946 г.



За нашими спинами — проспект Дзержинского, который начал застраиваться первыми шестиэтажками. Зима 1948-49 гг.



Барак № 55 по улице Красина, где жила моя одноклассница Нина Ильина. Ее мама с младшей дочкой сфотографировалась на фоне своего барака. За ним — проходная прожекторного завода (ныне «Электроагрегат»)



Возле этих же бараков. Крайний слева — П. Ильин



*Наша бабушка Мария Никоновна, слева за ней стою я,
справа — сестра Надюша*



Наш любимый маршрут № 2 — трамвай, идущий до центра

детская душа. И он сотворил хор младших классов. И первый наш репертуар — с каким-то мудрым дальним прицелом — составил только из военных песен. Как они нам нравились и как оказались нужны! На репетиции он приносил свою писклявую мандолину, с которой прошел все дороги войны, и с таким аккомпанементом мы по-особому воспринимали слова песен.

Мы росли, активно осваивая территорию города. Наш любимый маршрут — трамвай № 2. От остановки Красина и до самого центра, где «двойка» огибала оперный театр, проходя прямо перед его фасадом по площади. Здесь был КОГИЗ, в котором мы покупали учебники и тетрадки; здесь был главный универмаг, где мы выбирали школьные формы; здесь был любимый ТЮЗ, где в спектакле «Девочка ищет отца» играла наша любимая Зоя Булгакова.

Но главная наша территория была там, где от Татарского кладбища и до трамвайного кольца за остановкой Трикотажной лепились дома, домики, засыпушки, бараки. Под их крышами жила горькая память о войне, незаживающая боль о погибших, тоска по родным городам, которые покидали в надежде вернуться. И под этими крышами росло уже новое поколение сибиряков.

Наверно, наше детское сообщество в чем-то было похожим на тот большой кирпичный дом, который, как сказочный корабль, плыл над печальным деревянным морем военного жилья. Летом от этого дома и до трамвайной линии расцветало сиренево-белым цветом картофельное поле — люди из бараков садили тут картошку во время войны и много лет после.

Улица, по которой звенели трамваи, сначала называлась Трикотажстроем, потом Каменским шоссе и, наконец, стала проспектом Дзержинского. А Татарское

кладбище стало Березовой рощей. Все это было нашим жизненным пространством, хорошо знакомым и понятным. И только одного мы до сих пор не можем понять: почему та красная пятиэтажка с нарядным фасадом называлась «семеркой» или «седьмым домом», хотя адрес ее — улица Промышленная, 1?

* * *

Прошло много-много лет. На календаре — июнь 2003 года. Я сижу в маленьком кабинете и в присутствии сотрудника ФСБ листаю «Дело №... Оберган Илья Федорович, уроженец села Душленка, Коченевского района... арестован 14 февраля 1938 года... приговорен к высшей мере наказания... Приговор приведен в исполнение 9 апреля 1939 года...»

Его реабилитировали через двадцать лет, посмертно. И вот я впервые — заочно — знакомлюсь с отцом. Читаю его ответы на вопросы, вижу его роспись в конце каждой страницы протокола...

Ну почему судьба пожалела для него такую кроху жизни — всего от мая 1938-го, когда я родилась, и до июня 41-го? За это время я бы успела узнать его и, может быть, запомнить. Чтобы он смог подняться навстречу смерти вместе с тысячами других, которые знали, за что они гибли в ту войну...

А на полке книжного шкафа стоит у меня медный колокольчик — тот, бабушкин, из школы. Самый звонкий свидетель моего детства.

Валерий Тарасов

Под небом военного времени

**О людской доброте, нарезном батоне,
картофельных булочках и пленных немцах**

де-то далеко началась война. А в Новосибирске, тихом заштатном городе, по проседающим подгнившим доскам тротуаров пробирались люди, скрипуче грохотали разбитыми деревянными кабинами и кузовами редкие грузовики да высекали искры из булыжных мостовых конные повозки.

Мы, ребяташки, сначала увидели войну в длинных колоннах мужчин, окруженных плачем и воем женщин. Мы бежали вперед и пристраивались к жиденькому оркестру. Несколько старичков с трубами и огромным барабаном старались боевыми маршами придать скоплению народа хоть какую-то стройность и торжественность.

Оцепление у железнодорожного вокзала жестко отсекало женское окружение, но мы, крохотные и шустрые, между ног солдат пробирались на перрон, где гремел неправдашный большой оркестр, перекрывая охрипшую матерную ругань военных командиров в шинелях с блестящими, на широких петлицах кубиками, ромбами, треугольниками и даже шпалами. Перемешанная мужская масса

непонятным образом разбивалась на группы, втискивалась в теплушки (товарные вагоны с железной печкой посередине и двухэтажными нарами из нестроганных досок), и паровоз в клубах пара и дыма, издав пронзительный свисток, начинал дергать и, наконец, осилив, набирал скорость и увозил состав куда-то в неведомые дали. Следом другой паровоз затаскивал новый состав теплушек... И под бравурный марш чуть передошнувшего оркестра в распахнутые ворота втягивались новые колонны. Окруженные бабьим воем, колонны шли и шли, днем и даже ночью. И город как-то сразу опустел...

Опустел ненадолго. Откуда-то издалека подходили эшелоны с женщинами, стариками и детьми. Они забивали помещение вокзала, растекались по улицам, отвоевывали у разных контор этажи и целые здания. Взрослые называли этих бесприютных — беженцами из оккупированных фашистами городов и деревень. Значит, на фронте не все так лихо и победно, как в кино, где немцы — круглые дураки и недоумки.

Но такие размышления вслух искоренялись жестоко: даже за детьми ночами приходили машины, и наутро шептались, что они, вместе с родителями, — немецкие шпионы и провокаторы. Нам предписывалось свято чтить память Павлика Морозова и сообщать воспитателям детского сада, а позже учителям в школе, о чем говорят родители и их знакомые. И приводили в пример хороших мальчиков и девочек, которые помогли разоблачить шпионов.

Беженцев становилось все больше. Новосибирцы разбирали их с улиц, скамеек в скверах, с лестничных площадок редких тогда пятиэтажных домов и расселяли в собственных, и без того тесных комнатках. Однажды и моя мать привела в нашу маленькую ком-

нату женщину с девочкой, — насколько я помню, из Ленинграда. В соседней квартире ушли на фронт муж, жена и сын, и на их место поселилась семья Блимберсов из оккупированной Риги. Хозяева той квартиры после войны так и не вернулись: то ли в другом городе поселились, а скорее нашли вечный покой под фанерным памятником со звездочкой где-нибудь в далеких от Сибири краях. Из тех тысяч, что ушли на фронт в первые годы войны, мало кто вернулся.

С фронта приходили письма, сложенные треугольником, с неизменным штампом: «Проверено военной цензурой», и их читали всем двором. Но чаще, особенно в первые месяцы, даже в нашем небольшом дворе после прихода почтальона раздавался истошный бабий вой, и все шли на этот зов человеческого горя, чтобы хоть как-то утешить. Срабатывала и наша, больше интуитивная ребячья подмога — отвлекать убитых горем сверстников шумными играми, и отводить им в этих играх роли командиров. И в школе их в тот день не спрашивали, не назначали дежурными, старались больше хвалить, и весь класс сидел тихо, словно рядом лежал убитый на фронте солдат.

* * *

Только малышня и могла себе позволить беззаботно ходить в школу, выводить в спитых из газет тетрадка палочки и крючочки, таскать стеклянные чернилки-непроливашки, которые примерзали к рукам, и чтобы поставить их в специальное углубление на парте, приходилось ждать, когда они оттают от пальцев.

Но и мы почувствовали войну — с ней к нам впервые в коротенькой еще жизни пришел голод. Правда, каждый день в класс приносили для каждого по крохотной серой булочке и сверху две конфетки — подушечки. Но

одну мы по общему уговору отдавали учительнице, Ольге Николаевне. Знали: она одна растит двух внучек — и изо всех ребячьих сил старались помочь. Чтобы понять наше маленькое благородство, достаточно сказать, что за конфетку на улице можно было выменять что-нибудь очень ценное или на целый день получить в личное пользование у старших ребят пистолет, выпиленный из куска дерева.

Вообще чувство постоянного голода — пожалуй, самое памятное воспоминание военного детства. Никогда не забуду: мы с матерью шли мимо дома, что на углу улицы Октябрьской и Красного проспекта. В довоенном прошлом здесь размещался хлебный магазин, и от него на витрине остался глиняный муляж обыкновенного нарезного батона. Я спросил у матери: «Что это такое?» А она вдруг заплакала: мальчишка стал школьником, а никогда не видел обыкновенного белого батона.

Все ели ржаной хлеб с колкими добавками мякины, но ничего вкуснее его я до сих пор не пробовал. Покупать хлеб, точнее получать его по карточкам в магазине на углу улиц Октябрьской и Советской, — неукоснительная детская привилегия, пока взрослые с раннего утра до позднего вечера на работе. Собирались обычно всем двором и торжественно шествовали к магазину, зажав в ладошках измятые карточки с отрезными купонами на ежедневную норму. (Нам с матерью на двоих в день полагалось около половины, как тогда говорили, буханки ржаного с половиной хлеба.)

Сейчас молодежь не верит. Говорят: «Выдумки, не может человек существовать на двух квадратных метрах при дневном рационе в двести граммов хлеба». Выходит — может, если на таком пайке выросло целое поколение.

Из всех продавцов мы больше всего любили тетю Валу и всегда становились к ней в очередь. Только тетя

Валя умела отрезать от буханки кусок, который не тянул на весах до нормы, и тогда она отрезала и укладывала сверху довесок, а у нас заранее текли спонки: до того он был крупным и красивым. Нет, нет, в него нельзя было сразу впиваться зубами, хотя есть хотелось до головокружения. Положив основную «пайку» на место, мы брали довесок и, если стояла зима, вывешивали его на мороз. С замерзлым куском чинно выходили во двор и вели неторопливые разговоры, вкусно посасывая каждый свой довесок.

Однажды кто-то рассказал потрясающий случай — будто шел вечером мужик вдоль забора хлебокомбината по улице Фабричной и ему прямо на голову прилетела целая буханка. Тут же установили дежурство и посменно прохаживались вдоль длинного забора, но ничего нам на голову так и не упало, и через неделю безнадежную затею пришлось прекратить.

И все-таки нам свалилось великое счастье из рук той же тети Вали (упокой Господь ее душу и прости грехи ея, если таковые числились за этой доброй женщиной). То ли оказался у нее излишек, то ли по другой неизвестной причине, но из очередного похода в магазин каждый нес целую буханку хлеба. Отхватив дома на законных основаниях горбушку, устроили пир. Дело случилось летом, и мы развели в потайном месте двора небольшой костерок, чтобы подрумянить горбушки до хруста. За костерок каждый получил по воспитательной дозе от матерей. Да разве можно сравнить наказание с пиром, о котором долго вспоминали после! Да и родители махали ремешками больше для острастки.

Иногда и лакомства перепадали. В школе до позднего вечера готовили концерты и выступали на ближних заводах. Но сначала нам устраивали экскурсии по цехам,

и мы встречались там с ребятами чуть постарше. Они взбирались к станкам по нагроможденным ящикам и едва не падали с них от усталости. И когда на очередном концерте мы замечали среди зрителей заснувшего мальчишку, старались даже стихи декламировать потише, чтобы не разбудить.

Особенно любили выступать на гормолзаводе (который и по сей день стоит на углу улиц Октябрьской и Урицкого). После концерта каждому малолетнему артисту преподносили по красному эскимо. Молоком, а тем более сливками в нем и не пахло: замораживали слабый раствор сиропа с сахарином, — но для нас, вечно голодных и лишенных сладостей, и такое угощение становилось верхом блаженства.

Подкармливали и посылки с фронта с банкой-другой консервов, палками колбасы, галетами... Но редко их содержимое попадало на стол: чаще меняли на хлеб или какую-никакую одежду.

Про эти посылки тоже ходили легенды. Однажды, рассказывали, бабка прихромала с палкой колбасы, а у покупателя хватило денег только на половину. Разломила бабка, а в колбасе запечены золотые кольца. Может, и вправду случилось, может — придумали, но с фронта и впрямь разрешалось изредка кроме писем-треугольников посылать в тыл продукты, и упаси Бог — ничего больше. Золото и драгоценности имели едва ли не самую низкую цену, но на них можно было выменять хлеб, крупу, немного муки. Удачно проданное обручальное кольцо, золотые сережки, брошки с драгоценными камушками обеспечивали небольшую семью сносным пропитанием на неделю, может чуть дольше. На маленьких базарчиках, как в музеях, появлялись чудом сохранившиеся дореволюционные сервизы, оставшиеся от

отцов вещи и собственные праздничные платья, на которые до войны копили годами, а проедали за несколько дней. Эти разбросанные по всему городу базарчики назывались в народе — «хитрыми». На них продавали, покупали, меняли все: от нескольких картофелин и поношенных платьишек до золотых колец и сережек.

Кто имел доступ к продуктам: снабженцы, торгаши, интенданты и прочая сволочь — обзаводились старинными гарнитурами, золотом, драгоценностями. Это про них и говорили, что война им «мать родна». Выменивали на банку тушенки праздничные костюмы, умопомрачительные платья, извлеченные со дна старинных сундуков шубы и меха; в моду у их жен и любовниц вошли чернобурки с оскаленной лисьей пастью, а у мужиков — белоснежные бурки с кожаным подбоем.

В белых бурках и богатых шубах появились на одном из громких судебных процессов работники кладбища. Всю войну они держали крупную ферму. Свиной откармливали трупами из свежих могил. Приговор — расстрел. Как жаль, что сейчас отменили высшую меру. Не перевелись, а скорее размножились продолжатели черного бизнеса.

А по улицам и скрипучим тротуарам ходили женщины в потрепанных телогрейках и штопанных-перештопанных платках, обутые в десятки раз подшитые валенки: все, что получше, обменяли на продукты, чтобы прокормить и вырастить детей.

* * *

Жила в нашем дворе, в полутемной комнатухе подвала большого купеческого дома, удивительная женщина с двумя мальчишками. Все звали ее просто Устей. Работала уборщицей, и содержать прожорливых паца-

нов на нищенскую зарплату, конечно, не могла. А ребяташек своих любила самозабвенно. И, как только получала крохотные деньги, бежала на базарчик и покупала всяких сладостей. Дня два семья пиновала, на третий заканчивались все продукты, а до зарплаты — почти две недели. И тогда весь двор приступал к добровольному шефству. Мы тащили из дома остатки от обедов и ужинов: кто тарелку супа, кто полковороды картошки, когда и хлебными довесками с мальчишками делились. Тогда не считалось зазорным принять от соседей кусок лепешки или остатки еды.

Да и сами братья находились в непрерывном поиске съестного. В основном на «хитром» базарчике — когда морковку сопрут или пару картофелин, а когда торговки и так дадут: голодные полуодетые женщины относились даже к чужим детям нежно и бережно.

И вот однажды братья-шпанята зовут всю нашу честную компанию и с видом заговорщиков вытаскивают из-под рубашек увесистые плитки жмыха. Что это за штука — современным ребятам стоит рассказать. Когда из подсолнечных семечек или кедровых орешек давят масло, после отжима остается тот самый жмых, спрессованный в крепкие плиты. Мы и сейчас им пользуемся, только облагороженным: халва или какао и есть тот самый жмых, только очищенный от шелухи и сдобренный пищевыми добавками.

Подстушаем к братьям: «Где добыли?» — молчат, как партизаны, а знают: все равно от нас не отвертеться. Наконец, сдаются и неохотно выдавливают: «Пошли».

Идем в конец двора, где разместились воинская конюшня. Мы давно к ней приглядывались, да к «военному объекту» солдаты с винтовками не подпускали. Шустрые братишки на охрану ноль внимания, обходят

конюшню и — к задней стенке: узрели чертенята крохотный лаз. Младшенький — нырь! А внутри конюшни, прямо у стенки эстакады, жмыха — только успевай сквозь щель протискивать. Запаслись мы изрядно. Перетащили ароматные плитки темным вечерком в наш секретный штаб на чердаке, куда пробраться можно только по брандмауэру — высоченной кирпичной стенке шириной в детскую ступню. Сначала втихаря грызли, но быстро осмелели, стали в открытую по двору ходить жевать да впрессованную в плитки шелуху вышлевывать. Солдаты, видно, догадались, и в очередной налет на конюшню лаз оказался заделан крепким листом железа. Но запаслись мы к тому времени изрядно, даже в коммерцию подались. Товарообмен в то время расцветал пышно.

У таких же голодных мальчишек из соседних дворов в обмен на ароматные плитки наша компания обзавелась коньками. У каждого они оказались разными и по форме, и по размеру. Но мы наглухо прикручивали к толстым подошвам подшитых валенок «дутьши» (по-нынешнему — хоккейные) с короткими прямыми лезвиями и «снегурки» (для фигурного катания) с витиевато закрученными носами. Чаще получалось: на одну ногу — «дутьш», на другую — «снегурка». Добывали длинную веревку, закрепляли на конце ее металлический крюк и всем «табором» выходили на обочину дороги в ожидании проходящего мимо грузовика.

Тогда на новосибирских улицах встречались два вида «народных» автомобилей — безотказные «полуторки», по-научному «ГАЗ-АА», и, не помню марки, газогенераторные мастодонты с двумя металлическим печками-цилиндрами по бокам кузова. В цилиндрах сжигались древесные чурки, из них вырабатывался газ, на котором и работал мотор.

Уважение внушал только кулак шофера из кабины проезжающего грузовика, и тогда все оставались на месте. К счастью, в военное время за рулем чаще сидели женщины, а их мы не боялись.

Как только машина равнялась с нашей компанией, все разом срывались с места. Первый цеплял крюк под задний борт, и грузовик тащил за собой на веревке всю компанию — благо дороги не чистили и коньки легко скользили по укатанному насту. Лихо прокатив два-три квартала, ближний к борту отцеплял крюк и компания ждала машину в обратном направлении. Развлечение имело свое название — «паровоз», где роль локомотива отводилась грузовику, а мы были вагончиками.

* * *

Коммерция в нашем детстве процветала. В основном, конечно, по нынешней фразеологии, — бартер.

Раздобыла как-то мать путевку в пионерский лагерь. Бросать дворовую компанию в разгар лета не хотелось, но соблазнился посулами обильной еды с добавкой. Кормили и впрямь неплохо — сухой картошкой из импортных мешков и блюдами из американского яичного порошка. В строгой очередности получали «наряд» на кухню. Там, в открытых мешках с непонятными иностранными словами, стояла та самая нарезанная дольками и высушенная импортная картошка, и можно хрустеть ею хоть целый день и даже насыпать в карманы, чтобы угостить товарищей. Иногда повариха в знак высшего благоволения насыпала каждому в блюдце яичного порошка.

Но это все мелочи. Главное — к завтраку, обеду и ужину полагался увесистый кусок хлеба, иногда даже

горбушка, но она доставалась редко, в порядке застольной очередности.

«Пайка» хлеба считалась твердой валютой. Горбушка шла по полуторной, а то и двойной цене. За две-три «пайки» (дневная норма хлеба) приобретали выжженную замысловатым узором сосновую тросточку, а если потерпеть без хлеба три-четыре дня, можно стать обладателем настоящего самоходного кораблика с парусами и моторчика из туго скрученной резинки.

Такой же мотор из резинки мы с Володей Лукьяновым (четыре года сидели за одной партией), пытались приспособить к макету аэросаней. Придумал Володя, а я ассистировал ему, на подхвате. Аэросани с места не сдвинулись, но слава о народных умельцах пошла, даже по радио рассказывали о нашей модели и вручили пригласительные билеты на общегородской пионерский слет в театр оперы и балета, что в то время считалось очень почетным.

А у пионерлагерных умельцев лодочки по лужам двигались шустро, даже на просторы Оби их можно было выпускать — только не зевай: мигом унесет быстрым течением.

Стремительное течение у пионерского лагеря я испытал, когда однажды втихаря сбежали вечерком на речку. Ребята постарше заплыли, а нас, двух малышей, оставили на бережку следить за одеждой и стоять «на вассаре», чтобы вожатые «не накрыли». Сидеть у воды скучно, и я осторожно полез в речку. А там обрыв. Шаг ступил — и по горло. И потащило. Как я догадался хлебнуть побольше воздуха и карабкаться по дну — сам не понял: видно, Бог хранил.

Плавать я научился тоже в критической ситуации. Моя тетка, Анна Степановна, старшая мамина сестра,

жила на улице Обской, 17. Сейчас над этим местом нависает коммунальный мост. А тогда у берегового обреза находился лесосклад и качалось множество плотов. Ребятишки бегали по ним, даже играли в догонялки. Осклизлые бревна недовольно шевелились под ногами, но мы ловко перескакивали с одного на другое, как заправские лесосплавщики. С такого плота я и бултыхнулся против течения, и меня махом затянуло под плот. В ужасе запербирал руками над головой по скользким бревнам, и Бог вынес меня. Задыхаясь, наглотавшись воды, чудом вынырнул на чистом месте, что есть мочи замолотил руками и ногами, и вдруг понял: плыву! Еще сильнее замолотил и, обогнув плот, добрался до берега.

* * *

Мы дружили домами, дворами, улицами. Все учились в одной, «третьей» школе. Точнее сказать, все мальчишки: в 1943 году Высоким Указом школы разделили на женские и мужские. «Третьей» выпала мужская доля. Она и сейчас стоит в начале улицы Октябрьской — старинный просторный особняк красного кирпича.

О первой в жизни школе осталось мало ярких воспоминаний. Может потому, что военное время переполнило ее невероятным количеством учеников. Классы насчитывали до пятидесяти человек. Сидели по трое за одной партой и занимались в три смены. В тесных классах и коридорах на перемене не протолкнешься. Но учили хорошо. После четвертого класса я с успехом прошел конкурс в Ставропольское суворовское военное училище. Но об этом чуть позже.

Так вот, на улице Коммунистической, как раз напротив наших деревянных особняков, в глубине двора под номером 26 стоит и по сию пору пятиэтажный кирпич-

ный дом, с жителями которого мы вели постоянные нешуточные войны. Каждый на своей стороне улицы возводил мощное боевое укрепление из снега, облитого водой. Крепкая получалась постройка и практически неприступная — с бойницами, стрелковыми мостами вдоль стен. Позже, когда довелось осматривать старинные крепости, я многое узнавал и удивлялся: какая такая генетическая память руководила нами при строительстве фортификационных укреплений?

Периодически мы устремлялись через дорогу на штурм вражеской крепости, но только после рыцарской договоренности с противником. Главное наступательное оружие — снежки. Готовили их заранее и склады охраняли бдительно, чтобы (случалось и такое) боеприпасы не похитили вражеские лазутчики и хватило их на любую атаку.

Собирали армию из дружественных дворов и с криками «Ура-а-а!», часто применяя обходной маневр, оказывались в тылу и сминали обороняющийся гарнизон. И, как во всяком бою, случались потери. Когда снежки заканчивались, в ход шли и льдинки, иногда внушительные, хотя это категорически запрещалось. Но когда в атаку летит человек двадцать, а то и больше, и столько же обороняются — попробуй определи, кто применил запрещенное оружие.

Однажды и мне в голову прилетела увесистая ледышка. Залитого кровью бойца передали безутешной матери. Она деловито выстригла плешинку, промыла рану и смазала йодом. Кровь остановилась, и к утру от вчерашнего ранения осталась только небольшая шишка. Осталась, кстати, на всю жизнь. И сошла, хотите верьте, хотите нет, во время знаменитых телесеансов Капшировского, лет этак через сорок с лишним после «ледового побоища».

* * *

И все-таки голодное военное детство я вспоминаю со светлой грустью и любовью — может потому, что оно наполнено добротой, которая окружала нас во дворах, дома и на улицах. В годину лихих испытаний на Руси люди всегда становились добрее друг к другу, и особенно к детям.

Мать во время войны закончила экстерном находящийся у нас в эвакуации Всесоюзный юридический заочный институт, стала заметным в городе юристом, участвовала во многих судебных процессах и часто приходила домой за полночь. Особенно когда она стала работать в военном трибунале, где по примеру Вождя ночь превращалась в рабочий день. Прождав ее до позднего вечера, я шел к тетке на другой конец города, через бандитские закоулки вдоль речки Каменки, или к бабушке на Пристанской переулок, 5, тоже не самое светлое место в городе. И не боялся, и никто не боялся, что нападут на меня лихие люди.

В те годы не бродили по улицам беспризорники, не стояли на каждом углу нищие, своим видом оскорбляющие человеческое достоинство. Трагические «похоронки» с фронта, увы, минули редкие семьи. Но не знаю случая, чтобы в Новосибирске сироты умирали от голода или превращались в бездомных бродяг. Живущие впроголодь семьи без всяких раздумий принимали и обихаживали сирот, да и государство проявляло достаточно заботы о ребятишках, обездоленных войной.

Жуткий случай в нашем доме: у моего близкого друга Володи Боровых повесилась мать. В одночасье остался мальчишка один на белом свете. На несколько дней его приютили соседи, а вскоре он стал членом семьи работника суда. Некоторое время назад мы встре-

чались с Володей. Он окончил юридический институт и пошел по стопам приемного отца, человека необычайной доброты и порядочности.

* * *

А на железнодорожные станции и платформы потянулись составы из платформ, наглухо затянутых брезентом. Может, шпионы и догадывались, а ребятишки точно знали: эвакуируют заводы с захваченных немцами территорий. И в городе, сначала в центре, а когда свободного места не осталось — на окраинах, наспех сооружали под открытым небом символические навесы от дождя и снега и монтировали под ними станки и другое оборудование. Часто к станкам приставляли один на один снарядные ящики, и на них взбирались старшие мальчишки и девчонки, чтобы перевыполнять нормы взрослых рабочих. Тогда вся жизнь подчинялась единому призыву: «Все для фронта, все для Победы!»

Город жил по особым, сейчас во многом непонятным законам. Люди работали по двенадцать — шестнадцать часов, а то и сутками не уходили с заводов, фабрик и... новостроек. За опоздание даже на несколько минут безжалостно предавали суду и «по законам военного времени» на долгие сроки отправляли в тюрьмы и колонии.

Но старшим ребятам в чем-то даже везло. Они неделями не выходили из цехов и забывались коротким сном где-нибудь в уголке на куче ветоши, но получали на оборонных предприятиях дополнительное питание и даже умудрялись сэкономить и принести немного еды младшим сестренкам и братишкам.

Именно в военные годы Новосибирск вырос в крупнейший промышленный, научный и культурный центр.

Город дал пристанище не только оборонным заводами, но и ведущим ученым, институтам, столичным театрам и картинным галереям.

Каждый день, и это не преувеличение, счет шел именно на дни — поднимались новые цеха заводов, которые и по ныне составляют основу промышленного потенциала Новосибирска. Сейчас их, конечно, перестроили, модернизировали, но еще недавно крутились станки, свезенные со всей европейской части Советского Союза, оккупированной фашистами. И многие специалисты и классные рабочие так и остались навсегда в нашем городе.

* * *

Поставлять на фронт колонны танков, эскадрильи самолетов, эшелоны снарядов, да еще и строить жилье женщинам, подросткам да редким, вернувшимся с фронта по ранению мужчинам оказалось не по силам.

И тогда на улицах города появились колонны... фашистов. Не торопясь, размеренным шагом шли они по проезжей части (по тротуарам им ходить запрещалось) без охраны, под командой собственных офицеров, правда, без знаков отличия. Не помню, когда фашисты появились в Новосибирска, кажется в 1942-43 годах. Вдоль маршрутов пленных поначалу собирались толпы зевак — живую посмотреть на смертельного врага. Сыпались вслед язвительные реплики, а мальчишки бежали следом до самых ворот лагерей военнопленных. Один из них построили неподалеку от нашего двора на железнодорожной насыпи, что тянется поверху от Спартаковского моста до Коммунистического спуска (была при советской власти, по явной безграмотности чиновников, и такая улица).

Тут же, на углу Коммунистической и Революции, в здании нынешнего книготорга с подземными казе-

матами, размещался военный трибунал. Наверное, и по сей день кружат над ним неприкаянные души расстрелянных виновных и безвинных русских солдат и офицеров. Чуть выше, по той же стороне улицы Коммунистической, — окруженное в те времена забором, за которым по периметру ходили автоматчики, здание НКВД с внутренней тюрьмой и, по слухам, расстрельными галереями. Соседство по тем временам не самое приятное. Но ничего особенного в том мы не видели и по очереди бегали смотреть на немцев и на автоматчиков. А вот мать, выступающая адвокатом на процессах в трибунале, не могла спать ночами.

В Бога открыто не верили. Появление в церкви могло стоить человеку рабочего места, лишения партбилета, а следом и ареста. Но многие молились и тайком ходили в церковь. Такой была моя бабушка. И хотя, по соображениям безопасности, образа в домах дочерей открыто не вывешивались, бабушка всегда приносила с собой сумочку с иконами и старинным Евангелием в металлической оправе. Закрыв дверь изнутри, она расставляла иконы, зажигала лампадку и подолгу стояла на коленях, шептала молитвы, видимо о спасении семьи и всех ее родственников. Наверное, ее слова доходили до Бога: редчайший случай — наша семья пережила военное лихолетье без людских потерь.

Я не случайно вспомнил о Боге и о русской православной душе. Когда первые пленные немцы появились на улицах города, относились к ним настороженно и даже откровенно враждебно. Но скоро злоба и вражда поутихла, а затем и совсем исчезла. Тем более многие новосибирцы помнили вполне мирное здание германского консульства в центре города на улице Октябрьской и его вполне респектабельных обитателей (старинный

особняк и сегодня стоит на той же улице под номером 47). А неподалеку, на улице Ядринцевской, стоял уютный двухэтажный особняк японского консульства (еще недавно в этом особняке под номером 19 размещался престижный «Внешторгиздат»). Так что наши кровные враги по Великой Отечественной войне вполне мирно осваивали наш город с середины двадцатых по конец тридцатых годов.

И к пленным, совсем не страшным, в разноликой одежде и в башмаках на деревянной подошве, стали относиться безразлично (своих забот хватало), а чаще и сочувственно. Настрадавшиеся через этих солдат наши мамы нет-нет да и делились с ними нехитрой едой, особенно в конце войны, когда жить стало чуть полегче. А мы, ребяташки, налаживали со многими из них дружественно-коммерческие отношения.

И опять единственной твердой валютой оказался хлеб, точнее булочка, которую нам давали на обед в школе. Может, кто и не знает сейчас, что двухэтажное здание в западном стиле во дворе пятиэтажного дома по улице Октябрьской, напротив третьей школы, как и многие другие жилые дома Новосибирска, строили пленные. Конвоя вокруг стройки мы не видели, да и русских надзирателей или командиров — тоже. Кажется, и прорабы, и инженеры, и бригадиры назначались из самих пленных. До войны, как в любой наспех собранной армии, кто-то из них наверняка имел строительные специальности, а остальные их быстро освоили.

Как ни странно, но нашему «сближению с врагом» ни учителя, ни даже строгий директор Михаил Николаевич Штаммов не мешали, или делали вид, что не замечали такой вольности (хотя по тем временам отсутствие бдительности могло им дорого стоить).

Встречались мы у настезь распахнутых ворот стройки, соблюдая обусловленную границу, которую и нам, и немцам пересекать категорически запрещалось. После уроков переходили дорогу и садились у ворот. Через несколько минут подходили пленные и рассаживались в нескольких сантиметрах от нас, по ту сторону.

Их имена я забыл, но лица — добрые и слегка лукавые — помню до сих пор. Иногда они показывали фотографии маленьких девочек и мальчиков, и нам казалось, они очень похожи на нас или на наших знакомых.

Но встречались мы все-таки по деловому поводу. За свежую булочку или сэкономленный дома кусок хлеба немцы предлагали выточенные из куска дерева пистолеты, автоматы или движущийся на резиновом моторчике танк, а то и пушку, из которой можно выстрелить горошиной. О цене договаривались быстро: они показывали на кусок хлеба, мы соглашались, а случалось — брали в долг. Нам верили, и я не помню, чтобы кто-нибудь обманул немцев.

* * *

Где-то далеко шла Великая, самая кровопролитная в истории человечества война, а в Новосибирске люди, по крайней мере внешне, жили почти нормальной жизнью. Ходили в кино, в театры, на концерты всесоюзных звезд — благо эти звезды и лучшие театры находились в эвакуации у нас в городе. И еще отмечали советские праздники, дни рождения и даже играли свадьбы вернувшиеся по ранению фронтовики.

Мы любили праздники: каждый сулил подарок. На Новый год в домах устанавливали елки с нехитрыми картонными игрушками. Иногда елки даже светились огоньками. Где мамы добывали лампочки — одному

Богу ведомо, но они очень походили на те, что освещали приборы танков и другой военной техники. Уж что-что, а эти лампочки мы знали: в танки и кабины военных грузовиков нас иногда пускали, если колонна останавливалась возле дома и солдаты просили принести воды. На счастливицков смотрели с завистью и просили рассказать во всех подробностях, что там, внутри, не без тайного умысла: когда настанет наша очередь, мы уже не станем обращать внимания на всякие мелочи, а сразу попросимся посидеть в кресле водителя и, может, даже потрогать рычаги настоящей боевой машины. А счастливицки становились непререкаемыми авторитетами в спорах о любой военной технике и даже о тактике ведения боя. И когда мы играли в войну, их избирали командирами.

Но самый яркий и красочный праздник, конечно, — день рождения. Раз в году каждый рассчитывал на настоящий подарок, не то что конфетка или шоколадка под елкой. В один из таких дней вся моя многочисленная родня раздобыла где-то настоящее красное яблоко, хоть и замороженное по случаю зимы; целую плитку шоколада и две фанерные книжки. Я не оговорился, именно фанерные. Бумага считалась стратегическим сырьем. В школе иногда выдавали настоящие тетрадки с серыми страницами, но они мало отличались от спшитых из газет: чернила расплывались и буквы становились мохнатыми. Потому и рисовали фанерные книжки.

И все-таки главное в днях рождения — гости! Нам накрывали стол. Бабушка да и мать были в этом деле большими искусницами. У гостей от обилия запеченных булочек, витых калачиков, жаворонков и других кулинарных изысков слюнки текли... пока не принимались за еду: все кулинарные изыски готовились из картошки. Но все равно за столом царило торжественно-радостное веселье.

Все приходили нарядные, в свежезапштопанных рубашках и таких же, тщательно отглаженных штанишках. Смеялись, вспоминали забавные истории и обязательно пели военные песни: детские тогда еще не успели написать.

Вечером собиралась родня, близкие знакомые и взрослые соседи. Они тоже пели песни, только другие — народные, протяжные, с подголосками. За ними и нужда, и общее горе уходило на время, забывалось. Я и моя дальняя маленькая родственница Нина Колоскова подпевали взрослым в меру сил и таланта. С тех пор я и полюбил протяжную русскую песню. Жаль, что теперь ее поют только с эстрады, стараясь показать себя любимую и наряды, забыв, что главное в песне — ее душа. Без нее, сколько ни играй светом, ни наряжайся в парчовые платья от кутюр, ни приплясывай — тускнеет она и умирает.

В детстве у меня случался иногда еще один маленький праздник. Мы с матерью покупали билет на пригородный поезд (несколько деревянных вагонов с широкими полками, на которых тесно рассаживался разный люд с мешками или сумочками на коленях) и ехали за город на станцию Душленская. У переезда состав замедляла ход, и публика катилась с вагонных ступенек под откос вместе с сумками и мешками. Мы с матерью тоже прыгали под откос, а поезд, не останавливаясь, набирал ход и шел дальше без остановки. В то время было много таких маленьких станций.

Душленская в те поры значилась большим селом, но я об этом даже не подозревал. Мы шли в маленький домик прямо у переезда. В нем жила семья стрелочника. Сам хозяин неопределенных лет и его жена, приветливая женщина, которая сразу усаживала меня за стол, наливала кружку молока и давала большой кусок крестьянского хлеба.

После обеда стрелочник брал меня с собой в обход, вдоль путей. Он постукивал по рельсам молоточком и давал мне подудеть в настоящий железнодорожный рожок. В далеком безотцовском детстве он был для меня настоящим взрослым другом. Я, пяти или шестилетняя кроха, мог протопать с ним несколько километров, и мне не было скучно за рассказами о поездах, о железной дороге и о чем-то еще — не помню уж о чем.

А наутро мы уезжали обязательно с гостинцем — бидончиком литра на полтора настоящего крестьянского молока и баночкой сметаны. И он брал меня на руки и забрасывал в открытые двери вагона, потому что поезд и на обратном пути не останавливался, а только замедлял ход.

* * *

А война все дальше уходила на Запад. В ежедневных сводках с фронтов радио, черный бумажный блин с колесиком посередине для регулировки хриплого звука, называло какие-то нерусские города и страны. И наконец добрались до знакомой по фильмам и разговорам Германии, до самого Берлина. Однажды мать разбудила меня ранним утром, и я услышал из репродуктора такое долгожданное — Победа!

На улице светило весеннее солнышко, и на середину двора, перед никогда не закрывающимися воротами, высыпали жильцы наших трех деревянных двухэтажек. Все возбужденно кричали, плакали, обнимались, а потом высыпали на улицу, прямо на дорогу. Там — не протолкнуться. И тоже все плакали и размахивали красными флагами, и что-то пели нестройно, вразнобой, и кто-то играл на гармошке. Творилось что-то невероятно шумное, веселое, похожее на окон-

чание большого театрального спектакля, когда на сцену высыпают все артисты, а зрители вскакивают с мест и тоже устремляются к сцене. Только настоящими артистами на этом Празднике стали люди в военной форме. Их обнимали, целовали, подкидывали в воздух...

Мы, ребяташки, побежали в школу — конечно, на радостях, без тетрадок и учебников. А там уже собрались все три смены, и школьный двор не вмещал всех. И принаряженный по случаю праздника наш директор Михаил Николаевич ходил, как полководец перед армией, и все уступали ему дорогу. Он построил нас в колонну и повел на главную городскую площадь, но пробиться через запруженные людьми тротуары и мостовые даже нашей мужской гвардии не удалось.

Ребятчьим умом мы поняли: началась новая жизнь. Какая? Мы и представить ее не могли. Наверное, скоро будет столько хлеба, что его можно есть, сколько хочешь, и мать не будет смотреть на тебя со слезами. А может, где-нибудь испекут резную булку, как на витрине магазина, и дадут попробовать целый, обязательно отломанный, а не ножом отрезанный ломоть. С тех пор я всю жизнь люблю отломанные куски батона: они вкуснее.

И снова мы бегали на вокзал, протискиваясь на переполненный перрон, куда непрерывно приходили телушки, забитые солдатами. И снова оркестр играл военные марши, но не прощальные, а какие-то радостные, и все танцевали под оркестр или под гармошку, и солдаты лихо «выкидывали коленца», звеня медалями и отстукивая каблуками сапог.

А в школе с каждым днем становилось просторнее и учителя сообщали, что Петя или Вася навсегда уехали в свои освобожденные Красной Армией города.

Уехали к себе в Ригу и наши любимые соседи Блимберсы с двумя девочками-подростками постарше нас, вечными заводилами и непременно участницами мальчишеских игр. Мы расставались с ними всем двором, помогали таскать нехитрое имущество на знакомую «полуторку», шофер которой, здоровая баба, пошыхивая неизменной самокруткой, поторапливала из кабины. Девчонки прощались со слезами, приглашали обязательно приехать в Ригу на улицу Межа, 15, в квартиру 1, где они теперь будут жить. С детства вот запомнил адрес и все собирался приехать, да так и не случилось побывать в Риге, хотя объехал, кажется, весь бывший Союз. Не судьба значит, теперь и вовсе не попадешь: другая страна. Да и живы ли веселые заводные девчонки, теперь уже старушки, и сохранился ли дом тот в далеком городе на улице со странным названием? Доброго им здоровья, и детям их, и внукам, а может — и правнукам. А если покинули мир сей — упокой Господь их души с миром, ибо жили они, окружив и себя, и ближних добротой.

Радостно встретили весть о Победе и наши друзья-немцы. В честь праздника они надарили нам много игрушек, и, показывая на почти законченный дом, на ломаном русском объясняли, что осталось только закончить крышу — и их отпустят в Германию к своим «киндер» и «тохтер». Рано радовались: им предстояло еще долгие годы строить дома в нашем городе.

И в наш закуток на первом этаже вернулся с фронта брат Валеры Соловьева. Собственно, не такой уж он и маленький был, этот закуток в первом этаже двух-этажного дома по улице Коммунистической, 23. В дальнем конце две небольшие комнаты занимала семья Блимберсов. Рядом — Володя Боровых с матерью. Наша угловая комната с печкой-голландкой, которая топи-

лась из сеней, и рядом с дровами и углем стояли две бочки с замороженной соленой капустой и огурцами. А за стенкой, в комнате с огромным узорчатым окном, жил с матерью Валера (ныне Валерий Александрович Соловьев, лучший звукооператор студии кинохроники). Не помню, были у его брата на гимнастерке ордена, наверное были. Зато начищенные медали сверкали ярче солнца, и он разрешал нам их потрогать, а Валерке — даже подержать в руках и приколоть себе на рубашку.

Среди военных сувениров Соловьева-старшего оказался запах противотанковой гранаты. Утаить такую вещь от младшего братца, конечно, не удалось. Узрел запах шустрый пацаненок, и, когда остался один, извлек на свет Божий, зажал в тиски, прикрученные к широкому подоконнику огромного окна, и с помощью молотка попробовал разобрать и посмотреть, что там внутри. Взрыв прогремел на всю округу. Осколки изрешетили оконное стекло и стены комнаты, а наш герой, оглушенный, с квадратными от страха глазами, отделался легкой царапиной на щеке. Что говорить, бывают чудеса!

* * *

Кажется, Эрнест Хемингуэй словами Гертруды Стайн впервые удивительно точно назвал тех, кто, вернувшись с войны, не смог найти своего места в мирной жизни — «потерянное поколение».

А тем временем в бутылках кипела брага по случаю возвращения. Мужики, при всех орденах и медалях, тяжело поднимались от застолья. Ходили из дома в дом в гости к боевым друзьям. Засиживались за полночь, бродили по ночным улицам, наслаждаясь тишиной и мирным небом, иногда, правда, и постреливали из привезенного с фронта оружия, но чаще в воздух, для салюта.

Постепенно власти стали пресекать праздники: «Погуляли, отдохнули — пора за дело браться: женщины подустали, скоро рожать начнут, мальчишкам нужно в школу возвращаться или в профессии совершенствоваться, для того открыли ремесленные училища.

На ремесленников тех лет смотрели с завистью: форменные отглаженные брюки клеш, чтоб носки ботинок закрывали полностью и полоскались при ходьбе. Новенькие гимнастерочки с блестящими пуговицами, начищенные до солнечной яркости металлические пряжки с буквами «РУ». Одним словом — гордая рабочая смена. И брали в ремесленные не всех подряд, в основном детей погибших на фронте рядового и младшего командного состава. А детям старшего комсостава, начиная с майора, открывался путь на вершину воинского Олимпа — в суворовские и нахимовские училища.

Многие фронтовики повесили гимнастерки с орденами и медалями в платяные шкафы, переделались в гражданку и вернулись на заводы и фабрики...

Хуже пришлось инвалидам. Помыкавшись на мизерную пенсию, стали устраиваться в специально созданные артели — тачать сапоги, подшивать и ремонтировать обувь, переплетать документы, ремонтировать нехитрые электроприборы...

Ходили по дворам и подъездам в гимнастерках при орденах и медалях. Таскали на плече увесистый агрегат и кричали: «Ножи точить, бритвы, ножницы и мясорубки-и-и!» Мы вились вокруг них и старались помочь, а они усиленно качали педаль, и от закрепленных на оси наждачных кругов летели снопы искр.

Крутились мы вокруг точильщиков не без тайного умысла: после войны игра «в ножички» считалась самой престижной. Очерчивали круг, кидали ножичек

из самых немислимых положений, и если он втыкался в землю, «отрезали» часть полукруга противника до той поры, пока на оставшемся сегменте можно стоять на носке голы ноги. Чтобы победить, нужно иметь самый острый ножичек, втыкающийся без особого толчка в любую по плотности землю.

Другие на базарах, в людных местах «банковали» в «веревочке», «трех листиках» и других азартных играх. В первой игре лихо закручивали петельки и предлагали сунуть в одну из них палец, а потом дергали за оба конца: если петля надевалась на палец — выиграл, если нет — иди с миром дальше или делай новую ставку. Вторая игра — «на ловкость рук» — процветает и сегодня. Показывали три карты и ловко перебрасывали на фанерке. Угадаешь, где туз — деньги твои, не угадаешь — рискуй по новой. У каждого «мастера» с десятков «подмастерьев», которые всегда выигрывали и, показушно зашивав в карман пачку денег, уходили. Мы, ребяташки, знали: свои скоро вернутся, незаметно подсунут деньги банкомету и снова выиграют целую пачку. Мы часто ходили поглазеть на эту «забаву» и знали все ее хитрости.

Но и сами не гнушались азартных игр на мелкую денежку в лото, «пристенок» или «чику». Лото — все знают, а «пристенок» и «чику» подзабыли: слишком трудоемкое и, по нынешним временам, копеечное занятие. Первая игра происходила у стенки. Зажав монету большим и указательным пальцами, били ребром о кирпич. Монета отскакивала и падала плашмя. Второй повторял движение. Дальше от одной до другой монетки нужно дотянуться растянутыми пальцами. Если не дотягивался — в игру вступал третий... Мастера «пристенка» небрежно доставали в начале игры одну монетку, а к концу уносили целую горсть. «Чика» — игра посложнее.

Для участия в ней нужно иметь собственную свинцовую биту. В середине проведенной черты столбиком составляются монеты всех участников, а от другой черты, на приличном расстоянии, кидаются биты на точность приземления. Чья ложилась ближе остальных к банку — бил по столбику первым и забирал все, перевернувшиеся с «решки» на «орла». И по названию ясно, развлекались такой игрой наши деды и прадеды, ибо на советских монетах вместо «орла» отгискивали колосистый герб.

Познания в детских азартных играх мне пригодились при семейном детективном расследовании. Сначала просто недоумевали, куда пропадает мелочь, — заподозрили собственного сынишку Артема. Да не пойман — значит чист. Однажды прохожу двором и вижу знакомую разметку и характерные вмятинки на асфальте. Пришлось пойти на хитрость и соврать, что приходили милиционеры и сфотографировали, как он ставил на кон. Скоро в игрушках нашлась и свинцовая бита. Что ни говорите, а живы традиции. Только на смену инвалидам войны пришли молодые «лохотронщики», а методы отъема денег у доверчивых граждан — те же.

Однако азартные игры и инвалиды на рынках оказались безобидной шалостью. Возвращаясь с фронта, понатащили «на память» трофейных пистолетов и всякой взрывчатки: кто рыбу глушить, кто на всякий случай — в хозяйстве пригодится, а кто и с тайным умыслом.

Две воровские банды лютовали в городе — «Черная кошка» и «Красный петух». Грабили магазины, убивая сторожей — несчастных стариков и старушек с незаряженными дробовиками. Врывались в квартиры, поджигали дома и растаскивали в суматохе вещи погорельцев.

Промышляли кровавым ремеслом не отдельные «герои»: за всеми кошмарами чувствовались изопренный

ум и профессиональная организация. В крепкой организации бандитского сообщества я однажды убедился. Вечером мать пришла со слезами на глазах: зашла в магазин с сумочкой, где лежала зарплата и все документы, а вышла с аккуратно обрезанными ручками сумочки. И надо ж так случиться, что именно в этот вечер к ней пришел за помощью матерый уголовник. Я уже говорил, ее знали как одного из лучших «защитников» (так официально именовались адвокаты) в уголовных судебных процессах. Не знаю, какой между ними произошел разговор, но на следующий день смутного вида паренек вручил ей новую сумочку со всем содержимым, даже что-то лишнее оказалось, в счет возмещения морального ущерба.

Не в пример нынешней, тогдашняя милиция действовала быстро и решительно — за бандитов взялись мертвой хваткой. Замечу, по зарплате и социальной обеспеченности послевоенные милиционеры жили куда скромнее нынешних. Меньше чем за год навели порядок. На улицах города стало тихо и спокойно.

А улицы в Новосибирске были красивые. Маленькие домики чуть в стороне от центра, да и в самом центре по самую крышу утопали в зелени, и на каждом воротах или на углу дома обязательно горела лампочка, освещающая номер, и тротуар, и проезжую часть. За лампочками строго следили участковые милиционеры: за людьми приезжали по ночам, на машинах, и чтобы не буксовать в грязи энкаведешникам и не плутать впотьмах, за дорогами и освещением следили строго.

* * *

Крутилась на свой лад и наша ребячья жизнь. В школе выдали тетрадки из белой бумаги с косыми линейками и ввели на наши несчастные головы уроки

чистописания. Настало время переучиваться, исправлять загубленные почерки. О-хо-хо, какая предстояла работенка: целыми строчками выводили одну и ту же букву, со строгим наклоном, с красивым нажимом и волосяными хвостиками. В тоненькую деревянную ручку с наконечником вставляли металлические перышки только под № 11 или 86. Упаси Бог, если учительница обнаружит «рондо» — перышко с овальным кончиком: получишь неприятную запись в дневник. С нажимом писать мы все-таки научились, но почерки у людей военного поколения так и оставили желать лучшего.

И еще одно невиданное новшество — к нам в класс пришел настоящий лектор. Уютный старичок расположился за учительским столом, пристроил сбоку папочку и начал рассказывать такие сказки, что в классе полет мухи походил на вой истребителя. Честно признаться, многому из его рассказов мы верили. О космических кораблях и полетах на Луну читали у Жюль Верна. И электрическим поездам и автобусам не удивлялись: нужно, по нашему разумению, разместить розетки на каждой остановке и пристроить сзади длинный провод. Сейчас и не припомню всех чудес из рассказа старичка, но в одном мы с ним категорически не согласились: надо ж такое придумать, что наступит время и мы, лежа на диване (!) будем смотреть дома настоящее кино. Где ж это столько киномехаников возьмут? А жить они тоже с нами будут, да еще с каждого деньги собирать? Но мы простили фантазии старичку: сами могли напридумать такого, что ему и не снилось!..

* * *

А годы шли. Миновала послевоенная денежная реформа. Обменяли в 1947 году прежние обесцененные бумажки из расчета один новый рубль за десять

«военных». Открылись огромные гастрономы, куда мы, изголодавшиеся за военные годы ребятишки, и заходить поначалу не решались. Только рассказывали друг другу о гастрономических чудесах, если доводилось подойти к прилавку вместе с матерью. До денежной реформы у прилавков стояли только бочки с икрой, селедкой, горбушей и кетой. На этой рыбе с картошкой и выжили. И вдруг за стеклянными витринами — кубы масла, круги сыра, с крюков свисают плети колбас...

Из всех гастрономических изысков мы сразу выбрали хлеб, густо намазанный гидрожиром. Из чего делали это «чудо» пищевой промышленности, больше похожее по цвету и запаху на загустевший мазут, — до сих пор для меня «военная тайна», но изголодавшимся ребятишкам и такой продукт казался сытным лакомством. А по большим праздникам нам доставалось от родителей по куску серого хлеба с шоколадным маслом и кусок сахара-рафинада. Белоснежный твердый и до невозможности сладкий кусок рафинада мочили в воде и грызли с великим наслаждением, не зная, что гробим зубы. К изысканным лакомствам относились и пачки сухого киселя, кубики какао с сахаром... Заваривать их никто и не старался, разве что изредка запивали водой, и еще с удовольствием грызли плитки фруктового чая...

* * *

И тут на меня свалилось неожиданное-негаданное. После выпускных экзаменов на свидетельство об окончании начальной школы, — сдавали четыре экзамена: русский язык (устно и письменно) и арифметику (тоже устно и письменно), — мать объявила, что я поеду в далекий город Ставрополь... поступать в суворовское военное училище.

Отец мой, Николай Ефимович, «пропал без вести» на фронте в звании майора десантных войск. «Пропал без вести» значило: в списках живых и погибших не значился. Пропал он майором, и посему его сын причислялся к военной элите.

Ставрополь так Ставрополь; к военной карьере с детства меня не тянуло, но я знал, что у суворовцев красивая форма и на них с завистью посматривают даже ремесленники. К тому же в неведомый мне город дорога лежала через Москву, и не поездом, а на настоящем самолете, на скоростном лайнере «ИЛ-14» с бесконечными посадками.

На несколько дней мы сделали остановку, чтобы посмотреть столицу. И самое яркое впечатление осталось у меня от концерта Утесова в летнем театре «Эрмитаж». Он представлял новую программу: «Дорогие мои москвичи», и заканчивалась она песней, которая и по сей день не сходит с эфира и концертных площадок. Утесова мы знали не только по патефонным пластинкам. Приходилось и на улицах встречаться: в годы войны оркестр в полном составе эвакуировался в Новосибирск.

Экзамены я сдал без особого труда, хотя конкурс был приличный.

На подготовку офицеров новой формации, в основном для работы за рубежом, денег и сил не жалели. Сразу после зачисления нас взял под опеку капитан Москвин — человек высочайшего интеллекта, выдержки и доброжелательности. Сначала он принялся, и не без успеха, обучать разболтанных мальчишек военной поры правильно сидеть за столом, заправлять салфетку, пользоваться приборами в строгом соответствии с подаваемым блюдом, с достоинством ходить по коридорам, прямо держать спину за столом в учебной комнате (парт

в училище не полагалось) и посещать туалеты в полном соответствии с правилами хорошего тона.

Суворовское училище совсем не походило на школу, и от прежней разболтанности отучали сразу и решительно. Во-первых, жизнь обустраивалась строго по расписанию, минута в минуту. Во-вторых — по команде.

Но училище изначально не превращалось в большую казарму с железной дисциплиной. К любому офицеру, независимо от звания и должности, воспитанники подходили, соблюдая, конечно, ритуальное обращение, с любым вопросом, и просто делились ребячьими проблемами.

Преподаватели после уроков разъясняли непонятный материал как угодно долго и доброжелательно, вовлекая воспитанника в непринужденный разговор о предмете. С первого дня каждый понял: на привычной зубрежке далеко не уедешь, прежде всего требовалась заинтересованность в каждом предмете.

Уроки проходили необычно. На истории нам показывали документальные и художественные фильмы, на рисовании — разбирали картины великих художников, оценивая не только содержание, но и цветовое решение, достоинства и ошибки художника — например, в «Последнем дне Помпеи». Причем на предыдущем уроке истории мы изучали развитие и государственное устройство Помпеи. На географии — происхождение вулканов и причину гибели процветающего города. А по картине познакомились с его постройками и костюмами жителей.

Суворовцы, будущие военные дипломаты, прежде всего получали интеллектуальное развитие. Я уж не говорю, что каждый воспитанник, в зависимости от слуха и голоса, попадал или на индивидуальное музыкальное обучение, или в хор, знакомился с классической

музыкой, биографиями и творчеством композиторов. Серьезно изучал основы нотной грамоты, чтобы в недалеком будущем освоить фортепьяно, а может быть и другие музыкальные инструменты.

На втором курсе воспитанников учили танцам и светским манерам: как подойти к девушке, пригласить на танец, как ее держать — за талию или за руку.

Нам же, пятиклассникам по школьным понятиям, преподавали пока основы общего этикета. Капитан Москвин предлагал каждому прийти в гости к незнакомым людям — например, в дом девушки. Один выходил из класса и затем входил, изображая в подробностях свое будущее посещение, а другие изображали девушку, ее родителей и родственников. Учитывалось, как вошел гость, представился, как вел себя за обеденным столом, в общей комнате, где присутствуют несколько взрослых, умеет ли поддержать разговор в непринужденной светской беседе. Мы разыгрывали целые спектакли с необходимыми декорациями, а затем вместе обсуждали, что получилось хорошо, а где гость оказался не на высоте. Причем темы «спектаклей» придумывали заранее: от политических диспутов до светских раутов с чтением стихов, музицированием, обсуждением новых фильмов и театральных спектаклей...

Самыми сложными и непривычными, по-первости, стали уроки английского языка. Преподаватель, кажется старший лейтенант по званию, в недавнем переводчица на высоких раутах с союзниками, с первого дня говорила только на английском. Изредка она вставляла русские слова, но больше показывала на предметы или жестами изображала смысл текстов. Прочувшись по такой системе всего полгода, я и в институте много лет спустя блистал классическим произношением.

Но и шагистики в училище хватало. Офицера без военной выправки не бывает. Утром, после обеда, вечером мы попадали в распоряжение старшины. На плацу под его зычным голосом как-то сразу забывались и интеллектуальные игры, и музыка, и произведения искусства. «Ра-авня-яйсь! Сми-ирна-а! Шаг-гом, по-овзводно-о, а-арш!!!» По несколько часов в сутки, а перед военным парадом 7 Ноября время на строевую удвоилось. Но нас это особенно не угнетало, хотя металлические подковки на сапогах стирались за два дня. Утром набивали новые, и снова на плац: лучшим доверят пройти в шеренге настоящего военного парада, о чем мечтает каждый мальчишка, а уж суворовец — тем более. Нашу шеренгу сформировали вперемешку: один младший, один второкурсник. Прошли — и «сорвали» аплодисменты зрителей!

А под Новый год меня отчислили... Вызвали к начальнику училища. Тот как-то по-доброму, сочувственно посмотрел на меня, потрепал по голове: «Не расстраивайся, парень ты хороший, крепкий — в жизни не пропадешь». И почему-то отвернулся...

Дали мне в сопровождающие солдата, и через несколько дней я оказался в родном Новосибирске, по новому адресу (пока меня не было, матери дали комнату с центральным отоплением на пятом этаже большого дома по проспекту Сталина, 5). И школу, родной кирпичный теремок, пришлось сменить на знаменитую «десятку». Начиналась другая жизнь.

Причину отчисления из училища я узнал позже. Оказывается, пока я набирался интеллекта и постигал азы военной науки — нашелся «пропавший без вести» отец, Николай Ефимович Тарасов. И не где-нибудь, а в самой Германии, в западной ее части.

После освобождения из плена американскими войсками он, памятуя о событиях 1937 года (когда был арестован, кидался на следователя с табуреткой и каким-то чудом выбрался из застенков НКВД), счел за благо поселиться подальше от советских концлагерей. Перебрался, по слухам, в далекую французскую Ниццу. Женился. Родил дочку, мою сводную сестру. Там и затерялись его следы.

И, хотя развелись они с матерью еще до войны, в конфиденциальной беседе представитель соответствующих органов мягко посоветовал мне навсегда забыть о военной карьере. Наверное, это тот редкий случай, когда мне в жизни крупно повезло: с детства не переносу командного тона, обязательно сделаю наоборот. А суворовское училище все-таки жалко: уж очень красивую по тем временам форму носили его воспитанники и учиться, не в пример обычной школе, было интереснее.

О первых заработках, первой любви, хороших книгах и запрещенной музыке

Знакомство мое с обитателями дома по Проспекту Сталина, 5 (ныне — улица Ленина, 20) началось с квартиры тремя этажами ниже. Там жила подруга матери. Супруг ее, Трофим Ильич, крепкий старик лет за семьдесят, брал меня двумя руками, поднимал и ставил на ноги позади себя. Биография Трофима Ильича больше походила на легенду из сибирской жизни.

«Строили мы тогда Транссибирскую железную дорогу. Мороз за 50 градусов, аж лапы у сосен загибаются. Рабочих с полсотни, и мы, два мастера по-нынешнему, а по-старому — «десяцкие». Садимся с напарни-

ком в избушке, выпиваем четверть водки, съедаем по гусю и, шубы нараспашку, идем проверять дела. Когда мороз совсем невмоготу, набиваемся в одну избушку и устраиваем охоту на клопов. Словим парочку-другую — и на мороз. Иные гады больше часа выдерживали. Занесем в тепло, полежат, оттают — и поползли. Ох и крепкая «скотинка»!

А мы сутками в тепло не заходили: стакан водки, кусок мяса пожирнее — и на стройку.

Все бы ничего, да хунхузы (китайские бандиты) одолевали. Вернемся на стоянку — а продуктов нет, и инструмент разграблен. Нагоняем по следу — отстреливаются. Одного рабочего насмерть, другого ранили. Изловчились и поймали двух бандитов, аккуратно в середине лета. Кто-то вспомнил старинную сибирскую расправу над душегубцами. Раздели хунхузов и привязали к дереву. О ту пору — самый комариный сезон. Тучи их, хоть руками разгребай. С тех пор хунхузы больше не пакостили».

Много таких историй рассказывал Трофим Ильич. За давностью лет стерлись они из памяти. С тех пор прочел я не одну книжку о строительстве Транссибирской магистрали. Все больше об инженерах, об изыскателях... О рабочих, что жили в землянках и мерли тысячами, особенно пришлые переселенцы из Центральной России, написано куда как меньше, а именно они и хватили лиха. Коренные таежники, сибиряки к холоду и тяжелой работе привычные. И зарабатывали совсем немало, и дома, где жили, до сих пор глаз радуют. Обычный плотник получал больше двадцати рублей в месяц, а корова, к примеру, стоила два-три рубля. А уж о десятниках или инженерах и говорить не стоит: инженер Будагов при строительстве железнодорожного моста через Обь

на свою зарплату содержал двух учителей в открытой на его же средства школе для рабочих. Но это так, для сравнения...

И еще помнил Трофим Ильич с той поры китайский язык. И скоро появился у него прекрасный собеседник.

Каждую неделю в подъезде раздавался зазывный клич: «Сапоги у-учиняйла-а!», и на площадке между первым и вторым этажами раскладывал инструмент сапожник Ваня-китаец. Женщины и ребяташки тащили к нему изношенные башмаки и туфли. Ваня их внимательно осматривал со всех сторон, помечал мелком и садился за работу. И тут же появлялся на площадке Трофим Ильич. Ставил рядом табуретку и часами беседовал с сапожником, а тот постукивал молоточком по очередной обуви, насаженной на стальную «лапу», спивал смоленной дратвой «разъехавшиеся» дырочки...

Не знаю почему, но после войны в городе появилось много китайцев. Может, тому способствовало китайское консульство на улице Чаплыгина (сейчас в этом трехэтажном доме старинной постройки под номером 47 много организаций, в том числе и близкая нам, журналистам, редакция газеты «Приобская правда» Новосибирского района).

Китайцы монополизировали сапожное ремесло: сидели на улицах, заходили во дворы и подъезды... И еще распахали откосы вдоль реки Ини (ныне безнадежно заросшие тальником), от Бердского шоссе до реки Оби. На своих огородах посторонних не жаловали, но в городских дворах с ранней весны до поздней осени слышалось протяжное: «Перидиска-а, перидиска-а, свежая каши-изда-а!» В городе они жили долго, но когда в Китае началась культурная революция, враз исчезли.

* * *

Новый двор оказался обычным, даже скучным на первый взгляд. Пятиэтажный дом наглухо замыкал его с двух сторон. С третьей — стена соседнего дома. Позади — ряды сараев, по одному на семью, а в каждой из сорока квартир — по две-три семьи. За сараями, по периметру, барак и высоченный забор, отделяющий двор от полусекретного объекта со сторожами.

У забора — беседка, оккупированная подрастающим поколением. В ней обсуждались и принимались глобальные решения, до деталей разрабатывались планы операций. И в ней укрывались от громкого оклика из форточки: «Лева (или Игорь, или Толя) — до-омо-ой!» С высоты полногабаритных этажей двор — как на ладони. Единственное спасение — очередная массовая стирка, когда двор окутывался влажной завесой чистого белья и женской бранью в защиту места на столбах. У этих столбов и разразилась однажды настоящая война. Наступательные операции развернули мальчишки по наущению взрослых мужчин.

Куда в то время после работы мужику податься? Телевизора и в помине нет. Сидеть дома — мука смертная: в одной комнатке и дети, и жена, на кухне тоже не протиснуться: три стола, да еще и печка. Даже трехсекционное окно кухни делилось поровну (холодильников в ту пору не знали и скоропортящиеся продукты укладывали между рамами или вывешивали наружу через форточку). И в коридоре три электросчетчика, три выключателя на косяке туалета: каждый имел право включить только свою лампочку. Не дай Бог ошибиться «пипочкой» — скандал на несколько дней.

Готовили на электроплитках. К праздникам пироги пекли в духовке, протапливая печку в строгой очередно-

сти, а дрова хранили в сарае и, по мере необходимости, затаскивали на пятый этаж. В общем, обстановка не для мужского общества.

Кажется, дяде Косте, моему соседу по квартире, первому пришла мысль соорудить во дворе волейбольную и городошную площадки. Идею мигом подхватило все мужское и подростковое население.

Одна проблема: куда девать бельевые столбы? Разместили их по периметру. Но играть в волейбол, когда в метре от площадки положится белоснежная соседская простыня... Что вам объяснять! Однажды выдернутые из земли волейбольные столбы кое-как отыскались в дальнем углу двора, а на их месте красовались знакомые, бельевые (воспитанные военными невзгодами женщины обладали недюжинной силой и решимостью). Днем мы вкапывали свои и натягивали сетку, утром над площадкой хлопала на ветру белая полотнища простыней.

Наконец, стороны согласились на перемирие — волейбольную и городошную площадки мы все-таки отстояли. И играли до полной темноты. Случалось, чтобы закончить принципиальный поединок, оборачивая мяч белой тряпкой.

А зимой произошло еще большее чудо: под руководством дяди Кости построили едва ли не первую в городе дворовую хоккейную «коробку». Шайбы никто из нас в глаза не видел, а клюшек — тем более, но каток получился отменный, даже провода с лампочками протаскивали из окон лояльных к спорту квартир.

* * *

Игры играми, а хотелось и в кино сходить, и мороженное купить — его продавали из длинных цинковых банок, аккуратно укладывая порцию лопаточкой в круг-

люю мороженицу поверх вафельки, сверху клали еще одну вафельку и выдавливали наружу.

Первые собственные доходы пришли к нам сами. Сидим как-то летом в беседке, ведем неторопливый разговор, и вдруг подходит продавец из магазина «Овощи и фрукты» (был и такой в нашем доме): «Заработать хотите?»

Идем за ней в подвал магазина, а там — эстакады ящиков с яблоками. Нам и одним яблочком похрустеть — великое счастье. А здесь: «Можете есть, сколько влезет. С собой не брать!» Оказывается, из далекого Китая шел состав фруктов. В Новосибирске проверили — оказалось, в одном вагоне яблоки начали портиться. Его отцепили и ящики с ароматной продукцией свезли в магазин. Предстояло их перебрать и все подгнившие отложить в сторону. «Получите по три рубля. Согласны?» Еще бы не согласиться! На завтрак в школу родители выдавали по 20-30 копеек, и то умудрялись экономить. А билет в кино на вечерний сеанс стоил 50 копеек.

Вечером нас выпустили на свободу, похвалили за ударный труд и проводили к кассе, где и выдали наличными дневной заработок. Но с полдороги окликнули: «Постойте, хлопцы!» С перепугу не поняли: каяться в непомерном количестве съеденных яблок или «рвануть» во все лопатки. Оказывается, пока мы получали «кровные», в магазин доставили новые ящики. «Завтра с утра за работу. Условия те же. Пойдет?» Еще бы не пошло: за два дня заработать такую кучу денег.

Но сначала в беседке провели оперативное совещание. Завтра вместо Лени Некрасова пойдет другой. Лене же поручалась задача огромной стратегической важности. Мы заметили в подвале форточку, не прикрытую решеткой (металлическими прутьями прикрывали в те времена

только окна военных складов и стратегических объектов). Задача Лени — опустить через форточку хозяйственную сумку, в которую мы нагрузим отбракованных яблок...

На следующий день Леня успел сделать четыре или пять рейсов. Теперь можно не только вдоволь походить в кино, а главное — на соревнование борцов в цирке, но и угостить родителей, знакомых и школьных друзей фруктами из экзотической страны.

На сей раз для шустрого и сметливого Лени Некрасова обошлось без последствий. Редкий случай!

По жизни «любитель острых ощущений», Леня постоянно попадал в самые дурацкие ситуации. Однажды возвращается домой, а у подъезда грузовик, доверху груженный ящиками с грушами. Как позже выяснилось, из магазина вывозили на свалку подгнившие фрукты. Мимо такого искушения он, конечно, пройти не мог. Забрался в кузов и напихал за рубашку добрых пол-ящика. Раздулся, как пузырь. А тут — рабочее. С перепугу ринулся вниз и грохнулся, аж брызги вокруг разлетелись. В таком ароматном киселе и предстал перед матерью. Досталось горемыке «по первое число» за испорченную новую рубашку.

В другой раз идет Леня домой, и новое искушение: рядом с магазином — бочки из-под джема или повидла и на дне — тоненький слой остатков дивной сладости. Недолго думая, портфель в сторону — и в бочку, полакомиться — только ноги сверху торчат. На беду кто-то проходил мимо. Леня нырнул на дно и затаился. Каким он вылез, представить не трудно. И опять мы с сочувствием слышали его вой из окон второго этажа.

И еще об одном приключении Лени Некрасова. Как-то мать ушла из дома и закрыла дверь. В школу он особенно не стремился и всегда искал повод прогулять

урок-другой. А тут разыграли патриотические чувства: открыл окно, выбросил портфель, привязал к батарее веревку и начал спускаться. А под окном — магазинный навес, покрытый рубероидом. На него и рухнул наш герой. Исцарапался, разорвал одежонку... К счастью, обошлось без серьезных ушибов и переломов. Навес мы ремонтировали всем двором...

Отчаянное любопытство довело его до большой беды. Среди популярных развлечений того времени был карбид. Мы «добывали» его на стройках. Выкапывали ямку. Кидали в нее карбид. Обливали водой. Он шипел и интенсивно выделял газ. Быстро-быстро забивали сверху консервную банку с дырочкой в донце. К дырочке на длинной палке подносили горящую тряпку или бумагу, отворачивая лицо. Газ взрывался, и банка летела высоко в небо, раскидывая вокруг шипящие карбидные брызги. Зрелище впечатляющее. Однажды не сработало. Газ подожгли — а взрыва нет. Нетерпеливый Леня подбежал посмотреть. Нагнулся над банкой — и тут рвануло... Из больницы он вернулся со шрамом на лице и ослабленным зрением.

На смену карбиду пришла эпидемия «взрывных ключей». Тоже развлечение не из безопасных. В полую часть ключа (а он должен иметь в основе трубочку) крошились головки спичек. Затем вставляли гвоздь. Длинной веревкой ключ и гвоздь увязывались в петлю. Оставалось с силой ударить о стену — и раздастся взрыв.

Но ключ оказался невинной забавой по сравнению с «поджигом». У ребятшек послевоенных лет к оружию священно-трепетное отношение (у меня оно прошло через всю жизнь). С особым почтением шли за офицерами с кобурой на боку и рассказывали, что из нее торчала ручка настоящего нагана (слово «пистолет» еще

не вошло в широкий обиход). Хотя знали, что носят кобуру чаще для соблюдения военной формы, набивая ее старыми газетами. Кому-то из мальчишек ее даже подарили — старенькую, истертую, но, по его утверждению, отец прошел с ней от Москвы до Берлина. Все завидовали ему и даже рисковали предложить обмен, но существовали святые вещи, которые ни продать, ни обменять никто бы не решился. Положить в кобуру игрушечный пистолет, по нашим понятиям, — кощунство и позор. Значит, нужно раздобыть серьезное оружие.

Не знаю, кто и когда изобрел «поджиг». Им пользовались партизаны, а древние ружья вообще работали по этой системе. Все предельно просто: в медную трубку, наглухо заклепанную с одного конца (именно медная считалась наиболее прочной) засыпается через ствол порох, забивается пыж, несколько дробинок и снова пыж. Сбоку трубки — небольшая прорезь, вплотную к ней — головка спички. Чиркнул коробком — нешуточный выстрел, и дробь глубоко застревает в доске. Рассказываю, Боже упаси, не как руководство к действию. У многих «оружейников» тех лет поотрывало пальцы, выжгло глаза, а одного «страстного экспериментатора» хоронили всей улицей.

Начиналось в нашей компании и другое порочное увлечение. Забравшись за сараи, вся компания пускала клубы ароматного дыма. Пристраивались обычно у дальнего сарая тети Бэлы, и ей это почему-то не нравилось. Заметив из своего окна клубы табачного дыма, она обрушивалась на нашу компанию с эмоциональными криками, поминая при этом наших предков и угрожая, что именно от ее сарая начинается бандитская дорожка. Кричала тетя Бэла громко, истерично, на весь двор, намекая нашим родителям, что их безнадзорная шпана скоро спалит весь дом и пойдет по этапу. И успокаивалась,

только когда раскрывались форточки и нас призывали для очередного возмездия. Лихая компания не оставляла безнаказанным покушения на свободу и независимость. Зимой, по случаю крайней нужды на катке, каждый считал за особую честь направиться прямо к крайнему сараю, и огромный навесной замок превращался постепенно в глыбу льда с характерным оттенком.

Жил и еще один вредный дед в нашем доме. С упорством и хитростью, достойными бывалого разведчика, он неусыпно следил за нами и во всех подробностях докладывал родителям, не гнушаясь придуманными им самим эпизодами и аналитическими выводами. А комната его располагалась на четвертом этаже, прямо под нашей.

Впритык к столу стоял у нас в углу цельнокроенный из дуба огромный буфет. Человек пять ребятишек с трудом сдвигали его с места, отрывая от стены, и, громко топая, маршировали по комнате, пока не раздавался стук в дверь квартиры со стороны лестницы. Вся компания мгновенно протискивалась в щель и пряталась за буфетом. Разъяренный сосед врывается в комнату и заставал идиллическую картину: умный, хороший мальчик (это я) прилежно склонился над тетрадкой. Сосед обомлело озирал уютную тишину комнатки, не понимая в растерянности, откуда только что раздавался грохот марширующих подошв. Но не так-то он был прост: после двух-трех massированных маршей устраивал засаду на лестничной площадке и поименно засекал всю осторожно проползающую компанию.

* * *

Потихоньку мы выросли, и беседка становилась штабом осмысленных, почти взрослых разговоров. Чтение стало едва ли не главным в жизни. У нас в доме даже

жил свой, настоящий писатель — Александр Александрович Мисюрев. Его дочка, Евгения, была постарше и на нашу компанию поглядывала снисходительно величаво. Зато сын, Левка, был наш ровесник, участник, а то и заводила проказ и походов. Семья Мисюревых достатком не отличалась: мама работала на заводе, а серьезные писатели в то время (впрочем, как и сейчас) едва сводили концы с концами. Книжки Сан Саныча, как попросту звали его во дворе, — «Легенды и были Западной Сибири», рассказы о Московском тракте — мы знали наизусть.

Сейчас Мисюрева, как и многих стоящих сибирских писателей, не издают, и имена их потихоньку стираются из памяти. А в то время, и даже много позже, в пединституте, я гордился знакомством с «Сан Санычем», хотя побеседовать нам редко удавалось, да и общих тем для разговора еще не находилось. Даже когда мы заходили к Левке в гости, домашние предупреждали: «Типе, папа работает». Помню только, что специально для него заваривали крепчайший чай, и курил он дешевые сигареты «Памир», разламывая их на две половинки и вставляя в почерневший мундштук. То ли в шутку, то ли всерьез и нам советовал пользоваться мундштуком: все-таки меньше гадости попадет в легкие. И мы, «втихаря» начиная курить, тоже обзавелись мундштуками, но быстро избавились от вещдока, по которому родители махом разоблачали порочное увлечение и «прописывали по первое число».

В той же квартире номер 37 с вредным стариком жила чудесная семья Базловых — мама и дочка. С дочкой и произошла у меня памятная встреча после долгих лет разлуки. Я знал только, что она окончила медицинский институт и работает врачом в областной больнице.

Почти год я зимовал на полярной станции, а тем временем в стране шел обмен военных билетов. И хотя срок обмена я пропустил по уважительной причине, ехидный военком, поняв, что взыскание наложить не удастся, направил меня на медицинское переосвидетельствование и выбрал, нехороший человек, заседание допризывной медицинской комиссии. Можете себе представить закаленного арктическими ветрами и морозами бородатого мужика в полном «неглиже» в компании с подростками. Это бы еще ладно. «Смертельный номер» ожидал меня несколькими мгновениями позже: прямо против входа, во главе медкомиссии, восседала Ниночка Базлова. Не помню, куда я хотел провалиться, но она легла на стол от смеха.

Но в ранней юности сыграла Ниночка Базлова не последнюю роль в нашем интеллектуальном развитии. Тогда далеко не в каждом доме имелась библиотека: книги стоили дорого, да и порядком скучали мы над произведениями нудных коммунистических авторов. А у Нины оказалось много интересных книжек, и давала она их читать без всякого «жмотства». Даже приходила к нам в беседку поговорить. У нее тогда завязывался юношеский роман с нашим другом и кумиром Владиком Казаковым. А кумиром он стал, когда лихо въехал во двор на мотоцикле. Где, в какой секции он этому научился, но остался на всю жизнь профессионалом. Начал с автоинспектора и дослужился до начальника областной ГАИ.

Когда книжные запасы жителей дома по проспекту Сталина, 5 перечитали, начался обзор библиотек одноклассников. Самыми богатыми оказались книжные полки Витьки Дерягина. Увы, нам на них разрешалось только смотреть и завидовать. За это его и не любили,

и еще — за детское бахвальство. Как-то даже пробился в артисты театра «Красный факел» — в спектакле «Дети Ульяновых» сыграл роль маленького Владимира Ильича. Посмотрели мы тот спектакль всем классом, и Витька нам понравился: свой доморощенный артист, — но произведение искусства в целом особого впечатления не произвело. Нас уже интересовала другая тематика и другие авторы.

Может, именно бахвальство помогло или заставило Витьку после школы совершить почти героический поступок: не пройдя по конкурсу в Московский государственный университет, устроился рабочим на его строительство и стал в итоге студентом самого престижного по тем временам вуза страны.

Зато другой одноклассник, Хаймович (имени, увы, не помню), давал нам книжки из своей библиотеки беспрепятственно, только с одним условием — вернуть в строго определенный срок, чтобы и других не обидеть. А какие книги стояли у него в шкафу! Все тома о похождениях мушкетеров, «полный» «Граф Монте-Кристо» и еще много-много подобных чудес. Да просто прийти в дом Хаймовичей считали за счастье — двенадцатиструнная (!) гитара чего стоила (мы и семиструнную только в кино видели). И играл он на ней так, что уходить не хотелось.

Наконец, дошла и моя очередь до «Мушкетеров». Одна незадача — срок такой, что три тома едва успеешь одолеть, а как быть с уроками? Двоек нахватаешь — тоже не поздоровится. И тогда я придумал «гениальный» ход. Надолго слег в постель с фантастическим заболеванием: температура под 40 градусов, а голова холодная и все анализы показывают — «совершенно здоров». Хитрость в технике: если тихонько стучать по верхней части гра-

дусника, ртутный столбик ползет до нужной отметки. Можно попросить у обеспокоенной мамы стакан чая и опустить в него градусник, но такая операция требует особой точности: чуть прозевал — и градусник «зашкалит», а то и лопнет.

Недели две я морочил голову врачам и собственной маме. А закончилась болезнь до предела банально: пришла мудрая пожилая женщина-врач, прослушала меня со всех сторон, приложила губами к моему лбу, проверила пульс и, воткнув сразу два градусника под обе подмышки, села напротив и откинула одеяло. Десять минут она неотрывно смотрела на меня грустным взглядом. Закончив экзекуцию, сверила показания двух ртутных столбиков, заметила на прикроватной тумбочке «Трех мушкетеров» и сказала тихим душевным голосом: «Все прочел? Давай-ка, дружок, завтра в школу, и если наполучаешь двоек — все расскажу матери. Догонишь класс — «болезнь» останется между нами. Договорились?» А что мне оставалось делать, пришлось забросить дворовые развлечения. Мать удивлялась: «Что это доктор так заинтересовалась твоей успеваемостью?» Я недоуменно пожимал плечами. Класс я нагнал, даже в «хорошисты» выбился... И доктор сдержала слово: секрет «заболевания» так и остался между нами.

Записаться в хорошую библиотеку после войны было непросто. Одно время я пользовался книжным фондом Дома Красной Армии (так назывался нынешний Дом офицеров), но после моего возвращения из суворовского училища военкомат отказался выдать мне направление. Коллегия адвокатов, где работала мать, своей библиотеки не имела. К счастью, мы «раскопали» читальный зал областной библиотеки. На дом оттуда книжки не выдавали, но можно хоть целый день сидеть

в читальном зале. Тогда мы всем двором и освоили самого любимого по тем временам писателя — Виктора Гюго. И когда однажды прочли в «Литературной газете», что французы не знают своего писателя — долго возмущались необразованностью целого народа. Много лет спустя, когда мне подарили «Человека, который смеется», я понял французов: не смог преодолеть и половины бесконечно растянутого текста. Зато Майн Рида, Фенимора Купера и Жюль Верна как полюбил с детства, так и до сих пор читаю с упоением, особенно когда становится тошно на душе, а голова «забита» почти неразрешимыми проблемами. И помогает, даже сложные проблемы решаются и как-то уходят сами собой.

* * *

И еще рядом по жизни всегда шла музыка. Сначала были духовые оркестры колонн, уходящих на фронт. И просто духовые оркестры. Они играли в парках, скверах, маршировали по центральным улицам, поднимая настроение и патриотические чувства горожан. И, конечно, военные песни. Помню, удивлялся в детстве: чего ради мать и ее гости ставят на патефон заунывные мелодии непонятных танцев, когда в той же стопке лежит «Марш артиллеристов»:

Артиллеристы, Сталин дал приказ.
Артиллеристы, зовет Отчизна нас.
Из многих тысяч батарей, за слезы наших матерей,
За нашу Родину — огонь, огонь!

Или про летчиков:

Все выше, и выше, и выше,
Стремимый полет наших птиц,
И в каждом пропеллере дышит
Спокойствие наших границ.

Жуткая поэтическая абракадабра, но на таком патриотическом словоблудии выросло не одно поколение советских людей.

Подошло время и нам сменить бравурную музыку на песни «про любовь». Но началась борьба с космополитизмом и всякой иностранщиной. Танго переименовали в «медленный танец», фокстрот — в «быстрый». Джаз загнали в глубокое подполье, хотя знаменитый утесовский фильм «Веселые ребята» с талантливым пастухом и домработницей нравился, по слухам, самому «отцу народов». А наши патефоны крутили довоенные пластинки производства иностранной фабрики «СOLUMBIA» с развесившей уши веселой собачкой у трубы граммофона.

Самый богатый набор таких пластинок сохранился у Милы. Девочка она была серьезная, из состоятельной семьи, но умудрилась по-детски влюбиться в кого-то из наших сорванцов. И мы проникали иногда в ее чудоквартиру, где стоял огромный, таинственно поблескивающий лаком радиоприемник «Беларусь» с магнитным проигрывателем (немыслимое для простых смертных чудо техники!) Это, доложу я вам, не какой-то патефон с заводной ручкой. У Милы впервые и услышали мы голоса «антисоветских певцов» — Вадима Козина, Петра Лещенко и еще многих, теперь и не упомяну каких, русских и иностранных исполнителей. Больше всего любили сестер Бэри. Они пели известные песни, но «не по-нашему». Недавно я снова услышал их концерт на компьютерном диске и сделал для себя маленькое открытие: язык сестер Бэри оказался ивритом. А записей песен Петра Лещенко до сих пор найти не могу.

«Пробрались» на экран и фильмы, «взятые в качестве трофея»: «Большой вальс», «Снежная фантазия», «Серенада солнечной долины»... И открылся совсем

непохожий, красочный мир Дины Дурбин и мелодичный джаз Глена Миллера... И совсем другая, неведомая яркая жизнь...

И как-то сами собой ушли погони чапаевской конницы и сам экранный комдив, утонувший на берегу (в фильме он все-таки добрался до берега). И «Подвиг разведчика»... Мы даже не кричали больше легендарную фразу фашистского генерала, ограбленного актером Кадочниковым: «Все прогнило насквозь! Крутом коммунисты и евреи!» В последующих редакциях эту фразу из фильма вырезали.

Несмотря на запрет, джазом увлекались многие. Начальные уроки мы, мальчишки, проходили под «руководством» оркестра цирка-шапито. Каждую весну на площадке за клубом Сталина (ныне ДК им. Октябрьской революции) появлялись рабочие. Они сколачивали огромный деревянный каркас, натягивали брезент. Скоро появлялись красочные афиши, и огороженную заборчиком площадку заливало море огней. Над ареной цирка властвовал оркестр под управлением Георгия Габескерия, и в антракте между первым и вторым отделениями он исполнит свои песни:

Край родимый, дом любимый,
Там, где детство шло тропой неповторимой,
Где свиданья назначали у рябины,
Где тайком курили в парке у реки...

И чтобы послушать цирковой джаз и любимого исполнителя, мы умудрялись пролезать в цирк по каркасу под брезентом и натурализоваться за последними рядами.

Много лет спустя я увидел в Омске гастрольную афишу: «Государственный джаз-оркестр Грузии под управлением Георгия Габескерия». И, конечно, пошел.

И даже рискнул переправить на сцену записку, и он спел по моей просьбе знакомую до боли песню «Земляки» и по-доброму вспомнил новосибирцев.

Вообще, цирк — одно из сказочных воспоминаний детства. Но рассказывать о нем я не берусь после замечательной книжки талантливого новосибирского журналиста Евгения Мельникова «А в цирке широкие двери...» Могу только искренне позавидовать его энциклопедическим знаниям и широчайшему кругу знакомств с людьми, чьи имена мы с детства произносили со священным трепетом. А Евгений Иванович, мой ровесник, такой же мальчишка с соседней улицы, еще тогда пропал по другую сторону форганга — циркового занавеса: запросто общался с артистами и даже водил слона (!) по новосибирским улицам. Он и сейчас дружит с кумирами нашего детства и знает о них столько... Прочтите книжку, не пожалеете.

У меня же в памяти остался неповторимый запах опилок, случайная встреча с Карандашом, когда он бросил несколько добрых фраз низким голосом стайке мальчишек и распорядился бесплатно (!) пропустить нас на вторую часть представления, да один вечер за столом с «солнечным клоуном» Олегом Поповым, где он проверял степень своего опьянения палочкой, удерживая ее тоненьким торцом на носу... Все остальное я видел на арене, как обычный зритель, а пересказывать захватывающие цирковые программы времен моего детства с борцами и «летающими» в шаре мотоциклами — дело неблагодарное и малоперспективное.

Вторым воспитателем нашего музыкального вкуса стал едва ли не самый популярный в Новосибирске тех лет оркестр кинотеатра имени Маяковского. В старом здании архитектора Крячкова, с памятной скульптурой

поэта над входом, было по-домашнему уютно, не в пример нынешнему аквариуму, и перед вечерним сеансом красавица Маргарита Мелешко исполняла популярные песни. Тогда мы и услышали «вживую» (а не на пластинках) мелодии Цфасмана, Строка, Козина и даже Глена Миллера. Многие оркестранты вскоре стали солистами государственных джаз-оркестров Эдди Рознера, Варламова, Лундстрема...

Аkkордеонист кинотеатра учил игре на трофейном немецком «Hohner» нашего друга Славу Семухина, и нам разрешалось приходить перед сеансом и слушать оркестр под строгим надзором контролеров, чтобы не вздумали пробраться в зрительный зал. Иногда нам и это удавалось.

Слава Семухин почитался в нашей компании законодателем моды: ему первому сшили бостоновый костюм. И когда он однажды со всего длинного роста угодил в грязную лужу, мы ахнули от ужаса. К счастью, иностранная материя оказалась стойкой и к такого рода испытаниям. Но главное совсем в другом: брюки по низу полностью закрывали ботинки и полоскались при ходьбе, как два черных пиратских флага. Чтобы хоть немного приблизиться к такой роскоши, вся компания распоролла свои штаны от колен по шву, чтобы вставить специально скроенные клинья. До бостоновых «флагов» далековато, однако носки ботинок прикрывались. Но мы считали себя модными кавалерами, прогуливаясь с девочками «по броду» — народное «прозвище» тех лет участка Красного проспекта от кинотеатра имени Маяковского до площади Сталина (ныне Ленина).

С девочками мы ходили и в концертный зал оперного театра, на гастроли лучших симфонических и эст-

радных коллективов. До сих пор помню одно из последних выступлений Александра Вертинского. Болезнь сказывалась. На сцене стояло кресло, и он поднимался только при исполнении очередной песни. И тогда над старым, изможденным человеком легкими крыльями взлетали руки, и весь он устремлялся к неведомым далям. Через несколько месяцев он умер.

Так вышло, что после войны «идеологические диверсии» устремились в страну с невероятной силой и убедительностью. Фронтовики привезли в своих вещмешках губные гармошки, аккордеоны, а главное — несчетное количество пластинок с записями «прогнивших» капиталистических мелодий, которые почему-то отличались душевностью и мелодичностью. И не только привозили, но и размножали их «на костях» — так назывались в народе рентгеновские пленки, на которых хитрым способом «нарезались» популярные мелодии. Тогда еще не вошло в обиход понятие «контрафактная продукция», но это была именно она. И боролись с ней не как с экономической, а как с идеологической диверсией, а значит — владелец такой фонотеки, я уж не говорю об изготовителе, мог запросто «загреметь в места суровые» по самой страшной, 58-й статье на многие годы, а то и десятилетия.

В оркестрах запретили аккордеоны, саксофоны и еще какие-то «буржуазные» инструменты. За танцами бдительно следили партийные и комсомольские работники. Когда, например, на студенческом вечере в МГУ сыграли безобидного «Мишку» — «Комсомольская правда» разразилась убийственной статьей. Наверняка, «потерявшие бдительность» преподаватели в лучшем случае отделались строгими выговорами, а скорее всего, лишились работы. Такие были времена.

* * *

В дни массовых демонстраций по случаю 1 Мая и 7 Ноября на углах колоколообразные репродукторы оглушали патриотическими песнями и маршами. Колонны сопровождали самодеятельные оркестры и баянисты.

Организованное партией и правительством народное веселье поддерживалось на каждом перекрестке разбитными буфетчицами с бутылками в руках. За «умеренную плату» они разливали из кузовов машин с распахнутыми бортами прозрачную жидкость по граненым стаканам. Благо, у демонстрантов «умеренной платы» оказывалось немного, иначе многочасового пути к правительственной трибуне граждане страны Советов могли бы и не преодолеть.

С пьянством после войны особенно не боролись. Появление на работе в нетрезвом виде запросто могло закончиться судом, но зато после смены — «голубые Дунай» (народное название заведений типа кафе-забегаловок) или просто «занюханые» фанерные киоски с постоянным репертуаром скорчившихся в конвульсиях бутербродов с сыром или «ржавой» селедкой последней свежести стояли у каждой заводской проходной... и по четыре — на каждом оживленном перекрестке. Миновать «плотное заграждение» питейных заведений для простого смертного превращалось в серьезную проблему. Популярный анекдот тех лет: «Возвращается мужик с получкой. Прямо у проходной — «забегаловка». Отвернулся, прошел мимо. На первом перекрестке — еще четыре. Глаза зажмурил, проскочил. Дальше — штук пять подряд, стенка к стенке. Разогнался — аж до самого дома добежал. «Вот как нужно волю воспитывать! Такое грех не отметить!» — гордо подумал мужичок и вернулся в последнюю, прямо у крыльца».

И смех, и грех... А до сих пор стоит перед глазами психологический этюд. На улице Орджоникидзе, где сейчас девятиэтажный дом с магазином «Березка», некогда стояли слитые в единый барачный комплекс торговые точки, и среди прочих самая популярная — винный магазинчик, где из сатураторов разливали бордовое пойло. Но на пути к торговому комплексу — высоченное деревянное крыльцо. Стихийно возникший полукруг зрителей с интересом наблюдает: крепко подвыпивший мужичок изо всех сил старается добраться до винного оазиса. Вскрабкается ступеньки на две, качнется — и скатывается назад. Отошел мужичок на несколько метров от крыльца. Прислонился к стволу дерева и замер в сосредоточенном осмыслении ситуации. И вдруг оттолкнулся, разогнался из последних сил и, едва касаясь ступенек, влетел плашмя в гостеприимно распахнутые двери.

В киосках и забегаловках собирались колоритные типажи, большей частью недавние фронтовики в орденах и медалях. Малышню угощали горстью конфет-подушечек, рассказывали друг другу захватывающие истории, иногда дрались, а чаще пели под пьяную гармошку:

В блиндаже догорал огонек.
Тяжело мой товарищ дышал.
Умирая, меня попросил:
«Спой мне песню, родная душа».

У слушателей, и даже у неприступной буфетчицы, текли слезы, и в порыве чувственности она наливала исполнителю сто граммов «за счет заведения».

Для постоянных клиентов в киосках существовал кредит. На огромной доске позади прилавка каждые сто граммов отмечались палочкой, как трудодни в колхозах. В аванс и получку клиент расплачивался, меловые палочки стирались тряпкой, и открывался новый кре-

дит. Задержка расчета грозила лишением благосклонности и самому клиенту, и всем его друзьям...

Чаще всего мы бегали к «голубому Дунаю» у железнодорожной платформы «Мостовая» (сейчас ее сдвинули от автовокзала в Центр). Спиртное мы еще не употребляли (если не считать одного случая во время войны, когда здоровый балбес, хозяйский сынок, на взрослой вечеринке угощал меня сладким квасом, оказавшимся обычной брагой, и после каждого стакана просил пройти по одной половице, пока я не свалился «замертво», и мать целую ночь приводила в чувство «малолетнего алкоголика»).

В «голубом Дунае» на «Мостовой» среди завсегдаев нас привлекал колоритный старик с длинной седой бородой. Зимой он появлялся в шинели царского образца с приколотыми поверх тремя Георгиевским крестами, а летом — в старинной гимнастерке с теми же крестами. «Войдя в норму», он рассказывал о первой мировой войне. Мальчишки слушали, раскрыв рот, и даже трогали незнакомые награды. Под вечер его, порядком захмелевшего, забирала старенькая женщина. Дед ей безоговорочно подчинялся и уходил лихим печатным шагом, напевая парадные марши. В его исполнении мы впервые услышали «Боже, царя храни» и «Солдатушки, бравы ребятушки». Дед явно тянул на солидный срок по 58-й статье за антисоветскую пропаганду, но, видимо по глубокой старости, даже карающие органы на него не обращали внимания.

* * *

Заветным местом каждого городского мальчишки стал автомагазин напротив главного входа центральной поликлиники (ныне поликлиника № 1 Центрального района). Открыли его вскоре после войны в длинном

кирпичном, сараистого типа строении. На высоком постаменте стояли настоящие легковые автомобили. Они сияли небесным лаком, и, если подойти поближе, можно было увидеть свое отражение, а за стеклом — блестящий руль и кожаные сиденья. Цены выучили наизусть и в беседе тщательно просчитывали, сколько лет нужно работать на такую красоту. Выходило безнадежно долго. «Москвич» стоил 8 тысяч, «Победа» — 16, «ЗИМ», соответственно, 42 или 44 тысячи. Да если бы кто из простых смертных надумал приобрести «лакового коня» из магазина, он бы поехал не на нем, а на казенном транспорте, для подробного отчета в соответствующих органах — каким путем попали к нему такие деньжищи. Только много лет спустя, в должности заведующего отделом областной газеты, мне положили ежемесячный оклад в 1200 рублей, — правда, и цены на машины к тому времени взлетели. Получали автомашины по спецразрядкам партийных органов. А на «ЗИМах» разъезжали очень крупные чиновники — естественно, за государственный счет.

Справедливости ради, в потрепанных «ЗИМах», видимо списанных по старости из партийных гаражей, и нам доводилось покрасоваться в ранней юности. Их превратили в обычное такси по 10 копеек за километр, но потрепанным лимузинам непосильная нагрузка оказалась не по силам, и с пассажирских трасс они быстро исчезли.

Общепародным транспортом по-прежнему оставался трамвай. Ходил он по трем маршрутам. Два начинались от Центральной площади (в просторечии от Центра). «Первый» — до завода «Труд» и дальше — до карьера «Борок», «второй» — до Соцгорода (так назывался поселок завода им. В. П. Чкалова), и «третий» — от

железнодорожного вокзала через старое кладбище до того же Соцгорода.

Не очень чтили память усопших отцы города вместе с партийными органами (а без их ведома и листочек с деревьев не мог упасть). Помните недавнее:

Прошла весна, настало лето.
Цветы цветут по-прежнему.
Спасибо партии за это,
И лично Леониду Брежневу!

В прежние времена цветы цвели по «мудрому указанию товарища Сталина» и его верных соратников. И происходило сие красочное действо на гигантских клумбах посреди городского кладбища, символично переименованного в парк имени Сталина (ныне «Центральный»). Рядом, на разрытых могилах, в том числе и борцов за Советскую власть, разместился стадион «Спартак».

На останках предков сегодня гоняют футбол, в парке гремят оркестры, отплясывают артисты, крутятся аттракционы... После войны, выкинув наружу черепа и кости, отстроили театр музыкальной комедии. Лучшего места для него в городе не сыскалось.

По другому кладбищу проложена автомагистраль и построен ДК «Строитель» (под его фундаментом кроме человеческих останков покоится уникальная по красоте кладбищенская церковь и татарская мечеть). И... развлекательный парк «Березовая роща». Теперь вот бывшее татарское кладбище украсила станция метро.

Последнее пристанище усопших христиан по улице Воинской уже именуется сквером с перспективой на парковую зону. Не знаю, приходят по ночам к авторам этих спортивно-развлекательных комплексов души земляков — их бранные останки при ремонтных и строительных работах скинули в мусор и вывезли на свалку.

Мы осваивали парк Сталина и стадион «Спартак» с детства. О покойниках под ногами понятия не имели, да и не воспитывали в нас почтения к родным могилам, разве что к памятникам политическим деятелям... Но им тоже досталось при советской власти. В те времена по несколько раз за учебный год вырезали и замазывали в учебниках портреты недавних героев, оказавшихся «империалистическими шпионами» и «врагами народа».

За освещенные яркими огнями ворота парка и стадиона крепкие бабуси с милиционерами пускали только по входным билетам, но мы знали наперечет все дырки и лазы в парковом ограждении. До танцплощадки еще не доросли, да и позже не ходили: слишком дурная слава шла о ней по всему городу. Мы проникали в парк, чтобы посидеть вечерок на скамейках у открытой эстрады — там выступали вполне приличные джазовые коллективы. А однажды попали на концерт самой Эдит Утесовой, которую слушали раньше на патефонных пластинках в дуэте с отцом.

Но любимым местом отдыха стала для нас воднолыжная станция. Добирались до нее на «колбасе» трамвая номер один — самое комфортное и главное — бесплатное место. Ходили трамваи редко, по однопутке, с разъездами на крупных остановках. Вагоны брали штурмом, гроздьями слипаясь на подножках. Пассажиры висели мокрыми комьями или промерзшими сугробами по бокам дребезжащих вагонов, чудом не цепляясь за столбы. Другое дело «колбаса» — металлический брус для сцепки. Руки и на нем заходились от холода, но задняя стенка вагона прикрывала от пронизывающего ветра.

Доступ к реке перекрывали ажурные ворота, где тоже дежурили строгие бабуси с милиционером. Не помню,

сколько стоил входной билет, но в наших дырявых карманах и таких денег не водились. Всей компанией мы заходили к моей тетке, чей домик стоял на берегу Оби, оставляли пожитки, в трусах бежали на берег и по реке барахтались мимо увитого колючей проволокой высокого забора, зажав во рту несколько медных монет, чтобы насладиться высшим благом цивилизации — стаканом газированной воды с сиропом. Иногда покупали стакан вскладчину и придирчиво следили, чтобы кто-нибудь не схитрил на лишний глоток.

Дно на городском пляже — сплошные камни, и течение несло прямо на железнодорожный мост, а попасть под него грозило нештучными неприятностями: вооруженная охрана мигом вылавливала «диверсантов» и до выяснения личности вталкивала в «каталажку».

Зато прямо с пляжа по мостику можно попасть в огороженный бассейн. Если не тренировались спортсмены, забирались на вышку, и оттуда — вниз с трехметровой высоты.

Ближе к вечеру выходили через центральные ворота, чинно поднимались по широкой лестнице и бежали за несколько кварталов за своими вещичками к тетке. А та, добрая душа, поила всю компанию чаем с пирожками, а главное — пускала в огород, где по самому краю были заросли любимой ягоды — бздники (научное название — паслен).

Иногда мать брала меня и в дальнейшем путешествие. Собирались заранее. Накануне варили, жарили, закупили, а ранним утром отправлялись на Чернышевскую пристань у понтонного моста. Оттуда речной трамвайчик, дымя и отплеываясь, коптил до Заельцовского парка на необъятный пляж у самой кромки соснового бора. В конце пляжа стояла маленькая избушка бакен-

щика. К ней и шли в первую очередь. Покупали у крепкого мужичка ведро стерлядки.

И пока женщины расстилали на ближней полянке простыню и выкладывали на нее яства, а ребятишки собирали по лесу сухое топливо, мужчины разводили костер и колдовали над подвешенным ведром, незлобно переругиваясь по поводу рецептуры настоящей рыбацкой ухи, хотя мало кто из этих истых горожан понимал в ней толк. Все равно уха получалась необыкновенно вкусной, с легким привкусом дымка. Откуда-то появлялась к всеобщему восторгу прозрачная бутылочка-другая.

Пели песни, купались, надували мяч и играли по кругу в волейбол, бродили по лесу. Взрослые и дети перемешивались в одну веселую беспабашную компанию. Часто присоединялись соседи по пляжу, стаскивались вместе «столы», и на поляне начинался беспабашный праздник под прихваченный из дома патефон.

Ребятишки из разных компаний вмиг становились друзьями — прятки, лапта, догонялки...

Под вечер, уставшие и довольные, снова вручали свои судьбы речному трамвайчику. Ему, горемычному, предстояло пыхтеть вверх по течению, назад, к Чернышевской пристани. Для изношенных двигателей работенка предстояла нешуточная. Случалось, в виду конечной пристани моторчик надрывался и глох. Вся команда кидалась на помощь изношенному сердцу кораблика, но запустить его снова оказывалось делом непростым. Несчастный трамвайчик стаскивало течением иногда ниже места отправления, и пассажиры снова любовались проплывающей мимо панорамой Заельцовского парка. Наконец раздавались чахоточные выхлопы, и панорама парка снова уходила за корму. И только поздним вечером, а то и затемно утомленная и счастливая

компания выбиралась на городские улицы, долго и дружески прощалась и, наконец, разбрелась по домам.

* * *

Каждое лето меня ссылали из дворового раздолья в казарменную обстановку пионерского лагеря, где все по часам и минутам. Там нас до одури учили ходить строем, петь патриотические песни и читать такие же патриотические стихи. Купались и загорали строго по секундомеру физрука.

Случались и побеги из лагерей (не случайно же их так называли, хотя и скрашивали словом «пионерские»), но бдительные вожатые перехватывали беглецов и водворяли на огороженную забором территорию. У ворот ставили дежурных из дисциплинированных мальчиков и девочек. Даже родители допускались в строго определенный день один раз в сезон.

К родительским дням нудно готовили торжественную линейку и концерт самодеятельности, а нам хотелось побыстрее выбраться из огороженной территории, вдоволь накупаться в речке без секундомера, поваляться на песке и разыскать что-нибудь вкусное в маминой сумке.

В редкое время, свободное от уборки территории, отработки маршевого шага, хоровых песен и спортивных пирамид, мы сами развлекались в меру сил, таланта и фантазии — естественно, тайком от пионервожатых... Знаменитый Заячий лог в Заельцовском парке с детства тянул к себе таинственностью и романтикой. По чьему-то недомыслию рядом с пионерскими лагерями у подножья пологого спуска разместили боевой стрелковый полигон. Днем подходы к логу зорко охраняли солдаты, а вечером наступала наша очередь. Стреляные гильзы

раздували карманы и брякали за пазухой. Но однажды нам крупно повезло: затеряли солдаты в траве две боевых обоймы. Мы их нашли и затаились — предстоял праздничный пионерский костер. Обе обоймы замаскировали в самой середине дровяного шалашика, покрытого хвойными лапами. Фейерверк получился впечатляющий, с треском и свистом пуль! К счастью, обошлось без жертв, но страху натерпелись. Наутро из города приехал следователь по особо важным делам, но работала мальчишеская солидарность. Решили, что боевые патроны попали случайно с дровами. И все обошлось категорическим запретом близко подходить к логу.

В другой раз на ближнем огороде местных поселенцев раздобыли тыквы — вырезали глаза, нос и щербатый рот. На концах длинных палок закрепили по свечке и воткнули их внутрь. Ночью, когда вожатые разбрелись по тихим уголкам, мужская компания с заунывным пением направилась под окна девчоночьих спален. Визг поднял весь лагерь, но, когда появились вожатые, мы безмятежно «спали» в своих кроватках.

И только один раз в пионерском лагере было по-настоящему интересно. Старшей вожатой в тот сезон оказалась студентка театрального училища, и мы готовили к постановке «Любовь к трем апельсинам». Декорации и костюмы придумывали и шили сами. Перед прощальным костром состоялась премьера. И все просили оставить их на второй сезон. Увы, такое в пионерском лагере случилось только раз на моей памяти.

Запомнился и приезд баяниста Ивана Маланина. Этот поистине гениальный слепой музыкант стал легендой и своеобразным символом города. Все годы войны, да и в послевоенное время редкая радиопередача проходила без его участия. И еще он умудрялся давать

бессчетное количество концертов в госпиталях, на заводах, в парках... В нашем понятии он тоже относился к «небожителям». А приехал простой, даже простоватый человек, в далеко не концертном костюмчике. И после концерта учил нас петь русские народные песни...

* * *

Память — удивительная штука. Порой вспыхивают в ней события столь давние, что диву даешься, как они умудрились найти в ней тайный уголок, да так и сохраниться в нем на всю жизнь. Причем события той поры, когда ты не то что мыслить, а и говорить еще толком не научился. До мельчайших деталей, например, помню, как хлебнул чистой эссенции. Мне тогда и за годик не перевалило.

Девяти месяцев отроду переехали мы с матерью в Новосибирск из легендарного дальневосточного города Спасска-Дальнего, в окрестностях которого на военном аэродроме я и имел честь появиться на белый свет. Не на взлетной полосе, конечно, — в деревне Черниговка, где расквартировалась авиационная часть моего отца. В Новосибирске поселились на берегу Оби в крепком хозяйстве тети Дуни, как сейчас говорят — сняли комнату. В тот вечер за ужином сидело много народу. Я тихонько вылез из-за стола, добрел до стоящего в углу трельяжа и узрел на низкой полочке стакан, накрытый белым листом бумаги. Из него и хлебнул — оказалась уксусная эссенция. Спасла меня житейская мудрость хозяйки. Она только что подоила корову, и в комнате стояло полное ведро парного молока. По рассказам, в меня его вкачали полностью, с небольшими перерывами — туда, обратно. Никакая «скорая» не добралась бы ночью на городскую окраину. Имя своей спасительницы, тети Дуни, запомнил на всю жизнь. Дай ей Бог Царствие Небесное.

А вот фамилию друга, с которым мы провели самое памятное лето моего детства — забыл. Помню только, что звали его Эдик. Может, потому забыл, что во дворе нашем каждый имел прозвище. Эдика прозвали Лаутоном — был вроде такой нескладный на вид английский футбольный вратарь, которого показали в советской кинохронике или в каком-то художественном фильме. И прилипла к моему длинному другу кличка.

Однажды его тетка, с которой он жил в нашем доме, предложила поехать летом к ее дальней родственнице в деревню Дубровино. И мы начали отсчитывать дни до настоящего путешествия.

На просторы деревенской жизни доставил нас плетающий плицами пароходик. Место жительства определили на сеновале, и потому время возвращения никто не учитывал, а иногда случалось забираться в пахучие постели и под утро.

Целыми днями с деревенской детворой пропадали мы на обском берегу, или бродили по лесу в поисках грибов и ягод, или «гоняли чижика» (по-научному — игра в лапту) за несколько километров от деревни и взапуски бежали назад.

Довелось пройти и местное испытание на храбрость. Днем всей компанией шли на заросшее мрачное деревенское кладбище и где-нибудь в глубине оставляли на покосившемся кресте заметную повязку или какую-нибудь вещь. А ночью собирались вместе и бросали жребий, кому за ней идти. Обреченного провожали до околицы, разводили костер и рассаживались вокруг, ожидая возвращения. Иногда заходили с другой стороны, обернувшись в белые простыни и пробирались навстречу с жуткими вздохами и глухим завыванием. Испытание не для слаонервных, но таковых среди нас

за все лето не оказалось — да и кто обречет себя на дерзкие насмешки деревенской детворы.

Эдик оказался хорошим парнишкой, добрым и очень внимательным. Из-за врожденной болезни он говорил «в нос» и храпел во сне нещадно. Зная это, терпеливо ждал, когда я засну. Мы даже тайком покуривали с ним на сеновале, пренебрегая строжайшим запретом тетки и правилами техники безопасности.

Правда, и нас иногда старались приобщить к деревенскому труду — отправляли на ночь сторожить зерновой ток. Вооруженные огромными палками, мы гордо обходили доверенную территорию, гоня парочки студентов, которые приезжали на помощь селу из какого-то техникума и тоже придумывали себе развлечения, иногда не безобидные. Однажды пробрались в дом одинокой усопшей старушки. Привязали к ней веревочки и вывели их в окно. Когда ночью местный дьячок отпевал покойницу — она вдруг зашевелилась и начала подниматься из гроба. На «чудо» сбежалась вся деревня. На следующий день студентам крепко досталось.

Уезжали мы из Дубровино поздним холодным августом. Пароходик подошел забитый до отказа. Кое-как отыскали уютное место у трубы и даже пригласили озябшую девочку с верхней палубы. Так и провели ночь в разговорах о жизни, о школе, о кино и интересных книжках. В ту холодную ночь мы по-рыцарски уступили девочке лучшее место у теплой трубы.

* * *

Годы тогда не мелькали, как сейчас. Растешь, растешь, а тебя все считают ребенком. А детство минуло. И мы с интересом стали поглядывать на представительниц противоположного пола. Из казарменной мужской

школы они нам казались посланницами неведомых миров. И даже прикоснуться к ним — неведомое счастье. Сейчас, в смешанных школах, взгляды другие. Не знаю, лучше или хуже. Нас даже касание девчоночьей руки приводило в трепет и необычайное волнение. Если приглашали в кино, экранное действие мало значило. Чуть влажная рука девочки в темном зале компенсировала самый скучный фильм.

Всякое случалось в тех, почти детских житейских историях. Помню, начали мы встречаться с Ренатой, худенькой девочкой из ближней 22-й школы. Бродили на расстоянии морозным вечерним городом и прощались квартала за два до ее дома. В кино тоже входили порознь и «случайно» оказывались на соседних местах. И вдруг она не пришла на свидание, а через несколько дней я получил разгневанное письмо.

На беду, оказалась Рената родственницей моего уже помянутого одноклассника Витьки Дерягина. И тот, подлая душа, рассказал прилюдно на семейной встрече, что я получаю тройки и не блещу прилежанием и дисциплиной. Не помню, в каких словах, но девочка выдвинула ультиматум: пока я не исправлю все тройки и не стану пай-мальчиком — никаких встреч.

Конечно же, я не исправился. 10-я школа славилась тогда поведением, весьма далеким от респектабельной нынешней гимназии под тем же номером. И, знаете, никто из ее выпускников об этом как-то не жалел. Все нашли свое место в сложном мире, и, сколько помнится, «скользящая дорожка» не пересекла ни одного жизненного пути выпускников послевоенных лет.

Может, благонаравием мы и впрямь не блистали, но учили нас люди достойные и, замечу, неординарные. И потому уроки в 10-й школе проходили интересно и

необычно, чем-то отдаленно напоминая преподавание в суворовском училище, что во времена суровой стандартизации совсем не приветствовалось.

Химии учил нас Александр Иванович Чигоринов. «Мальчишки, черт возьми, — говорил он, появляясь в кабинете из боковой комнатухи, — дело кончится скверно. Сейчас я вам в два счета единиц понаставлю». И вызывал сразу пятерых: «Трое к доске, двое к столу...» Стоило запутаться в одном ответе или допустить ошибку в уравнении реакций — в журнале появлялась единица. Следом за первой к доске вызывалась вторая, затем третья пятерка. И за один урок в классном журнале могло появиться до десятка единиц. Но тут же Александр Иванович подробно разбирал наши просчеты, и все становилось простым и понятным. Только после этого он переходил к объяснению нового материала.

Не знаю, как его система оценивалась с методической точки зрения, но с химией у нас в дальнейшем не возникало проблем — даже на приемных экзаменах в институтах ниже четверки не получали. А я, гуманитарий, до сих пор объясняю уравнения химических реакций — теперь уже своим внукам.

И еще одной хитростью славился Александр Иванович. Небольшого роста, худощавый, как мальчишка, он неожиданно появлялся на переменах в туалете, где мы беспечно покуривали, полагаясь на полную безопасность со стороны женского учительского персонала. После таких набегов он ехидно замечал: «Так, — следовали одна-две фамилии, — вам нужно срочно обратиться к врачу». — «Зачем, Александр Иванович?» — «У вас мочевого пузыря не в порядке: каждую перемену вижу вас в туалете».

К урокам физкультуры всю школу пристрастили два молоденьких выпускника техникума — Яков Романович

Розенфельд и Степан Фролович Русейкин. Они и сейчас работают в «десятке», и сколько с тех пор школа (теперь гимназия) получила спортивных наград, кубков и самых высоких дипломов — пожалуй, не возьмется пересчитать ни один статистик. Побеждали практически на всех городских, областных и даже на всесоюзных соревнованиях.

Даже самые хилые совершали чудеса на «коне», брусьях и перекладине, а кто покрепче, свободно крутили «солнышко». Почти все выпускники тех лет вместе с аттестатом зрелости получали удостоверения о присвоении спортивного разряда.

В послевоенные годы создавался своеобразный культ здоровья. Это из нашей юности программная для всей страны поговорка: «В здоровом теле — здоровый дух!» Посмотрите фильмы тех лет: все демонстрации открывали физкультурники — крепкие парни и девушки с накачанными фигурами:

Закаляйся, если хочешь быть здоров!
Постарайся позабыть про докторов.
Водой холодной обливайся,
Если хочешь быть здоров.

Это слова популярной песни из кинофильма «Вратарь». Во всех фильмах о спорте, — а выпускали их великое множество, — побеждали только советские спортсмены, хотя им и чинили на каждом шагу препятствия «нехорошие капиталисты».

Иногда и перехлестывали через край: самые дешёвые, по 6 копеек за пачку, а значит, самые популярные среди мальчишек тоненькие папироски-«гвоздики», назывались «Спорт», «Бокс» и «Ракета». И даже при- сказка в народе сложилась:

Мы любим спорт, но только папиросы.
Мы любим сорок градусов, но только не мороз.

А в окне фирменного табачного магазина, украшенного под палех, веселый мужичок доходчиво объяснял: «На сигареты я не сетую. Сам курю и вам советую!»

Но вернемся в десятую школу. Если в третьей мы все выстраивались по струнке перед директором Михаилом Николаевичем, то в десятой хозяйским шагом по коридорам шествовал учитель рисования и черчения Юшин. Опираясь на толстую трость, он неумолимым взором проникал в самые укромные уголки. Не помню, чтобы он кого-нибудь наказывал всерьез или, хуже того, жаловался родителям, но самые завзятые хулиганы относились к нему с необычайным почтением. И на его уроках слышался только старательный скрип карандашей. Зато после, в вузах и техникумах, ни у кого не возникало проблем ни с черчением, ни с рисованием. Кстати, сын Юшина учился с нами в одном классе. Тоже паренек не подарок. И от грозного папаши доставалось ему больше, чем нам всем вместе взятым.

С другими учителями мы позволяли и злые шутки: вынимали переборки из табуретки, и она распадалась на части, едва садилась на нее наша «немка», грузная Агнесса Марковна; выпускали на уроках птицу, а то и мышку. Однажды кто-то запустил по партам настоящую обезьянку...

Была и еще одна проделка, до хитрости которой учителя докопались не сразу. Основывалась она на глубоких познаниях физики. В электропатрон на перемене закидывалась промокательная бумага, смоченная подсоленной водой, и вкручивалась лампочка. Свет горел, как обычно, но где-то к середине урока, когда «промокашка» подсыхала, лампочка медленно гасла.

Учитель бежал за электриком, а мы тем временем вытаскивали бумажку из патрона. Электрик притаскивал лестницу, докручивал лампочку... Но пока занимался ремонтом — звенел звонок с урока. Наконец, кто-то из учителей послал за электриком ученика, а сам остался в классе. Бумажку убрать не удалось, и нашу хитрость, успевшую распространиться по всей школе, разоблачили.

Тогда мы придумали другую. В то время вся электропроводка тянулась по всей школе открытыми проводами на фарфоровых изоляторах. Если воткнуть иголку в провода с наружной стороны, цепь замыкалась и класс оказывался обесточенным. С этой «диверсией» возились подольше, но докопались и до иголки, и до авторов скрытого физического явления.

Разбирались с нами круто: отправляли с уроков за родителями, сопровождали под учительским конвоем к завучу Константину Сергеевичу Нечаеву, внушительных размеров мужчине, который поставленным басом внушал неразумным школярам «правила хорошего поведения». Скоро мы узнали, откуда у него такой бас — на одном из «свободных» уроков он в порыве откровения рассказал о своей учебе в духовной семинарии и даже исполнил несколько церковных песнопений, что в лучшем случае могло «поставить жирный крест» на педагогической карьере. Однако выдавать сокласников, а тем более учителей считалось самым тяжелым предательством и каралось после уроков по суровым законам мальчишеского самосуда.

Выйдя на пенсию, Константин Сергеевич Нечаев многие годы занимался историей Новосибирска и считался одним из лучших краеведов.

* * *

В каждом городе и даже маленьком населенном пункте всегда есть, по крайней мере были, свои «герои». Их знали все. Дед с Георгиевскими крестами из «голубого Дуная» на «Мостовой» был одним из них.

Другой — популярный на весь город велосипедист Туля. Круглый год: в лютый мороз и летнее пекло, в дождь и пургу — он появлялся на улицах только на трехколесном велосипеде собственной конструкции. И когда его дом на улице Свердлова снесли и Туля с семьей переехал на далекую окраину, город как-то осиротел.

Не стало со временем и знаменитого регулировщика на перекрестке улицы Советской и проспекта Сталина (у главного почтамта). Когда он выходил на дежурство, собирались толпы любопытных. Он весь уходил в движение, артистично вскидывал палочку к подбородку, замирал на мгновение, боковым зрением охватывая замерший поток машин, и, оценив обстановку, всем телом, не шевельнув плечами, плавно и как бы нехотя разворачивал крепко сбитую фигуру и столь же артистично бросал руку с палочкой по направлению разрешенного движения транспорта. Много лет он упивался властью и всеобщим вниманием. И когда на перекрестке повесили светофор, как-то сразу сник. А однажды исчез навсегда, и перекресток стал заурядной магистралью, где никто не останавливался, разве что в безразличном ожидании зеленого огня бездушного светофора.

Была своя знаменитость и в Заельцовском парке — Вася-лыжник Говорят, он работал ведущим инженером на заводе имени В. П. Чкалова, но пропали секретные чертежи, и от трибунала его спасло легкое помешательство...

Мой сосед по квартире, Константин Степанович Жарков, председатель спортивного общества «Локомотив», увлек нашу компанию лыжным спортом. Точнее сказать, не спортом, а работой. В непролазном снегу Заельцовского парка мы прокладывали и «утаптывали» лыжню для соревнований спортсменов. Работенка не из легких: десяток километров по пояс в снегу, с точной выверкой метража, с определенным количеством спусков, подъемов, «тягунков». В четыре «колеи»: основные — для лыж и боковые — для палок. Правда, и оплачивалась работа хорошо. К тому же во время соревнований мы распределялись по маршруту уже в качестве платных контролеров, чтобы никто не сбился, а главное, не схитрил, не проскочил по короткому маршруту.

Но проскакивали. Идею подсказал Вася-лыжник. Каждый день он появлялся в Заельцовском парке и участвовал во всех соревнованиях. Стартуя со всеми, к финишу Вася всегда приходил первым. Такой феномен заинтересовал профессионалов. Попросили контролеров по секундомеру «засекать» его проход по дистанции. И выяснилось: досконально изучив все официальные и неофициальные лыжни, он выбирал самую короткую, обходя контролеров — благо, его проход в официальных протоколах не фиксировался. Посмеялись, но идея в умах отложилась.

Раньше случалось, со старта уходил один лыжник, «выкладывался» на первой половине дистанции, а вторую половину, наскоро перецепив номер, заканчивал другой, со свежими силами. Каюсь, иногда мы потакали таким «чемпионам» за особую плату. Теперь, по методу Васи, пускали лыжника вместо десятикилометровой по восьми, а то и по пятикилометровой лыжне.

Кстати, однажды я убедился, что молва про Васю — ведущего инженера авиационного завода — недалеко от

истины. Очередные соревнования проходили перед экзаменами по высшей математике в геологоразведочном техникуме, где я имел честь некоторое время пребывать. Стою на контрольном пункте, пытаюсь решить сложную задачу прямо на снегу — не получается. И вдруг слышу сзади голос: «Здесь нужно применить другую формулу». Оборачиваюсь — за спиной Вася. Взял у меня палочку и разъяснил, причем просто и понятно.

И еще он придумывал невероятные конструкции крешлений, и некоторые его идеи лыжники использовали.

Сейчас люди грубо отталкивают безобидных юрорядных. А на Руси их любили. Покровский собор в Москве и поныне именуют храмом Василия Блаженного.

* * *

Способов заработать небольшие суммы во времена нашей зарождающейся юности существовало множество. Прежде всего, мы заметили разницу цен в государственных и кооперативных магазинах. Те же папиросы, например, в госторговле стоили дешевле. Но часто у взрослого населения не наскребалось в карманах и на самую дешевую пачку папирос. Помните по фильмам, плоская коробка «Казбека» за 30 копеек считалась шиком, а уж «Герцеговину Флор» курили только товарищ Сталин и высокопоставленные государственные деятели.

Простой люд ограничивался самокрутками из махорки или самосада, его продавали на всех «хитрых» базарчиках. В лучшем случае доставали из кармана «гвоздики», а обеспеченные из среднего класса баловали себя «Красной звездой» и «Прибоем» по 12 копеек за пачку, или «Нордом» (переименованным затем в «Север») по

14 копеек. А подымить для куражу «Беломором», особенно если идешь с женщиной, хотелось каждому. Этим мы и пользовались.

Возрастного ограничения на торговлю табачными изделиями тогда не существовало. Закупали вскладчину пачку, а то и две, с деловым видом становились на людном перекрестке и открывали торговлю в розницу, поштучно. И на тех же перекрестках пускали в штучную продажу скупленные или добытые в нашем магазине «Овощи и фрукты» яблоки и груши. Бизнес, конечно, копеечный, но на ребячьи нужды — кино, мороженное и пирожное с газированной водой — хватало.

Существовала и заметная статья дохода — талоны на муку. Не знаю почему, но при относительно заполненных послевоенных прилавках обычная мука оказалась в дефиците. Продавали ее только перед большими праздниками. Причем вначале нужно получить в отдельном киоске талон и только с ним идти в магазин. Очереди за талоном на покупку трех килограммов выстаивались с ночи. Для нас такие дни становились праздниками.

В доме по проспекту Сталина, 5 размещался один из первых в послевоенном Новосибирске гастрономов. А киоск по выдаче талонов на муку установили в нашем дворе, отделенном от внешнего мира огромными, вечно распахнутыми воротами. Накануне выдачи талонов мы расчищали от грязи и снега ворота и закрывали их наглухо. Старшие ребята занимали боевое охранение и никого посторонних во двор не пускали. А мы, кто помельче, выстаивались у заветного киоска и дежурили до утра, изредка забегая погреться в подъезды.

Спать хотелось невероятно, но крепились, тем более что на следующий день мы на законном основании освобождались от посещения школы. Утром, к откры-

тию заветного киоска, все жители нашего дома оказывались первыми. Но не терпеть же такие мучения ради одного талончика. Первые его обладатели тут же переходили в конец «своей» очереди... и так по кругу, пока в наших руках не скапливалась внушительная пачка. Тогда бежали домой, узнавали, какое количество трехкилограммовых пакетиков позволял закупить семейный бюджет, и бежали в конец очереди, где стояли самые безнадежные претенденты. Продавали талоны оптом и в розницу по умеренным ценам.

Этот же проверенный метод мы применяли чуть позже, когда на экраны вышел знаменитый многосерийный фильм «Тарзан». Взрослое и малое население города ломилось на него толпами. Каждую серию смотрели по нескольку раз, а город оглашался знаменитыми тарзанными криками. Высшим шиком считалось забраться на дерево и оттуда на всю округу издавать гортанные, с переливами «звуки джунглей».

Очередная серия вначале шла на экранах крупных кинотеатров, но там плотно держали оборону у касс мальчишки из других дворов. Наша очередь наступала через недельку-две, когда сериал переходил на экраны клубов (а наш дом стоял рядом с клубом имени Сталина). Сеансы начинались обычно часов с двух дня, и вся компания после уроков выстраивалась у окошечка кассы. «В одни руки» давали по четыре билета. Получив очередной блок, переходили к своим, и так — пока не заканчивались денежные запасы. А перед сеансом «с рук» лихо торговали по двойной, а то и тройной цене за билетик.

«Спекулянтский бизнес» померк в одночасье. Однажды в беседку кто-то принес потрясающую новость: парнишки из соседнего двора ходят в Затон

на разгрузку барж и утром им сразу выдают хорошие деньги! Тут же набрали добровольцев и вечером, пока не развели понтонный мост, пошли искать доходное место. В то время поперек реки «вытягивали» металлические понтоны с деревянным настилом. Единственная переправа с берега на берег действовала только днем — на ночь ее разводили и пропускали пароходы. Зимой на левый берег и обратно машины шли по ледовой дороге, а люди перебирались протогтанными тропинками. Приходилось учитывать и разницу во времени: на левом берегу, в Кривощеково, начинали и заканчивали работу на час раньше (астрономический часовой пояс проходит как раз по Оби). И город жил по двум часовым поясам.

Нашу бригаду подвели к барже, доверху загруженной досками. За ночь предстояло ее разгрузить, доски стаскать на берег и уложить в штабели. «Утром придет замерщик, оценит и выпишет наряд», — сказали нам и оставили под присмотром старичка-шкипера, который сразу отправился в каюту на корме и залег спать. К утру нас порядком покачивало и ноги подгибались, особенно когда «заглубились» в трюм. Зато когда пришел замерщик и вывел общую сумму, мы ушам не поверили — не помню, сколько пришлось на каждого, но таких денег мы отродясь в руках не держали.

Вечером пошли с девочками в «Красный факел», на спектакль по пьесе Яна Райниса «Вей ветерок» — в ложу, конечно, а в антракте галантно приглашали спутниц в буфет и покупали дорогие конфеты.

С той ночи физический труд стал постоянным источником дохода. Где нас только не носило. Каждый вечер в беседке оглашались новые предложения. Больше всего мы любили базу облпотребсоюза. Туда подходили гру-

женые и порожние железнодорожные вагоны. Платили хорошо. Желающих на погрузку и разгрузку собиралось много. Подростки пользовались равными правами и обязанностями со взрослыми. Тогда как-то не действовали нормативы охраны труда...

Если на очереди сидело несколько бригад, срабатывала рабочая солидарность — первая имела непререкаемое преимущество. Подбегал начальник и предлагал цену за разгрузку вагона. Если она устраивала, бригада уходила. Наступала очередь второй, за ней третьей... Но если первая бригада по цене не сходилась, остальные не имели права голоса. Начинался торг. Грузчики знали: за простой вагона железная дорога преподнесет солидный штраф. Минут через пятнадцать снова прибегал начальник, давил на совесть, но цену увеличивал. Наконец, обе стороны соглашались. Скоро подходил следующий вагон...

Да и было из-за чего поторговаться: попробуй разгрузи, к примеру, 60 тонн цемента, когда он без мешков засыпан в вагон. И уголь разгружать тоже не подарок... Но куда деваться — таких денег больше нигде не зарабатывают.

Особенно старалась попасть на разгрузку и погрузку «продуктовых» вагонов. Таскать аккуратненькие чистые ящики с печеньем, конфетами, шоколадом куда приятнее, чем задыхаться в угольной или цементной пыли... К тому же один-два из них обязательно разобьются, или мы им поможем «случайно» упасть. Рассыплется вкусный груз — нам же и собирать, и кое-что обязательно окажется в «бездонных» карманах грузчицкой робы.

Среди «старичков» по этой части встречались непревзойденные специалисты. Представьте крутой высоченный трап и по нему, сгибаясь под тяжестью, дядя Петя

несет бочку с вином. По обеим сторонам — бдительное начальство, чтобы ценнейший груз не прошел мимо вагона. И вдруг на глазах всей честной компании дядя Петя делает неверный шаг, кренился так, что все в ужасе замирают. В последнее мгновение бочка летит вниз, а дядя Петя каким-то непостижимым образом выравнивается на трапе. По рядам надзирающих за погрузкой проносится вздох облегчения, на бочку никто и не смотрит, а она падает точно на ребро и из щелей между клепками хлещут струи драгоценной влаги. Грузчики махом подлетают с невесть откуда взявшимися ковшиками, кастрюльками и другой тарой. Начальство догадывается об уловке, но все происходило на глазах. Делать нечего, приходится составлять акт на списание.

Позже, поступив в вечернюю школу, я пошел по своей ребячьей специальности — рабочим склада треста «Электромонтаж-53». С первой зарплаты купил самые дорогие билеты в клуб «Транспортник» для себя и для матери на концерт модного тогда певца Канделаки. И тоже сводил ее в буфет... После такого роскошного похода от месячной зарплаты у меня почти ничего не осталось, но мать потихоньку хвасталась родне и знакомым, какой у нее вырос заботливый сын.

Появилась и первая настоящая любовь — Галка Ильина. Веселые ямочки по краям припухлых губ, глаза с лукавой прищурилкой, темные волосы и брови придавали ее по-детски доброму лицу строгую красоту и трагичность. Она сразу стала своей в нашей компании, и ее первую я представил родне.

Училась она в 9-й школе (теремок и поныне стоит позади Нарымского сквера), с которой наша 10-я не общалась. Жила с отцом-железнодорожником на Бурлинском переезде. Самая чистая и светлая любовь в

моей жизни. За несколько лет мы, пожалуй, толком и не поцеловались. Ходили на концерты, всякими правдами и неправдами пробирались в кинотеатры на фильмы, которые детям до 16 лет смотреть не полагалось, но особенно любили маленький круглосуточный кинозал на втором этаже железнодорожного вокзала. По ночному городу я провожал ее домой, и мы бродили тихими безлюдными улочками. Позже я заходил к ней каждый вечер после работы на переезде, где Красный проспект пересекала железная дорога (сейчас там акведук). Часто с необычайной гордостью тащил на себе какие-то очень важные приборы, которые доверяли отнести на склад.

А зимой, в канун первых послевоенных выборов, пробирались на агитпункты, куда нас, подростков, пускали с большой неохотой. Но там после лекции бесплатно показывали кинофильмы или «ставили» концерты.

На этих выборах моя родная бабушка вычеркнула в избирательном бюллетене фамилию «Сталин» и написала «Ворошилов». Дойди известие о таком своевольстве до компетентных органов — не знаю, где бы оказалась вся наша семья, ведь за такие «штучки» запросто отправляли в места, не столь отдаленные от берегов Ледовитого океана.

В последний раз мы встретились с Галкой Ильиной на Центральной площади в день похорон Сталина. Всем бесплатно раздавали черные траурные повязки, и это запомнилось больше всего. Царила невероятная давка и бессмысленная толчея. Мы выкарабкались из толпы и долго бродили по опустевшим улицам... На следующий день Галка легла в больницу. Вскоре мы похоронили ее на Заельцовском кладбище.

* * *

Оглядываясь с высоты прожитых лет на детское далеко, я ловлю себя на мысли: как же мы прожили и пережили то нелегкое военное и послевоенное время? Голод, беспризорность и безнадзорность — не самый лучший фон для воспитания подрастающего поколения. Но из хулиганистых мальчигов выросли вполне приличные люди.

В моих дальних путешествиях по Оби я обязательно останавливался в небольшом зеленом и удивительно уютном городке Колпашево. Там много лет живет друг детства Володя Шилов, ныне пенсионер, а в недавнем прошлом — главный врач районной, а затем речной поликлиники.

В Новосибирске он жил в историческом месте, по Комсомольскому проспекту, 10: три деревянных домика и сзади — вечно грязная и вонючая стена резинового завода. Сейчас на длинной, в целый квартал, многоэтажке под тем же номером — мемориальная доска в память об особняке, в котором размещался первый Новониколаевский райком комсомола. А в наши годы в этом особняке жила Ирочка Лукина, любовь всех окрестных мальчишек, у которой и мы пользовались переменным успехом.

Правда, выдерживать конкуренцию с Володей Шиловым мало кому удавалось. Во-первых, он на год или два постарше, а значит, и поопытнее. Во вторых, спортсмен, гимнаст со значком первого разряда, которому запросто крутануть «солнышко» даже на дворовом турнике. И в самой популярной игре тех лет, волейболе, если Шилов в команде — выигрыш обеспечен. Натянута с ранней весны до глубокой осени сетка имелась в каждом более или менее приличном дворе, ее и на ночь не снимали.

И наша сборная победно шествовала по всей ближней и дальней округе.

Но скоро появилось новое увлечение: загадочному другу Володе Шиленкову купили настоящее чудо — велосипед марки «ЗИЧ». Сказать, что купили, не совсем точно. Он постоянно пропадал с нами на погрузо-разгрузочных работах в Затоне и на железнодорожных станциях. И если мы бездумно тратили заработанные деньги на девочек и другие развлечения, Володя Шиленков скрупулезно откладывал случайные заработки на приобретение своей сокровенной и далеко не дешевой детской мечты.

Велосипеды имели многие из нас, но, собранные из всякого старья и разноколесицы, с ржавыми цепями, они, конечно, и «близко не стояли» с новеньким блестящим «ЗИЧем». На нем не стыдно появиться и на главной спортивной трассе, проложенной легендарным жильцом нашего дома, тренером сборной команды города по велогонкам — Муравьевым.

Ранним утром каждого дня на проспекте Сталина, 5, к неудовольствию взрослых и великой зависти мальчишек, собиралась шумная компания настоящих велосипедистов на гоночных машинах. Именно у нашего дома начинался и заканчивался тренировочный круг, и с треском переключались скорости десятков машин, а мы бурно обсуждали каждого гонщика и гордились личным знакомством со всеми чемпионами.

«ЗИЧ» Володи Шиленкова хотя и относился к разряду «дорожных», но имел три скорости, звонок, ручки переднего и заднего тормоза на руле. На правах друзей и коллег по трудовой деятельности нам разрешалось иногда прокатиться по настоящему спортивному кругу — по улицам Ленина, Челюскинцев до Дома Крас-

ной Армии и дальше по Красному проспекту, через Центральную площадь на проспект Сталина.

Дошла, наконец, и моя очередь. Гнал, как мне казалось, не хуже любого спортсмена, а на Красном пристроился сзади к «легковушке» и не отставал до самого дома общепотребсоюза. Откуда мне было знать, что именно у этого дома водителем запланирована остановка! От неожиданности я сжал до отказа обе тормозные ручки и... залетел на крышу «легковушки». Велосипед с поломанной рамой пришлось покаянно вести несколько кварталов в руках. Неутешному горю помогла мальчишеская солидарность: все вывернули карманы, побежали за финансовой поддержкой к родителям, и к вечеру «ЗИЧ» снова поблескивал новой рамой. Пришлось, правда, поработать несколько дополнительных смен на разгрузке и умерить расходы на развлечения, чтобы рассчитаться с долгами.

Пристрастил нас Володя Шилов и к рыбалке. Нам развлечение, а для Володи — добавка к семейному столу. Жили они небогато, на умеренный отцовский заработок. Рыбалкой Володю заразил дед из соседнего дома. По раннему летнему утру шествовали они к понтонному мосту, пристраивали удочки, и дед обучал нашего друга всем тонкостям отлова рыбы. Когда они ходили вдвоем, по их собственному свидетельству, отловленная рыба не умещалась в распахнутых руках. Когда же брали нас с собой, улов оказывался помельче, но все равно рассказов о крупной рыбине, сорвавшейся с крючка, хватало на всех. Эту тему обсуждали бурно и тщательно в укромных местечках неухоженных зарослей на аллейке Комсомольского проспекта. Там и покурить потихоньку можно, укрывшись от зорких глаз Володиной сестренки Танюши и ее подруг. И все-таки они вылавливали нас и отчитывали со всей строгостью старших.

Таня Шилова окончила пединститут, стала ведущим преподавателем английского языка и одна из первых в городе установила тесные связи с американскими школьниками.

В годы войны, да и после, мы росли диким репейником, пользуясь безграничной свободой и самоопределением, когда взрослые сутками не приходили домой с оборонных предприятий. Каждый выживал, как мог, и с детства привык к самостоятельности. По крайней мере, все из нашей компании выросли заметными людьми. Толя Бурдуков — доктор наук, его младший брат Борис — ведущий конструктор ракетных установок, Толя Матвеев — известный врач-психиатр, Владик Казаков возглавлял облавтоинспекцию, Володя Боровых — судья, заслуженный юрист РФ, Лева Мисюрев — учитель... Всех не перечислишь, но по скользкой дорожке, как прочили нам в детстве недоброжелатели, никто не пошел.

Меня после восьмого класса потянула романтика дальних дорог. Школьный путь к мечте показался слишком долгим, и я поступил в Новосибирский геологоразведочный техникум. Правда, геолога из меня не получилось, но родную Сибирь протопал от Алтайских гор до Северного Ледовитого океана.

Переступив порог техникума, я оказался во взрослой жизни, захватив из немногих детских лет друзей, любовь к музыке, книгам и приключениям... И еще убежденность, что все в жизни приходит через тяжелый, порой непосильный труд.

* * *

Я часто листаю свои фотоальбомы. Картонные странички с домами, улицами, людьми не застывшее мгновение, а скорее череда воспоминаний. Потихоньку

цепляясь друг за друга, они становятся историей, которую каждый человек волею Божьей, собственными успехами и поражениями пишет всю сознательную жизнь.

Говорят, фотография — остановленное мгновение. На мой взгляд, каждая из них — маленькая станция отправления не только в собственное прошлое, но и в историю города, и даже целой страны. Ибо любая большая история состоит из миллионов судеб каждого живущего в ней человека, какой бы пост и положение в обществе он ни занимал.



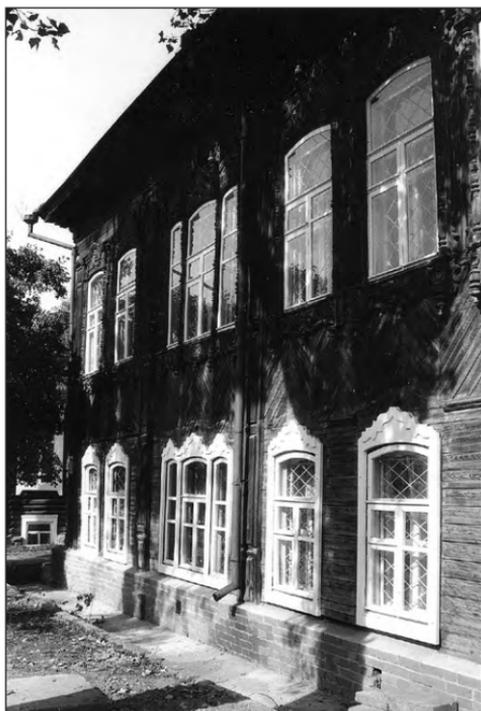
Кинотеатр «1-й Совкино» — таким мы его знаем только по историческим фотографиям.



Впрочем, в историю он вошел под именем В. В. Маяковского. И название его, и скульптура поэта над входом появились в начале тридцатых годов, когда меня еще и на свете не было. Но для всего нашего поколения он стал символом, самой яркой точкой на карте Новосибирска.



Того Новосибирска, когда увидеть, например, автомобиль считалось большой удачей. По булыжным мостовым цокали подковы лошадок, которые честно трудились, впряженные в сани, телеги или, как эти, в кареты — увы, похоронные.

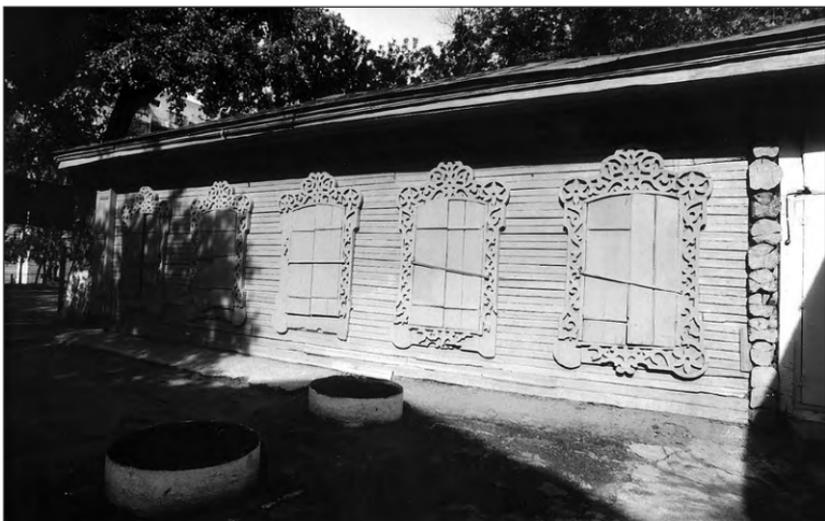


Детство нашего поколения проходило чаще всего в красивых деревянных домах с печным отоплением, которые нынче или снесли, или поименовали памятниками архитектуры, как наш, по улице Коммунистической, 23.

Вон там, на первом этаже, два окна, крайние слева — мои, а рядом — огромное фигурное окно Валерия Соловьева, за ним — Володи Боровых, и самое ближнее на том же первом этаже — Блимберсов.



И учились мы в историческом здании постройки знаменитого архитектора Крячкова в начале улицы Октябрьской. В нем и сейчас школа под тем же номером «три».



Сохранился во дворе школы и домик нашего директора, Михаила Николаевича Штамова, будто созданный для школьного музея, но музей, увы, не в нем. Так и стоит он с закрытыми ставнями, будто в ожидании отлучившегося хозяина. Яблоневый садик, который холил и лелеял наш директор, и вовсе исчез. На его месте — уродливый кирпичный сарай.



Напротив школы, во дворе пятиэтажного дома поздней постройки, двухэтажное кирпичное здание в «западном» стиле, построенное пленными немцами.



*Позже мы учились в знаменитой мужской школе № 10.
Но не пытайтесь угадать в этом здании серую коробку элитной
гимназии. «Десятка» нынче в другом месте.*



*И дом наш по проспекту им. Сталина, 5 (ныне ул. Ленина, 20) тоже
видоизменили, соединив его с другой школой постройки архитектора
Крячкова. В сомнительного стиля сооружении разместили
кукольный театр. Но мы постарались сделать снимок так, чтобы
нагромождение стилей не «резало глаза». Кажется, получилось.*



Часто и подолгу жили в нашем доме на Коммунистической, 23 бабушка Мария и моя тетка Маруся. Это они перед войной такие красивые, в модных нарядах, с муфточками в руках. Ушли эти наряды в голодное лихолетье на «хитрые» базарчики в обмен на продукты, чтобы прокормить ребятишек, меня в том числе. И не только прокормить. Воспитать вечно занятым женщинам отчаянных сорванцов без отцов — тоже испытание не из легких.

Отец мой, Николай Ефимович, по рассказам отчаянный майор-десантник, однажды в воздухе прополз по фюзеляжу и освободил зацепившегося стропами за самолет неопытного солдатика.

Не вернулся он в дом на Коммунистической к своему единственному сыну. «Пропал без вести» в военной круговерти.



Мать, Антонина Степановна, тоже решила избрать для сына военную судьбу. Даже повезла в далекий город Ставрополь.

Экзамены я сдал успешно и был зачислен воспитанником суворовского училища. И даже сфотографировались мы с матерью на память. Но той же судьбе угодно было направить меня совсем по иной стезе.



Друг детства и юности Гена Яськов. Повзрослели мальчишки военной поры, даже не боялись с папироской фотографироваться. Это он у меня дома с самой ценной вещью — телефоном, как в Смольном, с наружными звонками и обязательно на вязаной вручную салфеточке с кистями.

И в самом деле повзрослели. Даже первая любовь пришла — Галка Ильина. Красивая девочка! И одета по моде — пальтишко в талию с непременно ватными плечиками, а в руках «балетка», непременный атрибут подростков, некое отдаленное подобие будущих «дипломатов».





Пикник в Заельцовском парке. Ни построек, ни людей. Время, когда можно было наедине пообщаться с природой. Сейчас подошел бы милиционер и оштрафовал за распитие напитков в местах массового отдыха.



Еще один уголок любимого места отдыха горожан — воднолыжная станция. Реки, правда, не видно, зато позади знаменитый буфет-ресторанчик. Взрослые — за пивом, кто помладше — за кружкой газированной воды. А на скамейке перед буфетом я (крайний справа) и рядом Толя Бурдуков, кто третий — не помню. Думаете, что главное на снимке? Обратите внимание, мы все трое рассматриваем часы на моей руке — вещь столь редкую в послевоенное время, что не запечатлеть ее на первом плане просто грешно.

Содержание

<i>Л.Н. Шевченко-Королева</i>	
Обские волны.....	5
<i>И.К. Чувашева</i>	
Слава Богу за всё!.....	17
<i>С.В. Чернышев</i>	
В те времена.....	103
<i>В.И. Хомутов</i>	
Минувших дней дела и судьбы.....	139
<i>Артур Миллер</i>	
Светлыми глазами	165
<i>Тамара Петрова</i>	
Детство поднималось над бедою.....	225
<i>Валерий Тарасов</i>	
Под небом военного времени	255

Книжная серия «Будаговская библиотека» названа в честь Григория Моисеевича Будагова (1852–1921) — инженера-путейца, руководившего строительством моста через Обь. Это был не только блестящий профессионал, но и общественный деятель, настоящий подвижник просвещения и культуры, открывший в Новониколаевске первую школу и библиотеку.

Наряду со сборником **«Память сердца. Воспоминания сибиряков»** в «Будаговской библиотеке» вышли следующие книги.

«По старым дорогам». Книга состоит из двух частей. Первая — исторические очерки об освоении Сибири, взятые из раритетного издания «Азиатская Россия. Люди и порядки за Уралом. С-Петербург. 1914 год». Вторая часть — описание селений, нравов и обычаев жителей на территории нынешней Новосибирской области в XVIII-XIX-XX веках в трудах путешественников, ученых и по материалам путеводителей того времени.

«Сказ о городе». Это своеобразная художественная летопись о зарождении и становлении Ново-Николаевска — Новосибирска, включающая в себя популярный исторический очерк о городе, документальную повесть о Н.М. Тихомирове, одном из отцов-основателей Ново-Николаевска, а также очерки об истории цирка и ипподрома в нашем городе. Написанные живо и увлекательно, иллюстрированные редкими фотографиями, все эти материалы вызывают читательский интерес как у взрослых, так и у детей.

Екатерина Косякова. **«Неизвестные страницы городской истории».** Данная книга, пожалуй, впервые рассказывает о том, что обычно остается за рамками исторических повествований — о быте новосибирцев в разные времена: еда, одежда, нравы и т.д. Иными словами — это история повседневной жизни горожан, украшенная редкими фотографиями. Вторая часть книги — «Божья нива» — впервые рассказывает об истории новониколаевских и новосибирских кладбищ.

Михаил Щукин. **«Встречь солнцу. Рассказы об истории Сибири».** Книга выдержала уже несколько изданий и по-прежнему вызывает живой читательский интерес. Автор рассказывает об истории Сибири, начиная с первых походов новгородцев за Урал и заканчивая событиями накануне первой мировой войны. Книга богато иллюстрирована.

*Телефон Издательского Дома «Сибирская горница»: (383) 243-65-88.
Email: idsgor@gmail.com.*

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Воспоминания сибиряков

Издательский Дом «Сибирская горница»

Подготовка текстов А. Денисенко, В. Зверев, И. Косарева

Главный редактор М. Шукин

Технический редактор М. Косарев

Корректор Л. Прокопенко

Обложка О. Бусов

Сдано в набор 11.09.2009 г. Подписано в печать 12.11.2009 г.

Уч.-изд. л. 22,12. Формат 84x108/32. Бумага офсетная.

Тираж 200 экз. Заказ №1119

Отпечатано в типографии Издательского Дома
«Сибирская горница»

Новосибирск, ул. Владимировская, 17

Тел. 243-65-88